

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (435)

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Феликс Чечик. «Сентябрь» *и др.* *3*
Борис Херсонский. Кабы не радуга *77*
Александр Корамыслов. «...и с пилами вошли мы в лес, решимы...» *и др.* *83*
Евгения Изварина. «У чисто выметенных плах...» *и др.* *87*
Владимир Мялин. «Когда в Твоём саду крыжовник розоватый...» *и др.* *136*
Владимир Алейников. «Как едины и разноголосы...» *и др.* *138*

ПРОЗА

Анатолий Бузулукский. «Интервью» *и др. рассказы* *6*
Владимир Лорченков. «Я любил Ваше фото» *и др. рассказы* *20*
Вадим Левенталь. Carmen Flandriae. *Готическая новелла* *55*
Денис Кудерин. Человек ускользающий. *Рассказ* *90*
Александр Котюсов. Дело о помидорах. *Сентиментальная история* *120*

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре–43 71

ДРАМАТУРГИЯ

М. Нилин. Дастархан. *(Stück)* *142*
Андрей Юртаев, Игорь Савельев. КТО. *Безбашенный детектив* *155*

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Виктор Селезнев. «Почетный академик по разряду изящной словесности».
Как А.В. Сухово-Кобылин был избран в Императорскую Академию наук *183*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей Слепухин. В унисон с веком 187
Елена Владимирова. Любовь на ощупь и на вкус... 190
Елена Трубецкова. Писатель для «зачеркнутых» 191
Елена Сафронова. Свобода в скобках 192
Алексей Колобродов. Информация к поражению.
Новейшая история обыкновенного безумия *194*

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Фестивальные фавориты 198

© «Волга», 2012

Феликс ЧЕЧИК

Сентябрь

Разве время не вышло
окончательно вон?
Перезревшая вишня
на десерт у ворон.

Дождь всенощный – промокли:
и вороны и сад.
И секунды умолкли
и минуты молчат.

***

Сколько не маши – не улетишь –
бесполезно – лишь сломаешь ветки.
Дерево взлетело выше крыш,
выше туч и кануло навеки.

Чтоб как можно дальше от корней.
И, едва дыша, от страха бледный,
улетел навечно муравей –
крохотный такой и безбилетный.

Он ни в чём – ни в чём не виноват,
он забрёл случайно, по дороге,
летним утром в яблоневый сад,
очутившись на небе в итоге.

Никого – из тех, кого любил.
Собственной судьбы невольный пленник.
И, вздыхая, горний воздух пил
и глядел на звёздный муравейник.

***

Как сентябрьский ветер каштану,
как несжатому хлебу овраг,

Феликс Чечик родился в 1961 году в городе Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького, стажировался в институте славистики Кёльнского университета (проф. В. Казак). С 1997 года живет в Израиле. Автор пяти поэтических книг и многочисленных журнальных публикаций.

говорил Пастернак Мандельштаму:
– Не выёбывайся, чувак!

Но, согласно небесному знаку,
наши слёзы роняя на грудь,
отвечал Мандельштам Пастернаку:
– Повыёбываюсь чуть-чуть.

***

Пой и плачь, соловей,
о любви и отчизне,
по мотивам моей
не законченной жизни.

По мотивам моих
и страстей и мордастей
охмуряй соловьих,
и накаркай несчастье.

По мотивам... Мотив
на берёзовой ветке
незаметно затих
и должно быть навеки.

Но, предвидя конец,
что давно уготован,
оркеструет птенец
ненаписанный ро́ман.

***

Счёт открыт, но ещё не оплачен,
время есть, только сердца в обрез.
В боевую раскраску апачей,
разукрашен октябрьский лес.

Где я? Что я? Горластая сойка, –
не кукушка – подводит итог.
Я не спорю, что должен.
Но столько!
Я себе и представить не мог.

Я стою, разорившимся дожем,
чуть дрожа, как в канале вода:
всем, кому я по жизни был должен
я прощаю долги навсегда.

***

Почудилось, послышалось, и я...
Я оглянулся – из Небытия

смотрела мама – юная такая,
и, слёзы запоздалые лия,
я вдруг проснулся, сына окликая.

***

Не дано: ни тебе и ни мне,
(слёз не надо – не надо истерик),
на волне – на солёном коне
прокатиться – разбилась о берег.

Но зато: на морском берегу,
где трава-мурава не примята,
ржут, дурачатся, как на лугу,
пенногривые жеребята.

***

но доброе слово и кошке
а что говорить про кота
устал он идти по дорожке
и сердце прожгла темнота
и путь заказали обратно
из вечного мрака домой
но доброе слово приятно
пусть даже от смерти самой

***

И Оле-Лукойе, и горе,
и лук, и слеза по щеке.
А сказочный сказочник вскоре
скончался в глубокой тоске.

Вот так завершаются сказки
и так завершается век,
где спит, улыбаясь в коляске,
из будущего человек.

***

Одиночеством и многолюдьем
проверяя на вшивость себя
заиграемся, и позабудем
в декабре о конце декабря.

И ни место теперь и ни время
в ступе прошлого воду толочь.
Но – метель в середине апреля.
Но – капель в новогоднюю ночь.

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Андрей не любил брать интервью у писателей. Молодые писатели, презирая трюизмы, силились отвечать неопределенно или, наоборот, анархично честно, с матерком, на сленге, бескультурно. Старые писатели, избегая сложностей, говорили пресно, неизобретательно и тоже бескультурно. Андрей же считал, что без культуры литературы нет.

Но главный редактор любил современных писателей, будь они молодыми или старыми, новыми или прежними. Любил не потому, что они были современными, а потому, что они были писателями. Главреду льстило напоминать российскому обществу о недавнем и якобы напрасно забытом особом статусе писателя – пророка, властителя дум, демиурга.

На этот раз главред поручил Андрею взять интервью у именитого старого писателя. Тот жил в центре города, в писательском доме, который так уже, правда, прекратили называть. Андрей позвонил старому писателю, узнал его голос в трубке, известный, телевизионный, загробный, но тревожный. Старый писатель подтвердил, что действительно давал согласие главреду на интервью, вдруг строго приободрился, молвил: «Приезжайте в восемнадцать часов».

Андрей вспоминал наставления главреда. Именитый писатель, просвещал главред, прежде всего старик, долго живущий в почете. Вниманием СМИ он, конечно, избалован, от многих интервью отказывается демонстративно, только лишь взглянув на журналиста – чурается шарфиков, тесных джинсиков, крупных сисек. Но понимает, что совсем без интервью ему жить нельзя: все-таки он публичная фигура, все-таки для части населения – некий символ. «Побеседуй с ним о том, о чем ему приятно разглагольствовать – о вечном, нравственности, добре и зле. Больше о добре. И если о вечном, то живом. Ни в коем случае не интересуйся творчеством, советским прошлым и войной. Это скользкие для него темы. О детстве можно».

Люди, в своем большинстве, знал Андрей, устроены так, чтобы казаться твердыми снаружи и быть зыбкими внутри. Старый писатель представлял меньшинство: он всю жизнь, думал Андрей, был камнем, поднятым из пруда, из стоячей воды, – камнем, покрытым илом. Несмотря на то, что секретный, непонятный, каменный стержень в старом писателе всегда чувствовался, внешне он словно нарочно видоизменялся: в девяностые годы переливался как умеренный либерал, в последнее время – как умеренный государственник. Теперь, замечал Андрей, когда стало модно, как в любую русскую стабильную эпоху, исподволь третировать власть, подтрунивать над ней, старый писатель тоже нет-нет да и пенял власти, но пенял по-товарищески: дескать, рад бы молчать, да не могу, в пределах разумного понимаю ироничных молодых смутьянов-блогеров. Все свои романы, заключил Андрей, именитый писатель создавал как внешний человек, внутренний не вышел на свет ни разу.

Анатолий Бузулукский родился в городе Куйбышеве (ныне Самара) в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.

Стены подъезда в старом доме старого писателя муниципалитет облицевал глазурованной плиткой, поставил на этажах кадки с деревцами, посеребрил кованые лестничные перила.

Дверь Андрею открыл сам старый писатель. Руки он Андрею не подал, но начал смотреть на Андрея благосклонно. Старый писатель выглядел очень старым человеком. Таких старых людей Андрей еще не видел. Неслыханно старыми у писателя были глаза – бестрепетные, в недвижимой пелене. Андрею понравилось, что, по контрасту с обихоженной парадной, квартира старого писателя была по-настоящему, благообразно старой, обжитой, с вековыми шкафами, с поблекшими обоями, с книжными полками до потолка, с любовно обшарпанным паркетом.

Старый писатель привел Андрея в помещение, которое трудно было назвать рабочим кабинетом. Там не было письменного стола, а середину комнаты занимал круглый стол под плюшевой скатертью. Оба уселись за этот стол. За спиной Андрея висело сумрачное, какое-то геометрическое полотно в громоздкой раме, еще несколько картин жались вдоль стен на полу вечными сиротами. В углу одна на другой громоздились яркие коробки, поблизости на сиденье стула тесно выстроились непочатые бутылки дорогого виски и коньяка. Маленькая бутылка «Мартеля», початая, украшала и стол. Рядом лежали мандарины. Рядом с мандаринами старый писатель положил свои руки – темные, безволосые, целомудренно морщинистые, не худые.

Андрей для затравки спросил писателя о последнем громком ЧП в стране. Старый писатель скривился, приосанился и ответил, что последнее ЧП его, разумеется, сильно расстроило, гибнут невинные люди, власть не извлекает уроков, а для оппозиции, похоже, чем хуже, тем лучше. «Оппозиция в России никогда не была серьезной, – вдруг произнес старый писатель. – Кричит, что страна умирает, и при этом ждет от нее революционной активности. Так не бывает, дорогие мои. Если Россия умирает, дайте ей умереть спокойно».

Андрей спросил про власть. «Я никогда не знал хорошей власти, – сказал старый писатель. – Власть невозможно сделать человечной. Но вести интеллигентный диалог с властью возможно». Андрею показалось, что именно благодаря своей жреческой непроницаемости старый писатель весь век оставался в фаворе у власти, как бы резко она не перекрашивалась. Кажется, он вызывал у власти священное недоумение.

Андрей спросил о разумных политических шагах и увидел, что старому писателю понравился вопрос. Поэтому тот ответил на него лапидарно: «Многое в этом мире находится вне логики, вне разума. И это хорошо. Это приободряет душу».

Андрей спросил о душе. Старый писатель ответил, что люди очень страдают без совести, – страдают как бы неизвестно от чего, от страшного вакуума, от фантомной боли. «Чудовищный недуг нашего времени, – продолжал старый писатель, – культ денег. Молодые – мученики денег. В старости – другая, новая чувствительность. Я люблю других людей – убогих, добрых, странных».

Старый писатель очистил пожухший мандарин суровыми пальцами. Половину мандарина он отправил себе в рот, половину протянул Андрею. Андрей жевал дольку за долькой с робостью, не чувствуя запаха старых писательских рук.

Старый писатель извинился и ушел в туалет. Андрей развернулся, чтобы получше разглядеть картину, на которую старый писатель при разговоре иногда переводил свой взгляд. Картина оказалась натюрмортом – аскетичным, без интенсивных красок, без фруктов, без рыбин. Композицию составляли стеклянные тусклые емкости, закрытая шкатулка и ветхая раковина. На холсте был покой, в сером фоне угадывалось осеннее небо. Андрей вспомнил писательские старые глаза. Они словно предупреждали: «Вы лукавите со мной, а я умываю руки».

После перерыва писатель и интервьюер беседовали о комичных митингах, гротескных протестах, элите, путанице поисков – то ли учителя, то ли ученика. На вопрос Андрея, кого старый

писатель может причислить теперь к русской интеллигенции, старик сказал: «Никого. Ни одного живого человека. И это хорошо». Потом они заговорили о поэзии. Старый писатель похвастался, что любит персидскую, любит Хафиза. Андрей удивился и спросил: «А любите ли вы кино?» – «Я очень люблю кино, – благодарно оживился старик. – Я всегда любил кино. Правда, я вам скажу, ни одна из экранизаций моих книг мне не нравится. Режиссеры на меня не обидятся, их уже нет с нами. Из современных я люблю зарубежные фильмы». Он с увлечением пересказал Андрею сюжет картины, которую посмотрел на днях. Он сказал, что наши кинематографисты уже не способны снять историю о неплохом человеке, любящем без выкрутасов.

Так ли уж он подличал в советское время, как приписывает это ему молва? – думал Андрей о старом писателе. Зачем ему подличать? Кажется, он мог уничтожить любого недруга, не прибегая к интригам. Без мерзости, без клеветы.

«А как вы относитесь к Богу?» – вдруг напоследок спросил Андрей у старого писателя.

Старый писатель посмотрел на гостя внимательно, как при встрече. Наконец он сказал: «Я не буду отвечать на этот вопрос. Это личное. О таких вещах не спрашивают».

После этого выговора Андрею показалось, что старый писатель прослезился. Его мутные глаза стали прозрачнее, сильнее, чище. Андрею послышалось, что старик взвизгнул или скрипнул стулом. Не надо было прерывать разговор о кино, – огорчился Андрей.

Поднимаясь, старый писатель предупредил Андрея, чтобы тот перед публикацией привез ему текст интервью для визирования. «Это не обсуждается», – шумно вздохнул старик.

В дверях он протянул Андрею руку, оказавшуюся плотной и гладкой.

Андрей думал, что старый писатель поступил стилистически верно, отказавшись говорить в конце на религиозные темы. Подобное завершение, с Богом, выглядело бы в интервью красивостью, как бы ни высказался на прощание старик – прямо или намеками.

Андрей догадался, что старик мог предположить, что журналист терзает его не о Боге, а о смерти, что Богом прикрывает лишь смерть, что желает ясности: не одно ли это и то же для старого писателя – Бог и смерть.

НАТАШКА

В баре Дима узнал Наташку – в барменше. Она не узнала его – он сел в отдалении, за грузный стол, в вечных интерьерных сумерках, заказал через официанта виски и воду со льдом. Он захаживал в этот бар и раньше, но Наташку видел здесь впервые и второй раз – вообще.

Он смотрел на нее из полумрака, из медвежьего угла, исподлобья, склонившись к столешнице, и понимал, что барная стойка Наташке не шла, не была ей в тягость, не мучила, но и не преображала. Некоторые увеселительные заведения, полагал Дима, для оттенка разрешают своим барменшам выглядеть чопорными, а барменам философичными, но то были чопорность кокетства и философичность хороших манер. У Наташки за стойкой лицо было смущенным и строгим, добросовестным и ждущим, простым, но не отзывчивым. Лицо у Наташки было белым, а волосы черными, даже чернявыми из-за кудряшек.

Стены бара украшали виды Ливерпуля и портреты ливерпульской четверки. Ближе к ночи, знал Дима, здесь играли едва прославившиеся группы. Дима никого здесь ни разу не слушал, уходил до начала живой музыки. К битлам был равнодушен всегда, в этот бар заглядывал по дороге, когда вдруг начинала одолевать жажда по современному, дорогому, напускному досугу.

Дима познакомился с Наташкой у теперь мертвого Лехи. Леха разбился на автомобиле весной при лобовом столкновении. А зимой он купил квартиру в сталинском доме и неделю напропалую справлял новоселье – свободный до внезапного замирания, иронично непроницаемый, тридцатидвухлетний, полновато красивый, беззвучно разговаривающий по телефону о делах собственной фирмы.

Леха завел новую девушку, Таньку, – полновато извилистую, с ямочками, с правдивыми, теплыми глазами, с атлетичными, пружинистыми икрами.

Наташка была Танькиной подружкой.

Дима приехал к Лехе-новоселу за долгой благовидной праздностью, молодежной неизбывной негой, давней равноправной общностью, радостным обильным похмельем с разносолами и стереофоническими блюзами, за дружелюбием и вальяжным беспамятством. Дима к тому дню привык задумываться о тщете, крахе планов, своем невысоком социальном статусе, зависти, готовности к преступлениям, первых изменах жене.

Леха еще в дверях предупредил Диму одобряюще неопределенно, что Наташка (она виднелась вдалеке, в гостиной у окна) девушка что надо, с образованием, языками. И Леха показал жестами, с каким образованием и какими языками, вернее – языком. Дима доверял неукоснительно, простосердечно Лехиным обтекаемым оценкам. Дима не мог решить, что всегда господствовало в Лехе – уважительность или невидимая презрительность.

Дима догадался, что Наташка была приглашена для него или он был приглашен для Наташки, других в новой Лехиной квартире не было. За столом Дима на законных основаниях ухаживал за Наташкой, сидел близко, заглядывал в глаза, все чаще клал свои пальцы на ее, а когда Леха с Танькой удалились в новую спальню, вернулся с перекура из кухни, присел на диван в гостиной, на котором в темноте улеглась Наташка. Она была притихшей; кажется, притихшими за закрытой дверью лежали и Леха с Танькой.

Диме мнилось, что Наташка была доступно притихшей и даже вожделенно притихшей. Его смутило, что под покрывало она легла в одежде. Ее черные яркие глаза в потемках были хорошо заметны. Они не были горячими, но и не были усталыми. Дима не нашел ее руки, но нашел ее бок. Дима касался ее тела, может быть, минуту, воображая, каким будет жар Наташкиной голой кожи, какими будут Наташкины груди под его ладонями, каким будет Наташкино дыхание – торопливым или черствым.

«Не надо», – услышал Дима.
«Чего?» – прошептал он.
«Ничего», – сказала Наташка вежливо.

Она подняла спину, подсунула под нее подушку, сидела, не опуская ног с дивана. Лица ее не было видно, но он вспомнил, каким оно казалось ему весь вечер – доброжелательным, но не добродушным, восприимчивым, но твердым. Он вспомнил, что весь вечер понимал, что она не испытывает симпатии к нему, что не только он выглядел чужим для нее, но и его мужской типаж был далек от ее образа желанного парня, желательного партнера. Он предположил, что и она могла замечать весь вечер, что не очень-то нравится ему, что нравится ему лишь ее свежесть, а низкий рост и узкие бедра оставляют безразличным.

«А где же я буду спать?» – для проформы сопротивлялся Дима.
«На кухне. Там прекрасный топчанчик», – сказала Наташка.
«Топчанчик», – повторил Дима, вспомнив, что именно он назвал топчанчиком авангардную, красной кожи кушетку на кухне.

Он подумал, что решился переспать с Наташкой больше для Лехиного любопытства, чем для собственного удовольствия. Дима думал, что, пока был в дороге, Леха, вероятно, рассказал Таньке с Наташкой, как однажды он и Дима пригласили проституток и как Леха, после секса, напару со своей проституткой наблюдали за Димой, который продолжал «трудиться» на соседней кровати, – «трудиться» как муж, а не как клиент. Дима помнил тот случай, помнил, с каким одинаковым интересом и одинаковым непонятным осуждением следили за его фрикциями Леха и Лехина проститутка. Диме казалось, что та давнишняя Лехина проститутка азиатской миниатюрностью, завитками и молчаливой воспитанностью напоминала Наташку.

Теперь, в баре, Наташка не выглядела маленькой, напыщенной гостьей, как у Лехи, теперь она выглядела рослой. Дима подошел к барной стойке без улыбки. Он был противником как приятных, так и неприятных сюрпризов. Наташка его вспомнила спокойно, без неловкости посмотрела в глаза. Он сразу стал говорить о Лехиной смерти, он старался говорить правдиво, недоуменно, мерно, без невольного человеческого реваншизма. Наташка казалась сердечной женщиной. Дима сказал, что, пожалуй, выпьет коньяка, помянет Леху. Наташка помянула Леху глотком остывшего чая. Дима посчитал, что теперь, с Наташкой, у ее барной стойки, пить виски – почему-то неприлично, простительно пить коньяк. Дима теперь называл Наташку Наташей. Это у покойного Лехи получалось уместно звать Таню Танькой, а Наташу Наташкой. У Димы так хорошо фамильярность не выходила. Наташка совсем никак к нему не обращалась. Возможно, она забыла, как его зовут, забыла мгновенно, с самого начала, знакомясь у Лехи. Диме нравилось, что Наташка, не помня его имя, не испытывала в разговоре какого-либо затруднения. Может быть, она привыкла называть людей другими, своими именами.

Дима спросил, пойдет ли она на годовщину смерти Лехи.

«Нет. Работаю в этот день», – ответила Наташка.
«Я тоже не пойду. Тоже работаю, кажется».

Он вспомнил, что когда Леха умер, он спросил у Таньки, кого она собирается пригласить на похороны. Танька поправила Диму: «Не пригласить – позвать. На похороны не приглашают».

Дима допил коньяк и попросил Наташку повторить. Он сказал Наташке: «Прости меня, Наташа, за тот вечер у Лехи, за мои приставания».

Наташка улыбнулась глазами. Ему показалось, они у нее посветлели.

Он видел, что ей понравилось не то, что он извинился, а то, что он извинился сдержанно, продуманно, вероятно, не очень честно, неправильно, несвоевременно, однако ей было важно, что – именно сдержанно, ровно, словно ненароком, без душещипательного стеснения.

Он думал, что Наташке было не по себе теперь, оттого что он застал ее работающей барменшей. Он видел, что ей известно, что он замечает эту ее стесненность. При этом своим намеренно прохладным видом она словно уточняла: «А есть ли эта неловкость во мне, мальчик? Ты опять заблуждаешься. Не выдаешь ли ты желаемое за действительное?»

Он думал, что ей должно быть противно наливать ему коньяк, обслуживать его, а не угощать, все-таки обслуживать.

«Ты не любишь пьющих мужчин», – сказал Дима для Наташкиной легкости.
«Не люблю», – мягко отозвалась Наташка.
«А Леха тоже пил».
«Леха по-другому пил».
«Может быть», – сказал Дима, не желая произносить с какой бы то ни было интонацией: «Да, по-другому».

Выйдя из бара, Дима размышлял, что Наташка не стала считать его умным мужиком. Возможно, она полагала, что он извинился перед ней в память о друге, о Лехе. Дима решил, что усложнять знакомство с Наташкой не будет, в эту пафосную забегаловку заходить не будет. Наташке он никогда не вскружит голову. Достаточно правды между ними, ясности. Но правда и ясность не ведут к влечению. Пусть останется проясненный осадок. Он помогает людям жить равномерно и мирно. Добиваться Наташки значит выглядеть дураком. Добиваться ее ради тщеславия – выглядеть полным дураком.

Дима думал, что Леха был странный друг: никогда не рассказывал о своем бизнесе, никогда не предлагал работать сообща. Дима не мог понять, зачем он был нужен Лехе, зачем Леха от случая к случаю ему звонил. Дима не знал, как, минуя жалость, вспоминать о погибшем Лехе. Чем-то он Лехе был дорог, чем-то был близок, но чем – Леха не распространялся.

Дима думал о Лехиной Таньке, домашней, смешливой, но крепкой девушке. Он думал, что, например, секс с Танькой выходил бы у него легким, нечаянным, житейским. Его обрадовало, как Танька сказала: «Глаз у тебя, Димка, хитрый, добрый, когда улыбаешься – морщинистый».

СИДОРОВ ЗВОНИТ

Сначала Сидоров выпил.

Он проснулся от ясности, что теперь у него ничего не осталось – ни денег, ни алкоголя, ни презрения, ни таланта, ни сил бороться с этим тотальным отсутствием.

Он выглянул в окно. В окне было прохладно, солнечно, пустынно, провинциально. В окне была ранняя, весенняя осень.

В квартире никого не было, входная дверь была заперта, ключей он не нашел, этаж был девятым. Первая мысль появилась бездарная, скучная. Вторая была бездарной, ликующей, похожей на догадку. Он знал, что пьяных людей и в особенности трезвых пьяниц мир (его устройство, иерархия его закономерностей, его чудесность), случается, балует. Сидоров увидел на полу посреди прихожей непочатую бутылку водки – и не 0,5, а 0,7. Жена, отмеченная остроумным мучением, приняла педагогическое решение: пусть выходит из запоя взаперти, постепенно, в течение дня, до промозглых сумерек, когда она вернется. Завтра, думал Сидоров, жена оставит ему 0,5 (вернее, станет жестче и оставит 0,4, а он будет мельчить жидкие дозы с безумием), а послезавтра – лишь стакан. А затем – вероломная капельница и снотворное. Еще год назад он предусмотрительно рассказывал жене, что именно таким щадящим, интеллигентным способом преодолевают запои в умных семьях. Тогда, год назад, жена была полна брезгливого скепсиса. Теперь и ее, стойкую и проницательную, коснулась обреченность.

Сидоров выпил первые две рюмки одну за другой и начал звонить. Ему важно было звонить в наступившей свободе покаянно, правдиво, прощально, без видимого глумления.

Прежде всего Сидоров позвонил модному профессору Бобруйскому, который, как казалось, за постсоветские десятилетия устал-таки цветисто скандалить в научно-популярной печати, а по-другому, без перехода на личности, зарабатывать очки уже не желал. Сидорова он почти не помнил, а если помнил, то, разумеется, под другой, смежной, фамилией, – называл и Петровым, и Ивановым. В Сидорове учености он мог признать лишь с гулькин нос, ибо так получилось, что Сидоров стал чужаком для круга Бобруйского, потому что очень хотел стать своим, но меняться для этого не умел. Незваный, словно отщепенец, вдруг вырастал как из-под земли, ждал, что его окликнут, и, не дождавшись, пропадал из виду. Бобруйский писал: «Некоторые считают, что в науке, как, впрочем, и повсюду, надо пробиваться бандой, дружным скопищем единомышленников, наступать свиньей, – считают и только так и пробиваются».

Бобруйский, похоже, не предполагал, что ни свет ни заря его может побеспокоить, в сущности, неизвестный человек, поэтому поднял трубку. Сидоров сказал без извинения и обиды, что это он, Сидоров. «Да, да», – удивился Бобруйский. Сидоров признался, что никак не может закончить диссертацию, застрял на середине. «Ну, это бывает», – сказал Бобруйский, сообразив, кто ему звонит, и перешел на свой язык: «А вы какую диссертацию пишете?» – «Я пишу докторскую», – открыто, понятно засмеялся Сидоров, двадцать лет как кандидат наук.

Следующим Сидоров набрал номер Румянцева. Тот считался успешным учеником Бобруйского, о котором Бобруйский привык говорить, что это тот случай, когда учителю не стыдно проигрывать ученику. Румянцев узнал Сидорова по голосу. Сидоров сказал Румянцеву: «Слушай, вы простите меня. Ты же понимаешь, что это был кунштюк, выходка, не более». – «Ну, что ты, Сидоров, – стал радушным Румянцев (имя Сидорова он забыл). – Никто этому не придал значения. Кстати, ты о чем?» Может быть, Румянцев действительно не знал, о чем говорил Сидоров, может быть, об этом вообще никто не думал, может быть, ни один человек не расслышал сидоровской странной реплики на юбилее университета. Этот университет заканчивали и Бобруйский, и Румянцев, и сам Сидоров. Бобруйский на торжествах сидел в президиуме, Румянцев с трибуны разглагольствовал о просветительских традициях университета, а Сидоров в перерыве в курилке ляпнул: «Когда человеку больше не за что цепляться, он цепляется за альма-матер».

Сидорову было неясно: возможно, он оскорбил их сыновние чувства, возможно, патриотические, возможно, общечеловеческие, возможно, никаких чувств не оскорблял, а лишь рассмешил. Он и теперь выглядел смешным со своими беспардонными звонками. Он вспомнил слова жены: «Не можешь смешить, не зли».

В телефонной книжке он наткнулся на допотопный номер Валентины Сергеевны, и, как ни странно, она ответила. Он помнил ее словоохотливой, помнил с чистыми, девичьими глазами, которые оставались таковыми, даже когда она сообщала о муже, умиравшем от рака. Это было лет пятнадцать назад. Валентина Сергеевна с трудом поняла, какой Сидоров ей звонил. Она сказала, что почему-то была уверена, что Сидоров давно уже академик в Москве, она сказала, что знала его только лишь как перспективного коллегу и всеобщего любимца. «Какой к черту академик! – радостно жаловался Сидоров. – Забывают даже, что доцент». Он понял, что Валентина Сергеевна теперь была иной – старой, растерянной, несентиментальной, нелюбопытной.

Сидоров сумел застать еще с полдюжины знакомых людей. Все они стали другими, одинаковыми, настороженными, тактичными, беспамятными. Ни один не вознамерился спросить прямо: зачем он им звонит, что ему, собственно, нужно? Ни один не взмолился: зачем он так сознательно позорится, зачем ломает комедию, ни один не приструнил: не паясничай, выпил – спи.

Сидоров ухмылялся: они думали, что он звонил им потому, что принял на грудь. Если бы! Да, он выпил и много уже выпил, но, например, Павлу позвонить все равно не может. Всем может, а Павлу нет – ни пьяный, ни трезвый. И никогда не позвонит. Кто знает, быть может, и эту череду звонков, этот набат он затеял исключительно для разбега, чтобы в итоге, на финише набрать номер Павла. Не набрал.

Сидоров с Павлом хотели стать друг другу друзьями. Поначалу этого хотел только один Павел, а теперь, думал Сидоров, хочет только один он. Павел был завкафедрой в другом институте. Он пригласил Сидорова к себе почасовиком, публиковал его статьи в вузовском вестнике, однажды выбил для него командировку в столицу на конференцию. Павел был начинающим руководителем, он помышлял о подлинной научной работе на своей кафедре, он разделял взгляды Сидорова, он любил его давнюю, единственную книжку. Павлу с Сидоровым было интересно, когда Сидоров был под хмельком – он рассуждал парадоксально, в нем много скопилось невысказанного. Но ярким под хмельком Сидоров мог пребывать недолго, он срывался и запивал,

забывая о всяческих обязанностях на полторы недели кряду. С трезвым Сидоровым Павлу было неуютно: Сидоров отмалчивался, прятал глаза, торопился исчезнуть. Из-за выпивок Сидоров не являлся на занятия, студенты жаловались администрации, ректор, окорачивая Павла, контракта с Сидоровым не продлил.

Сидоров порой видел в Павле бескорыстного благодетеля. Однажды Сидорова удивило, как Павел поздравил его с присуждением гранта, он сказал: вот ты получил, а ведь я не получил. Сидорову послышалось, что Павел даже заплакал – кратко, на миг, словно поперхнулся.

Прежде Павел звонил Сидорову, а Сидоров – никогда. Наконец сам собой затих и Павел. Уже три года длилось молчание. Павел, думал Сидоров, успокоил себя, он убедил себя: «Я выполнил свой долг перед Сидоровым. Видит Бог, я хотел направить его на путь истинный. Но он не шел. Где он теперь, в какой канаве? Я сделал все, что мог. Я забываю его. Я умываю руки. Он выше моих сил».

Сидоров хотел позвонить Павлу в Прощеное воскресенье. Но не осмелился ни в первый год, ни во второй, ни в третий.

Стали ли они друзьями или не стали? – думал Сидоров о Павле. Вот у Бобруйского с Румянцевым – дружба. А я уже забыл, что это такое. Нужна ли дружба между интеллектуалами, учеными, культурными людьми? Была ли она?

Трезвея и выпивая, Сидоров слушал Высоцкого, Галича, Анну Герман, Шаляпина.

В потемках, когда вернулась жена, которая не любила надрывного пения, Сидоров решил залпом выпить самую большую сегодняшнюю порцию – последний стакан – и начать спать до рассвета под бесконечные сонаты Бетховена. Он терялся в них, как в терновнике. Сквозь дремоту чувствовал, с какого места композитор уже был глух. Вот и мне, думал Сидоров, следовало бы теперь оглохнуть на оба уха, на все органы чувств.

СКОЛЬЗКИЕ РУКИ

Московский академик вдруг обернулся и разоблачительно спросил Сергея Палыча: «Зачем вы взяли меня за руку?»

Проснувшись, Сергей Палыч действительно не мог понять, зачем он схватил приснившегося ему известного, почти неприкасаемого ученого, хотя внешне подчеркнуто демократичного, призывающего обходиться без церемоний старичка за руку – то ли поддержал, то ли придержал. В любом случае во сне (наяву вряд ли бы это кого покоробило) жест Сергея Палыча получился странным, неприличным, не столько амикошонским, сколько каким-то секретным, заговорщическим, авгуровым. Хотя какие жреческие узы могли связывать провинциального вечного доцента Сергея Палыча и знаменитого московского академика?! Сергей Палыч замечал, что и наяву московский академик, несмотря на свою искушенность и излюбленную простоту, бывал еще той кокеткой, например, любил приговаривать, в том числе в молодежных телепередачах, что-нибудь вежливо-язвительное: «К сожалению, не могу вам этого напомнить, ибо вы этого не можете помнить – к счастью, разумеется, не можете».

И еще московский академик уточнил грубо и грустно: «У вас скользкие руки».

Жена Нелли, которой Сергей Палыч пересказал свой сон, была возмущена: «У тебя никогда не были руки скользкими. Это я заявляю как жена и как биолог».

Последнее время Нелли часто добавляла «как биолог». Прежде, лет двадцать, твердила «как бывший биолог», а теперь, как заведенная, «как биолог».

Нелли почему-то полагала, что будь ее муж, как и она, биологом или химиком, не завершал бы сейчас свой жизненный путь доцентом и кандидатом наук, а давно бы уже получил и профессора, и доктора. Она думала, что коллегу-мужа ей было бы сподручнее толкать. Но Сергей Палыч был историком, к тому же историком советского периода, к тому же человеком кропотливым, но копотливым. Книга у него не вышла, карьера засохла на корню. Теперь он пристрастился кропать что-то для РЖД, правда, с пользой для семейного бюджета.

Московский академик однажды похвалил доклад Сергея Палыча на межвузовской конференции. Сергей Палыч похвалу забыть не смог, вот уже и сны начал видеть про московского академика. А надо бы выбросить из головы, думала жена Нелли, и московского академика, и утраченную надежду, и историю, и историю советского периода. Жена думала, что интеллектуальные занятия теперь лишь навредят мужу – после перенесенной им операции, – теперь, на ее взгляд, хватило бы ей и мужу одной теплоты жизни.

Она видела мужнину выстраданную веру в то, что его исследования советского периода, такие ныне напрасные и смешные, непременно пригодятся. Он настаивал: «Я нахожу в них точность и ясность. А это и есть наука – точность и ясность». Она видела, что муж был очарован мимолетным пониманием московского академика. Она предполагала, что это понимание коварное, вероломное, издевательское, может быть, только отчасти настоящее, завистливое. Сергей Палыч воодушевлялся: «Некоторые мои мысли так правильны и так хороши, что я удивляюсь, как они ко мне пришли. И московский академик тоже узрел их необычную правильность и тоже удивился. Это наше общее профессиональное удивление».

Сергея Палыча никогда всерьез не сердило, что жена не читала его работы, его статьи. Он находил полезным для человеческого существования разделять брак и науку, любовь и историю. Изредка он недоумевал с досадой и шуткой по другому поводу – что Нелли ни разу не поцеловала его как-нибудь по-особенному. Нелли любила целоваться, любила целоваться взасос. Но никакого загадочного поцелуя он от нее не дождался. Никогда она не целовала ему глаза. Вероятно, эти поцелуи – рук, глаз – свойственны лишь артистическим натурам. Но он ведь целовал ей глаза и видел, что это ей нравится. Нелли же – нет. Возможно, она считала, что мужчин в глаза не целуют, что ни к чему дополнительные свидетельства преданности.

Но и этого наивного, комического огорчения больше не осталось. В больнице она ухаживала за ним, как за отцом, – с внутренней тревогой и внешней бойкостью. После операции он начал говорить ей всё, пересказывал все сны. Нелли продолжала стесняться, продолжала скрытничать. Она никогда не передавала, что ей снилось. А он расспросами не докучал.

Спали они теперь в разных комнатах, но с распахнутыми настежь дверями. Перед сном обстоятельно прощались. Сергей Палыч заметил, что Нелли устала жалеть его за время его болезни. Слух у Сергея Палыча ослаб, он плохо различал ночные шорохи жены, она же его похрапывание, которое с каждым годом становилось тоньше, слышала.

Вчера Сергей Палыч отвез дочь в аэропорт (дочь жила в Москве и приезжала к родителям погостить) и сегодня собрался на своей «Ниве» с женой на дачу – в первый раз после операции.

На трассе полил дождь. Машин было мало. Они с удовольствием врезались в кипящее марево ливня.

В автомобиле Нелли вспомнила, что в такую же непогоду ехали однажды с бывшим соседом Иосифом. Оба разом поежились. Иосиф на семьдесят пятом году жизни продал квартиру и отчалил в Израиль. Там вскорости умер, кажется, от сердечного приступа. Говорят, деньги, вырученные им от продажи здешнего жилья, пропали.

«Тут недавно молодой Алексеев с нашей кафедры так на меня посмотрел», – засмеялся Сергей Палыч.

«Это какой Алексеев? Пьющий? Как посмотрел?» – заинтересовалась Нелли.

«С эдаким недоумением. Таким философским недоумением. У другого человека, не Алексеева, вышло бы неприятно».

«Он не пьяненький был?»

«Вроде нет. Я ему рассказал, что племянница, Катька, продала наш отцовский дом на берегу Волги за бесценок, не посоветовавшись. Я Алексееву сгоряча сказал, что за этот дом в три раза больше бы ей денег отвалил, если бы она меня поставила в известность. Потому что это не только дом, а память. На берегу Волги. После этого Алексеев на меня и посмотрел с недоумением – мол, какой богатенький старик выискался, о вечном надо думать, а он недвижимость втридорога готов скупать».

«Ты напрасно так откровенничаешь о денежных делах. Люди свои выводы делают».

«Он посмотрел именно с недоумением, с улыбочкой: мол, на ладан дышит, а мысли о домах. А я не о домах. Я о родном, отцовском доме».

«Перестань ты уже об этом доме. И не обсуждай ни с кем».

«Алексеев умный. Но заблуждается. Стал говорить, что хочет обойтись в своей жизни без компромиссов. Нельзя, мол, работать там, где тебе противно. Это он с деканом нашим поцапался. Глупо, говорит, думать, что если будешь хорошо служить сатане, он тебе, мол, облегчит страдания в аду, на легкие муки отправит, как в армии на кухню. Плохие люди, говорит, друг другу, конечно, помогают, но делают это неискренне, ненавидя. И сатана своих грешников не любит, и в аду не будет их любить, никакой поблажки им не будет, ничего им там от него не обломится. В итоге я сказал Алексееву: мы рождены из свободы, ради свободы, для того, чтобы свобода, через все перипетии, страсти, муки, превращалась в любовь».

«Ты стал говорить, как проповедник. Про любовь. Морочите друг другу голову. Не люблю я слово «любовь».

Сергей Палыч едва не добавил за супругу: «как биолог» или лучше – «как бывший биолог». Он почувствовал, что Нелли сама чуть не выпалила свою любимую присказку. Они посмотрели друг на друга (он оторвался от дороги) и улыбнулись друг другу одинаково, с привычным и веселым пониманием.

Дождь встал акриловой стеной.

Сергею Палычу нужно было сворачивать, маневрировать, выруливать. Ее он не успел увидеть, но успел услышать странный, страшный, страстный, ненавидящий, любящий Неллин крик.

НЕЛЮДИМОСТЬ

Молодое подобострастие на ее лице сменила молодая чванливость. Всё дальнейшее стало гнетущим послесловием.

Он полагал, что ей не понравился порог его квартиры, не понравилась его прихожая, его совдеповская кухня, в меньшей мере – его комната с тремя громоздкими некрасивыми картинами в хайтэковских красивых алюминиевых рамах. Ей понравился лишь его балкон, пустой и чистый, где удобно было бы курить, точнее, покуривать, если бы она курила.

Ей не понравилось, что он пытался ее разговорить. Ей было досадно – она не была молчуньей. Молчуньей она была только с ним. Сначала он тараторил, чтобы произвести впечатление, затем – чтобы разговорить. Он был умный, но с ней суетный. Он разглагольствовал увлекательно, но не давал опомниться. Нехорошо, когда абсолютно незнакомые люди стараются быть парадоксальными. Он был непоседлив и в первую встречу на набережной, и у себя во вторую. Однако на набережной он ей пришелся по вкусу: он был тонок, высок, сутуловат, с пижонским лицом и

интеллигентской улыбкой. Он выглядел обеспеченным в красной рубашке-поло и белых льняных слаксах. Синие мокасины обхватывали его длинные ступни тесно, как перчатки.

Ее покоробило, что настоящим он был не в день знакомства и не в постели, а потом, когда, провожая, сказал «Извини». Было понятно за что – за то, что даже он, эффектный и чувствительный, не прервал череду ее фрустраций.

Ей было неприятно, что в темноте, нетерпеливо целуя, он называл ее любименькой – рефлекторно, из прошлого. Это звучало форсированно даже для похоти. Ее раздражало, что тискал он ее намеренно бережно, скорее – гуманно, понимая, что она не зря оповестила его о своем поврежденном в автокатастрофе позвоночнике, хирургическом вмешательстве, металлическом имплантате. Ей было противно, что утром он озирал не столько ее голую грудь, сколько шрам на спине. Она видела, что вел он себя с ней как заправский, цивилизованный потребитель – и в сексе, и в разговоре по душам. Он удивился ее признанию, что она была донором, что любит сдавать кровь. Неужели она могла предположить, что он способен воскликнуть: «Как это благородно с твоей стороны»? Она презрительно усмехнулась, как будто он мог подумать, что про свое донорство она обмолвилась умышленно, чтобы он не пасовал – в ней нет заразы, она проверенная.

Впоследствии, кто знает, ей будет мниться, что любименькой он ее назвал из сострадания, пиетета и потому, что не мог сходу называть любимой.

Он удалил ее телефонный номер, удалил свою анкету с сайта знакомств. Она, вероятно, тоже вычеркнула его отовсюду.

Внутри него восторжествовала нелюдимость, извне нависло одиночество. Случилось это еще до эпизода с донорше́й. Девушка-донор была избыточным шансом – ни жертвой, ни надеждой.

Последней будет считаться не любименькая, а любимая.

«Ты сам этого всегда хотел, – говорила ему любимая, та, которую он теперь так вспоминал. – От гостей ждал, чтобы они ушли. Оставаясь один, ждал звонков, ждал нечаянных визитеров. Ты к людям относишься, как к клиентам: ты хочешь от них пользы и хочешь от них быстрее отделаться».

«Я не хочу пользы от людей».
«Я знаю. Ты называешь это не пользой, а благорасположением».
«Я не встречал восхитительных людей. За всю жизнь ни одного восхитительного человека».
«Это кого же? Учителя, юродивого, героя?»
«Человека, от которого замираешь».
«Цепенеешь?»
«Нет, замираешь».
«Восхитительные люди, как правило, нехорошие».
«Нет, нет, я говорю о чрезвычайно хорошем, восхитительном человеке».
«Ну-ну. Жаль, что тебе мало любимой».

Любимая была благоразумной, невозмутимой и необидчивой. То, что ее лицо с годами стало строгим, не мешало ей быть смешливой и преданной. Однако даже ее кротость не прощала его. Даже ее благодарный взгляд сохранял номинальную укоризну. Это ее исконное требование чистоты он видел и на ее детских, счастливых, черно-белых фотографиях, и в ее темных глазах при прощании. Он жалел, что их дочь не переняла непримиримость материнского взгляда. Ему казалось, что их дочь унаследовала его, отцовскую, мимику и его настороженную стеснительность.

Он думал, что любимая никогда бы и не выразилась так: «Жаль, что тебе мало любимой». Она даже не выразилась бы: «Жаль, что тебе мало жены». Она понимала, что эту благоговейную «Любимую» он почерпнул из высокой лирики. Она помнила, как он любил читать ей Пастернака.

Его нелюдимость не была удушьем. Напротив – одна долгая прогулка в прохладе среди домов. Ему было покойно у реки, но покойно и свободно – у стены.

В первый год после разъезда с женой-любимой незнакомые люди (со знакомыми он по-прежнему выглядел острословом) принимали его за покинутого человека. В лице появился вялый угол – расплывчатая печать длительных сожалений. Его смешило, что поначалу от холостяцкого времяпрепровождения он чувствовал себя косным психопатом. Но, в конце концов, он перестал замечать свое повседневное одиночество. Результатом тоски попыхивало лишь благодушное, неистощимое смущение.

Он говорил теперь сам с собой не мыслями, но словами, будто в голос:

«Это мое новое смущение – не от презрения ли к людям?»

«Нет, нет. Никакого презрения к людям у меня нет. Дело в том, что я никогда и никого не презирал. Я презрение видел лишь со стороны. Я не умею презирать. По крайней мере, так, как я это видел со стороны. Для этого надо быть непоколебимым. А я шаткий. Вижу свою ничтожность. Плохо, что я порой ею любуюсь. Плохо, что, ненавидя это любование, уже любуюсь самой этой ненавистью. Я не добираюсь до полного самоуничижения. Я даже боюсь, что это полное самоуничижение выйдет наибольшим самолюбованием. А ведь цель самоуничижения именно в самоуничижении и ни в чем другом. Но человек не в силах сам себя растереть в порошок. Он все равно будет себя жалеть. Надо оставить ему эту его последнюю жалость. Кажется, она не от человека, в ней уже нет дурного, непростительного».

«Как же ты относишься к людям?»

«Я хочу, чтобы они были понятливыми».

«То есть, чтобы не беспокоили тебя?»

«Этого я могу достичь и без них».

«Вот именно что без них. Ты хочешь быть один на земле?»

«Меня всё устраивает на земле, потому что по-другому быть не может. Может быть только так, как есть. Я не хочу ни восхищать, ни разочаровывать. Я не хочу, чтобы меня любили. Но любить другого человека я хочу – без объяснений и без намеков».

«Ты любишь сейчас кого-нибудь?»

«Нет такого человека, о котором я бы помнил каждое мгновение».

«Сколько это будет продолжаться?»

«О, этот вопрос я могу задавать себе бесконечно и бессмысленно. Твердить, буксовать, талдычить. Этот вопрос не приводит меня к безумию. Он как молитва. Он размерен и радостен, как моя нелюдимость».

«Может быть, есть другое название твоему состоянию?»

«Нет, я люблю нелюдимость».

«Господи, что же все-таки будет дальше?»

«Я буду звонить раз в месяц дочери. Она у меня в другом городе. Сама она первой никогда не позвонит. Я не буду спрашивать ее о матери, моей бывшей жене. И дочь не будет говорить о ней. Зачем? Ведь это наш разговор – отца и дочери».

О ПЛАЧЕВНОМ ФИНАЛЕ

Николай Иваныч, которому до пенсии оставалось несколько лет, начал сочинять плачевный финал своей жизни.

Николай Иваныч причислял себя к счастливым людям. Счастье, по Николаю Иванычу, состояло в понимании сущего во всей широте и взаимосвязях. Он видел это сущее с пониманием. И свое заключительное сущее воображал также с пониманием.

Будущее рисовалось ему горестным не потому, что Николай Иваныч превратился в заклятого ипохондрика и желал жертвенного или психопатического самоуничижения, а в силу объективного хода вещей. Любой закат, несмотря на внутреннюю теплоту и свободу, выглядит печальным и прощальным. Но свой закат Николай Иваныч видел еще и надрывным, и жалким.

Николай Иваныч думал, что будет умирать голодной смертью.

Последних денег ему хватит на месяц. Через пару недель замолчит интернет. Электричество отключат через полгода. Затем примутся выселять, если успеют.

Николай Иваныч планировал жить доходягой – условным и настоящим. Поначалу надеяться, как на Бога, на правило «Будет день – будет и пища». Первое время это правило отработает на автопилоте, пока вера не устанет. Затем придется надеяться без веры.

До пенсии дотянуть можно, полагал Николай Иваныч, но это бесцельный путь. Радует, что до пенсии дотянуть никогда не позволят. Всё настоятельней министры призывают к повышению пенсионного возраста, всё гуманистичнее отнекиваются от собственных призывов, как от пробных шаров: зачем повышать, и так до пенсии никто толком не доживает, а кто доживает, те сплошь крохоборы, могли бы и не доживать.

Когда закончатся деньги, но останется аппетит, сохранятся силы для страха, зависти, негодования, тленного сопротивления, останутся нетерпение, строптивость, выдумка, Николай Иваныч будет воровато перекусывать в торговых залах городских супермаркетов – то булочку сожрет на месте, то горсть орехов, то помидорину, то фейхоа. Хлеб будет таскать со столов в кафешках. Повязав галстук, будет проникать на забубенные презентации. Будет ходить за горячей кашей к пункту кормежки бомжей. Будет околачиваться у церквей, у ларьков, будет чаевничать по очереди у знакомых.

Пропадут телепрограммы, звонки, фейсбук, незримые блогеры. Будет цвести, плакать, вожделеть близлежащий парк. Грустно, интеллигентно замолчит большой город.

Общественные отношения, праведный гнев, бунты Николай Иваныч не любил, считал ложью. Ему не нравились совпадения, пересечения, симптоматичные встречи. Безработный убил и ограбил хорошо одетого незнакомца, чтобы купить поесть, так как не ел несколько дней, а потерпевшим оказался вице-мэр данного населенного пункта. Для Николая Иваныча эта история выглядела чересчур показательной, слишком социальной, предельно жизненной.

Когда опротивеет, Николай Иваныч ляжет дома в кровать умирать. Голодная смерть может быть величественной, как абсолютный пост.

Умру, хмыкал Николай Иваныч, в одиночестве, как сосед с одиннадцатого этажа. Хватились через месяц, когда трупный запах, как из-под сырой земли, пропитал весь дом. Выбивали дверь. Николай Иваныч не разговаривал с этим соседом. Тот, когда сталкивались в лифте, отгораживался от Николая Иваныча грубым презрением.

Только не пить, – думал Николай Иваныч. Умирать надо на трезвую голову. Николай Иваныч помнил давний загул. Однажды, лет десять назад, он встретил Мартынова, однокашника, которого не видел четверть века, с университетской скамьи. Мартынов жизнь провел на Дальнем Востоке, выглядел строгим, скромным и почему-то алчущим. Казался бесстрашным не от свободы, а от степенности. Николай Иваныч потащил его угощать сначала в ресторан, затем в ночной клуб, затем к гостеприимной чете – Сережке и Верке. Мартынов в ресторане смотрел на шикующего Николая Иваныча, в студенческую пору бывшего гадким утенком, с благодарным одобрением, в ночном клубе – с жалостливым осуждением, в гостях у четы – с тревожным омерзением. Утром, когда вышли от четы, Мартынов протянул Николаю Иванычу мятые купюры. «Это твои деньги,

– сказал Мартынов. – Сережка с Веркой весь вечер у тебя их тырили из карманов и под ковер на скорую руку совали. Эх, Миклухо-Маклай, зря ты стал себя так вести». Николай Иваныч ответил Мартынову похмельным смехом: «Верка с Сережкой теперь передерутся, когда денег под ковром не найдут». Мартынова Николай Иваныч больше не видел, а стыд перед Мартыновым чувствовал беспричинный.

Знайте, твердил вслух Николай Иваныч, умирать я буду не от мягкотелости души, и не ради плутовства, и не с провокацией. Мол, что за театральщина – лечь и умирать. А вот, оказывается, не театральщина, если приходит настоящая смерть. Какой же это театр, если смерть в нем настоящая?!

Николай Иваныч не знал, что делать с позором такой смерти, – с невинным позором для дочери, которая, как будет казаться, допустила сиротскую, в забвении, да еще и голодную смерть отца, смерть якобы в пику ей.

Он возвышал голос: «Не в пику! Не подумайте плохого о моей дочери. Она хорошая, и мне неловко перед ней».

Николай Иваныч привык к тому, что дочь и бывшая жена видели его непотопляемым. Нельзя разочаровывать их, в особенности дочь до глубины души.

Николай Иваныч думал, что если кто-то окажется у одра, позовут священника. Если же не будет никого живого рядом, Николай Иваныч станет шептать в пространство, молиться перед стеной, в галлюцинациях, умирая, как причащенный и особорованный, как накрытый пеленой от гроба святого аввы, как в окружении радости.

Будет понятно, что умер он не только от усталости, но и любопытства, не только от исчерпанности, но и малости, не только от бесчувствия, но и предчувствия, не только от истерзанности, но и крепости, не только от тошноты, но и для свежести, не только от бессилия, но и для ясности, для последнего шанса.

Пока, – говорил Николай Иваныч, – ты простота, ты птенчик, пока – Николай Иваныч, Колюська, Миклухо-Маклай, Коленька.

Владимир ЛОРЧЕНКОВ

Я ЛЮБИЛ ВАШЕ ФОТО

Мне было десять лет, а ей двадцать, и у нас был роман.

Но давайте я расскажу с начала. Когда мы познакомились, мне было десять. Она сидела на корточках у бортика бассейна. У ее ног плескались дельфины. Два дельфина с блестящими носами, умными поросячьими глазками и сайрой во рту. Или треской? Или хеком? В общем, у каждого из них во рту была рыба. Которую, я так понимал, сунула им та самая девушка, сидевшая перед дельфинами на корточках. Крепкобедрая, с сильными, не очень длинными, но и не короткими ногами. В джинсовой рубашке с коротким рукавом, завязанной на животе узлом. С волосами, разделенными пробором, и каждая сторона перевязана розовой лентой. Красивым, чуть продолговатым лицом, с крупным носом. В розовых плавках-шортиках. Она сидела, поджав под себя ноги, и глядела в сторону Океана, который плескался сразу же за бассейном.

Дельфинов собирались выпускать в Океан, это я прочел к подписи к фотографии.

Я глядел, завороженный, то на девушку, то в бликующий солнечными зайчиками Океан. Девушка, Океан. Океан, девушка. Потом перевел взгляд на окно. На нем висело серое, отвратительно колючее солдатское одеяло. Я подошел к нему осторожно и отогнул край.

Нет, чуда не случилось.

За окном не плескался безбрежный Океан. На меня глядели серые, низкие сопки Заполярья. Вдалеке кривлялись карликовые березы. Где-то за ними, я знал, прыгают друг за другом огромные заполярные зайцы. Свет был серым и тусклым, но он был. Как раз наступил гребанный полярный день. Когда мы сюда ехали, нам объяснили, что на Севере бывает Полярный День и Полярная Ночь. Мол, полгода в тебя светит солнце, а полгода за улицей ночь. Так вот. Нас обманули. И полярная ночь оказалась тем же самым, что и полярный день. А полярный день оказался тем же самым, что и полярная ночь. Надеюсь, я вполне доступно объясняю, что никакой разницы между ними нет.

И то и другое – просто сумерки.

Когда уже не светло, еще не темно, и продолжается это одиннадцать месяцев в году. Что? Нет, вполне вероятно, что и все двенадцать, просто на один месяц мы всегда уезжали на юг, к бабушке с дедушкой. Отец оставался служить и отстреливать, от нечего делать, долбанных лосей из автоматического оружия, а мы с братом объедались в Молдавии виноградом и трындели: как романтично и красиво жить на севере, как клево собирать морошку, похожую на мандарины окраской и

Владимир Лорченков родился в 1979 году в Кишиневе. Окончил факультет журналистики Молдавского государственного университета. Первая публикация – в 2002 году в журнале «Новый мир» (позже – публикации в «Знамени», «Октябре», «Волге» и др.). Лауреат премии «Дебют» (2003) и «Русской премии» (2008). Автор десяти изданных книг: сборник «Усадьба сумасшедших» (2004), «Клуб бессмертных» (2007), «Самосвал» (2007), «Все там будем» (2008), «Букварь» (2008), «Большой куш» (2008), «Время ацтеков» (2009), «Прощание в Стамбуле» (2009), «Галатея или последний роман для девственников» (2010), «Табор уходит» (2010). Переведен и издан в Сербии, Италии, Германии, Норвегии. Живет в Кишиневе.

тошнотворную морковь с сахаром вкусом, прорывать в снегу туннели, спускаться с гор на саночках и передвигаться по туннелям под снегом в полный рост, и купаться в Ледовитом океане. Ах, Ледовитый Океан...

Ничего общего с Океаном, который плескался за спиной моей красавицы, у него не было.

Жестокий, холодный, колючий, всегда темный. Проклятый ты Ледовитый Океан, говорил я ему тогда и говорю сейчас. Сейчас, впрочем, такой ненависти я к нему не испытываю. Более того, глядя на безбрежно солнечные воды Средиземноморья, я даже тоскую по тебе иногда, северный океан. Помнишь ли ты меня? Говорят, у воды есть память. Говорят, на ней отпечатывается все, что мы говорим и делаем. Мировой Океан это просто большая пластинка, на которую записывается все, что мы говорим или, того страшнее, думаем. Соглядатай Бога, вот что значит вода. Говорят, если у воды сказать что-нибудь, ну там, «сейчас? Половина второго», или «ягненок с розмарином, отлично», или «иди к черту», ну, или «я люблю тебя», – вода запомнит это навсегда. Ну, так вот, Ледовитый Океан.

Я очень любил ее.

***

Забавно, но я мог выбрать не ее.

В той книжке, ну, где я впервые увидел ее фотографию, было несколько снимков. И Сара – а значительно позже я выяснил, что ее именно так зовут, ничего такого, не подумайте, в Америке просто распространено это имя, – вполне могла не дойти до моего сердца. Так и остаться красивой двадцатилетней девчонкой с задумчивым взглядом в океан и двумя дельфинами у своих крепких ляжек. М-м-м, что за ляжки. Уверен, даже дельфины, – они ведь тоже млекопитающие и теплокровные, как мы! – мечтали вдуть ей, этой девчонке, волосы которой с лентами развевал ветер. И именно в тот-то момент фотограф – я до сих пор, а ведь прошло двадцать пять лет, ревную ее к нему, – нажал на «спуск». Боже, надеюсь, спустил он лишь образно, иначе я не переживу этого. Детские шрамы болят до скончания жизни, не так ли? Ничего не заживает, все это просто чушь. Но тогда я об этом не думал. Мне было десять с половиной, почти одиннадцать! И я отчаянно старался выглядеть и думать как парень постарше, потому что учился с ребятами постарше. Это обязывало. А еще я плавал, и довольно серьезно, поэтому на соревнованиях то и дело выигрывал призы. А так как это был СССР – к черту стяжательство, – то ничего ценного нам не дарили. То книжки со спортивными очерками, то наборы для занятий физкультурой дома, и много-много всякой всячины. Особенно много нам почему-то дарили книг про море, ныряльщиков и тому подобную чушь. Видимо, они думали, что раз ребята плавают, то и книжки им нужно дарить про воду. Это было все равно, что подарить шлюхе фаллоимитатор.

Книгу «Человек-дельфин» я выиграл в Заполярье.

На семнадцатой странице этой феерической чепухи, написанной сумасшедшим французом Жаком Майолем, была фотография японской женщины-ныряльщицы ама. Эти девчонки ныряют в чем мать родила. У них только веревочный поясок и пышная черная мохнатка. У всех. И сиськи. Само собой, первое, что я сделал с книжкой Жака Майоля, дочитав ее до семнадцатой страницы, – заперся с ней в туалете и сдрочил. Аккуратно вытерся и вышел. Сел у себя в комнате и продолжил читать.

Жак Майоль, как и все французы, был сумасшедшим, восторженным, трахнутым по голове пыльным мешком кретином.

О-ла-ла! Он верил, что люди произошли от дельфинов, любил дельфинов, плавал в американском океанариуме с дельфином, описал историю своих отношений с дельфином Клоун, и, я был в этом практически уверен, он любил эту дельфиниху. Целовался с ней тайком вечерами при свете

звезд в океанариуме. И, как и все сумасшедшие, этот Майоль чертов был невероятно везучим. Он погружался без акваланга на большие расстояния и даже пару раз побил мировой рекорд. Его предел был сто пять метров. Наверное, это секс с дельфинихой его так вдохновил.

В общем, книга мне понравилась.

Я даже прочитал страниц тридцать еще и подумал, что буду дрочить на фото японской купальщицы. Крепенькой низенькой японской девушки с колючим кустом вместо ног, японки, уходящей в глубину и болтающей ногами, – именно в этот момент ее и подловил фотограф, – как случайно перевернул страницу, зная, что она будет последней.

Тут-то я и увидел ЕЁ и японка была безжалостно выброшена из моего сердца. В воду. Бульк.

На меня глядела богиня в розовых плавках-шортиках, джинсовой рубахе, крепкими полными ляжками, крупноватым носом, чуть продолговатым лицом, небольшой, но высокой грудью, и ветер дул ей в лицо, а она глядела, полуотвернувшись, в Океан, и я понял, что влюбился. Это следовало обдумать.

Я взял книжку и пошел в туалет.

***

При переезде в чертову Молдавию я оставил в этом чертовом Заполярье все свои ценности – коробку с медалями и грамотами. Но книга «Человек-дельфин» была со мной. Сара – а я узнал, как ее зовут, догадавшись просмотреть перечисление списка изображений и их авторов в конце книги – была со мной. Я уже точно знал, что мы с Сарой поженимся, когда я стану побольше. О, исключительно в плане роста, конечно. С остальным был полный порядок – в раздевалку, посмотреть на чудо природы, приходили парни из девятого класса.

Ну у него и яйца, ну у него и член! – говорили они. – Это в его-то одиннадцать!

Одиннадцать и четыре месяца, – поправлял я, – почти одиннадцать с половиной, значит, практически двенадцать.

Они добродушно смеялись, а на тренировках на меня поглядывали, перешептываясь, девочки. Но мне было все равно. Я знал, что отдам всего себя Саре, только Саре, исключительно Саре. Я был ее рыцарем. Мне было все равно, что найти ее будет делом трудным, практически невероятным. Но я не мог глаз отвести от ее фотографии. Часами сидел, глядя на нее и Океан за ее плечами, на дельфинов этих чертовых у ее ног, и думал, думал, думал. Как мы встретимся, как я подойду к ней, и как сладко сожмется у нее сердце. А пока сжималось оно у меня. Ну, и не только сердце. Конечно, приходилось мастурбировать. Как-то раз я, в качестве эксперимента, спустил прямо на снимок. Ничего особенного, а пятно пришлось затирать. Так что я больше этого не делал. А Сара как была богиней – чистейшей, красивейшей, – так ей и осталась, хоть на ее шортах-трусиках и появилось небольшое пятно.

Только сейчас я понимаю, что это она потекла.

Но и тогда я понимал очень многое. Дети, которые занимаются плаванием, они как сельские. Очень развитые, и даже больше, чем сельские. В деревне детишки с младых лет видят, как коровы любят быка, ну, и тому подобные штуки. А на плавании ты лет с шести-семи видишь обнаженных людей и прекрасно понимаешь разницу между полами. Тем более, что плывет-то команда на одной дорожке.

Так что я пристраивался за девчонками, – когда те плыли брассом, по-лягушачьи раздвигая ноги, – и смотрел. Неотрывно. Тренера даже нервничали. Но мне было все равно. Никто в мире не мог бы обвинить меня в педофилии – я был младше этих тринадцатилетних коров на полтора-два

года. Мне нравилось рассматривать их щели. Некоторые – со складками – были особенно привлекательны. Но, конечно, никакой конкуренции эти девушки моей Саре составить не могли. Моя двадцатилетняя женщина, она ждала меня, сидя на низком бортике бассейна, залитого морской водой.

И дельфины весело перемигивались у ее ног.

А я дрочил, глядя на нее, дрочил так и этак. Изучил Камасутру – мне надо было быть готовым к тому моменту, когда мы встретимся, прочитал все статьи в журнале «Ровесник» про секс, просмотрел даже тайком в каком-то советском салоне, заплатив за это рубль с полтиной, фильм про секс. Я стал страшно опытный. Я не просто дрочил, но мысленно вытворял с Сарой такие штуки, что...

Уверен, и Саре это нравилось. И, как и все американки, она была не очень ревнива и понимала, что к чему. Так что, когда на соревнованиях в каком-то Североморске или где там у них подводные лодки целятся карандашами чертовых ракет в подбрюшье НАТО – ко мне в номер пришла девчонка из соседней команды и спросила, умею ли я трахаться, я сказал – ну, конечно. А что, спросил я. Она уже трахается, объяснила мне девчонка, а ее парень-старшеклассник уехал в Омск на полгода и вернется только к лету. Лето, зима, какая к черту разница на этом Севере, подумал я. А трахаться ей охота, и ребята постоянно говорят, что у меня большой член и яйца, поэтому давай потрахаемся, продолжила девочка. Я сказал о'кей и отложил книгу «Человек-дельфин». Она легла под одеяло – проклятущее колючее советское одеяло, какое давали во всех проклятущих гостиницах Советского Союза – и разделась под ним. Легла на меня, и мы потрахались. Ей было четырнадцать лет, и она была перворазрядницей, мне тринадцати еще не было, и шел я на второй взрослый. Спинист и брассистка. У нее еще были крашеные волосы, она этим гордилась. Нет, не внизу, внизу она их сбривала, чтоб из-под купальника не выбивались.

Потом мы еще пару раз потрахались, потому что она лишилась девственности всего месяц назад и входила во вкус. Скажешь кому-нибудь, скажу, что ты наврал все, и мой пацан тебя убьет, сказал она. Когда она ушла, я достал «Человека-дельфина» и стал онанировать.

– Что делал? – спросил меня парень, которого подселили ко мне в номер и который вернулся из города.

– Трахался с Олей из команды «Альфа», ну, у которой парень в Омск уехал, – сказал я.

– Врешь, – сказал он.

– Вот, – сказал я, – она трусы забыла. Потрогай, они еще скользкие.

– Круто! – сказал он, нюхая трусы. – Господи, глазам своим не верю. Ты ТРАХАЕШЬСЯ? О, черт, да это всей команде надо рассказать!

– Ну а что здесь такого? – скокетничал я. – Расскажи, конечно!

– Хочешь, сяду на шпагат и достану яйцами рубль? – спросил он.

– Не достанешь, – сказал я.

– Спорим на рубль? – спросил он.

– Давай, – сказал я.

Мы бросили рубль на пол, он снял штаны и сел на шпагат, и яйцами коснулся рубля.

Я проиграл.

***

Несмотря ни на что, я был верен Саре. Ну, в смысле душой.

Когда мне было тринадцать, мы перебрались в Молдавию. Случилось ГКЧП. Или случился? Не знаю. Я видел телик. Несколько испуганных дядек сидели за столом перед кучей чертовых журналистов, и те издевались над пожилыми людьми. Мне было жаль и тех и других. Потом показали танки и людей, которые улюлюкали и бросали в танки бревна.

– Дети, – сказала мать торжественно, – это Демократия свергает режим! Только бы не Совок снова, только не это!!!

После этого она поехала к отцу, на Север, помогать ему собирать пожитки, чтобы вернуться в Демократическую Молдавию. И оставила нам с братом двести рублей на две недели. Тут-то и случилась очередная денежная реформа, и эти деньги обернулись ничем. Мы неделю жрали одну черешню, которую воровали в садах за домом, и поносили от этого, как заведенные, ослабли страшно, я даже дрочить не мог, только лежал в углу на матрасе, мебели-то не было, да постанывал, а брат готовил мне единственное лекарство, которое мы могли тогда себе позволить, – крепкий чай.

Но книга «Человек-дельфин» была со мной. Я глядел в нее, когда мне становилось совсем худо.

... По телику показали балет, и мать загрустила. Балет значил, что красные побеждают, а мать не любила красных. Потом показали митинг, и мать повеселела.

Я поглядел на телик еще немного и пошел дрочить, в ванную.

Я выяснил экспериментально, что в ванной – лучше всего. Есть два вида секса с собой в ванной. Первый – когда ты полностью погружаешь член в воду. Для этого нужно прилагать больше усилий, потому что сопротивление воды не позволяет двигать рукой так же свободно, как над водой. Второй – ты держишь в воде ПОЧТИ все. Второй вариант более шумный – ты хлюпаешь. Ощущения хороши и так и этак, но они чуть разнятся. Это как выпить коньяку из широкого бокала, предварительно нагрев, или сделать из него глинтвейн или что там из него делают?

В общем, по настроению.

Я выбрал глинтвейн, и спустил под водой. В ушах стучало. Это бился в них Океан, и Сара – не стареющая, молодая, прекрасная Сара, сотрудница океанариума Мичигана, снятая в 1972 году с дельфинами фотографом Джоном Ирвином для книги «Человек-дельфин» Жака Майоля, тираж 70 тысяч экземпляров, – глядела чуть в меня и чуть в сторону, чуть мимо меня. Мы были знакомы уже несколько лет, но чувства наши были свежи. Мне было уже четырнадцать.

Я любил ее.

***

Конечно, со временем я изменил Саре не только телом.

Знаете, как это бывает. Шестнадцать – первая любовь, восемнадцать – вторая, двадцать – третья. То, что кажется тебе значимым в детстве, не так важно, когда ты взрослеешь. Ну, и тому подобная конформистская чушь. Чушь, потому что, когда я словно очнулся и – мужчина двадцати трех лет, в шрамах, и опытный – случайно наткнулся на книгу «Человек-дельфин», валяющуюся на балконе, то понял, что у нас все по-прежнему.

Сара была самой красивой женщиной мира. Меня волновала ТОЛЬКО она. Самая красивая девушка в мире. Для меня и для мира, и для Океана, и для тех двух чертовых дельфинов, что тусили у ее ног. Я мечтал о ее промежности. О ее груди и губах. Я был готов умереть за нее.

Я бы отдал все за то, чтобы лежать в воде у ее ног.

Я уже не плавал и успешно гробил спиртным все то, что подарил мне спорт. Закончил журфак, много курил, много работал, разбивал сердца, свое давно уже потерял где-то. В моей жизни была одна ценность. Одна постоянная величина. Сара. Все остальное – женщины, работа, книги, которые я начал писать, – пролетало мимо меня в какой-то бешеной тряске. Мне исполнилось

двадцать четыре или пять, когда я, крепко поддав, сел в кабинете своего редактора вечером с бутылкой коньяку и набрал справочную Мичигана. Во мне все трепетало. Ради этого момента я учил английский язык по самоучителю Петровой и, мать вашу, выучил его.

– Океанариум Мичигана, – попросил я.

Они не торопились, но мне было все равно. Платила-то за переговоры, хоть и не знала об этом, редакция. Мне дали чертов телефон этого океанариума. После моих долгих сбивчивых объяснений ошарашенные сотрудники океанариума обещали мне узнать все о персонале семидесятых годов.

И, конечно, ничего не узнали.

Мы очень сожалеем, сказали они. Это ужасно трогательная история, сказали они. Можно мы напишем про нее в нашей городской газете? Делайте, что хотите, сказал я, повесил трубку и разрыдался. Впервые за двенадцать лет я плакал. Учить французский и искать Жака Майоля было бы чересчур. Ну что же, я хотя бы попробовал. Совесть моя была чиста, этот долг можно было закрыть.

Я бросил книгу «Человек-дельфин» на балкон, где хранится весь мусор, и зажил без Сары.

Плохо зажил.

***

В тридцать пять я развелся.

Глядя на свадебные фотографии и отхлебывая пиво прямо из бутылки, я признался, наконец, себе в том, что выбирал жену по степени сходства с Сарой.

Они были очень похожи.

Наверное, мы могли бы быть счастливы с Олесей. Она была так же хороша, как Сара, пригожа, умна, все такое. Но, черт побери, за ее спиной не было Океана, и за ней не светило вечное Солнце, и она не была символом девушки-хиппи, бросившей все ради спасения дельфинов в океанариуме. Господи, Сара, где ты, где ты, моя вечная молодость, где ты, мой Океан, где ты, где ты, где ты...

Я вырезал из книги это фото и вставил его в рамку. Поставил на комод. Когда жена – бывшая жена – пришла забирать свои вещи, то спросила меня, что это значит. Я объяснил.

– Ненавижу тебя, – сказала она.

– Ты просто десятилетний пацан, который замер в свои десять у книжки с фотографией, окаменел и пропустил всю жизнь, – сказала она. – И был таким все последние двадцать лет.

– Бедный, несчастный, одинокий и развращенный мальчик у берега моря, – сказала она, – а я ведь была вся для тебя. И мы могли бы жить настоящим...

Я закрыл глаза. В уши нам с Сарой бился прибой. Дверь хлопнула, и больше я Олесю никогда не видел. Другие женщины в доме появлялись все реже. Зачем? Мы с Сарой достигли в сексе феерических высот. Вы не представляете себе, ЧТО можно вытворять, просто глядя друг другу в глаза и лаская себя... А вот во всем, что не касалось секса, все обстояло очень плохо. Дело вообще шло к деградации, я начал пить, бросил писать, курил прямо в постели и все разговаривал с Сарой. Она была благодатна, как Вселенная, и не осуждала меня, я видел. Но какой-то инстинкт подсказал мне, что умирать еще не время. Так что я отослал свое резюме в пару фирм, пришел на собеседование чисто выбритым и одетым во все стиранное и, благодаря своему слабо подзабытому английскому и любви к истории и Гомеру, получил работу экскурсовода в Трое.

Уже через месяц мы с Сарой улетали в Турцию.

***

Работа мне нравилась. Жил я в городке километрах в пятнадцати от самой Трои – вернее, ее развалин, – назывался который Чанаккале. От него до берега Европы было километра полтора, их еще Байрон переплывал. Пару раз переплыл и я. За два года, что я там пробыл, бросил курить, стал плавать, бегал по утрам.

Сара глядела на меня с одобрением.

Персонал гостиницы – скромной «трешки», но мне хватало, – где меня поселили, к рассказу о погибшей жене, чье фото всегда со мной, отнесся по-турецки сентиментально. Так что меня не трогали особо, и я мог сколько угодно гулять по берегу моря с фото Сары, да два раза в неделю сопровождал группы туристов к Трое.

Вечерами я гулял по набережной Чанаккале, ел рис с соком лимона и мясом мидий из ракушек этих мидий и сидел на лавочках у черного от ночи Черного моря. Над ним парила дымка. Я не был уверен, что из нее вот-вот не покажется голова Джона Гордона. Ну, или я вдруг увижу за пальмой Сару, кормящую с рук дельфинов.

Здесь все было так... зыбко, странно и удивительно.

Я, как оно в Турции часто бывает, постепенно пропитывался Солнцем, благодушной апатией ко всему, философским отношением к жизни и умением просто жить, не требуя взамен ничего. Наверное, за это судьба меня и вознаградила.

И я встретился с Сарой.

Настоящей, а не картинкой из книжки.

Я вел группу туристов по дощатому мостику от стены, с которой на головы ахейцев лили кипящее масло, к храму, где заколол жертвы 900 лет спустя сам Александр Македонский, – а навстречу мне поднималась стайка позитивных англосаксонских туристов. Я прошел мимо, и уже спустя пару метров понял, что видел ЕЁ. Я быстро указал своим туристам на поле, по которому Ахиллес таскал за своей колесницей труп Гектора и попросил идти в том направлении. А сам обернулся и прыжком, рискуя сломать шею, – здесь из-за раскопок все ходят по мостикам и доскам – догнал туристов. Семь жизнерадостных, розовощеких американцев. Да, я не ошибся. Посреди них стояла ОНА, чуть расплывшаяся в бедрах, чуть усохшая в груди, с чуть седыми волосами, но это была она, она, она.

– Здравствуйте, я всю жизнь дрочил на ваше фото, – сказал я.
– Что? – спросила она на английском.
– Вас зовут Сара? – перешел я на английский.
– Да, – недоуменно ответила она.
– Вы работали в океанариуме Мичигана? – спросил я.
– Э-э, да, но очень давно и всего сез... А откуда вы, молодой человек, это знаете? – спросила она.
– Так это вы? – спросил я.
– Это я, – сказала она весело-удивленно, – но отку...
– Я вас очень любил, – сказал я. – Очень-очень. Вы были божественно красивы.
– То есть, – сказал я, – вы и есть божественно красивы.
– Да, черт побери, – сказал розовощекий американец лет семидесяти пяти, как и она, – я это знаю, недаром я ее муж. Вот уж не думал, что в таком-то возрасте у меня появится соперник.

Пенсионеры радостно рассмеялись. Я улыбался.

– Я надеюсь, вы счастливы и у вас куча детей, – сказал я им.
– О, спасибо, уже внуков, – сказала, все еще не понимая, она.

– Я счастлив, – сказал я. – Я был очень влюблен в вас. Я должен объяснить. Я не сумасшедший. Я вас очень любил. Ну, именно такой, как тут. Ну, мне пора. Кстати, вот ваше фото. Это было в книжке одной, про море... Я увидел ее в детстве и был влюблен, ну, как это у детей бывает, знаете?..

– Про море... – сказала она, начиная что-то понимать. – Какое красивое фото... Я была так молода... Да, как у детей. Картина прекрасной дамы... Понимаю. Я была так молода...

– Вы и сейчас такая, – галантно сказал я.

– Молодой человек, – сказала она, и я понял, что моя Сара осталась моей Сарой, – молодой человек... Лет тридцать-сорок назад...

И подмигнула. Так, как сделала бы эта красивая девушка с фотографии моего детства. Они, и даже ее муж, снова рассмеялись, очень дружелюбно, и я понял, что лет тридцать-сорок назад, может, и правда...

Проблема была лишь в том, что лет сорок назад она, двадцатилетняя и прекрасная, сидела на краю бассейна, и ветер Океана развевал ее волосы с розовой лентой. А меня еще не было. А эта, нынешняя женщина, она была уже вовсе НЕ ТА Сара...

Они попрощались со мной за руку все, старушка чмокнула меня в щеку, и они ушли, громко и восторженно обсуждая эту удивительную историю.

Я махал им рукой, улыбался, и на моих глазах выступали слезы.

***

Так я увидел Сару и потерял ее.

Но это меня не огорчало. Утром следующего дня я взял автомобиль напрокат и поехал к Трое. Никого не было. Развалины выглядели как обычные турецкие античные развалины. Много мрамора, камней, скульптур, земли. Много травы, зелени. И ящерицы, которые греются на мраморе. И очень редкие туристы, которые приехали не группой, а сами, остановились в городке неподалеку и бродят по античным дорожкам, останавливаясь лишь у щитов с указателями. Старательно шепчут, повторяя про себя, куда идти. Гида такие не берут, но я сегодня и не был гидом. Птицы поют. Вдалеке чуть шумит море.

Раскопки пустовали. Я прошел по узким улочкам между крепостными стенами – именно среди них понимаешь, что история про Коня была преувеличением, тут и человек еле пройдет, – и взобрался на холм седьмой Трои. Всего-то их было двенадцать, и штурму, описанному Гомером, подвергалась четвертая.

Впрочем, извините. Я все сбиваюсь на экскурсию. А я ведь не для того сюда приехал. Я спустился с холма к остаткам пятой Трои, и присел у мраморного столика, за которым сидел еще Македонский, когда остановился здесь почитать что-то из Гомера, ну, перед тем, как покорить Персию. Достал пистолет. Еще одна чудесная особенность Турции состоит в том, что здесь можно свободно купить оружие, не пулемет, конечно, но какой-нибудь скромный пистолет – запросто. Солнце уже начинало припекать, и я почувствовал капли пота на лбу. Надо было торопиться, пока не началась жара.

Я поставил на столик фотографию Сары в рамке. Расстегнулся. Сделал это в последний раз. И стал глядеть на нее. На лицо своей единственной любимой женщины. Время шло, а я все глядел и глядел.

...постепенно ящерки на кусках мрамора пропали, зеленые поля поблизости потемнели и превратились в синие-синие воды Океана, великого океана Любви, и девушка, сидящая передо мной в профиль двадцать пять лет, повернула, наконец, ко мне свое лицо, небо помрачнело и на голову

мне что-то капнуло, а потом я понял, что это ветер, великий ветер принес ко мне соль и брызги Океана, и девушка улыбнулась мне, сухо где-то вдалеке щелкнул выстрел, но это не имело уже никакого значения, потому что глаза моей Сары широко раскрылись, и она, девушка с фотографии, ожила и раскрыла мне объятия, и я упал в них, и ее тело в короткой джинсовой рубашке, и полные ляжки в розовых шортиках – все это потянулось ко мне, и вдалеке закричали чайки, и Солнечный диск взошел над водами, и воды омыли нас с Сарой, и мы стояли, молодые и красивые, обнявшись, прижавшись друг к другу, у кромки Океана, и дельфины плескались у наших ног, и мы глядели друг другу в глаза, и улыбались, и знали, что будем здесь вечно, и будем так вечно, теперь уже вдвоем.

Вместе и навсегда.

СЫН РА

Молдавский тракторист Тудор Афанасеску стал крупнейшим специалистом мира по истории Древнего Египта только лишь из-за сына.

Если бы не мальчишка, не быть бы Тудору тем, кем он стал, не видать бы ему небывалых успехов на поприще египтологии и археологии...

Без сына, знал Тудор, никогда бы ему не расшифровать древние и загадочные иероглифы на Карийенской стеле – эти иероглифы были в отношении тех, что расшифровал Шампольон, как глаголица Кирилла и Мефодия к современному кириллическому алфавиту, – не открыть поразительно точных данных о влиянии этрусков на развитие мореходства в Нижнем Царстве, не нащупать невероятно смелых и в то же время удивительно верных теорий о наличии в войсках фараонов боевых слонов, и все это лишь по письменным источникам...

В Египте, а тем более в Древнем, Тудор не был.

Но – как он сам не раз говорил ученикам и последователям – вовсе не обязательно трахать кошку, чтобы почувствовать себя униженным. Или что-то в этом роде, что Тудор слышал о кошке, художниках и авангардистах, просто пересказал эту пословицу в своем видении. К тому же, авторитет Афанасеску в мире египтологии был невероятно высок. Ему слали телеграммы, письма и поздравления, институт в Берлине жаждал узнать его мнение относительно Междуцарствования, исследовательский центр в Женеве высылал редкие криптографические знаки самого раннего царствия с униженной просьбой обратить внимание, когда – и если – будет время...

Все страны мира, в которых были Египтологи, присутствовали на карте мира, наклеенной Тудором в большой комнате его просторной, всегда чистой мазанки. Не было на карте только Италии. Ее египтолог соскреб с карты мира бритвенным лезвием. Дело в том, что в Италии жила и работала бывшая жена Тудора, красавица Стелла. Жили они с Тудором всего два года, после чего она родила сына, – оправилась и поехала на заработки, потому что Молдавия как раз выбрала путь независимости, свободы и процветания. По крайней мере, так говорили люди в костюмах в телевизоре, смотрел который Тудор все реже. С малым дитем на руках разве телевизор толком посмотришь? Только и хватало сил у Тудора на то, чтобы послушать радиоточку. Но там тоже говорили про свободу, независимость и демократию, и процветание, и от этих разговоров Тудор устал не меньше, чем от изнурительной работы в поле. Тем более, что платили за нее все меньше, а работы было все больше. Да и процветания, о котором талдычили люди в костюмах, все не было да не было.

– Это потому что вы, марамойцы, мало работаете, – сказал бывший председатель колхоза.

– Привыкли, как в совке, блядь баклуши бить, – сказал бывший председатель колхоза, а теперь зажиточный фермер.

– Привыкли пить, воровать и ни хера не работать, – сказал он.

– Правильно Сталин стрелял за колосок блядь, – сказал он.

– И не надейтесь, что снова все будет как при коммуняках и при Сталине вашем е.ном, – сказал он.

Тудор подумал, что, может, фермер и правда прав, и работать надо больше. Так что Тудор стал работать по 20 часов в сутки. От этого он возвращался домой, харкая кровью и согнувшись в три погибели, как раб с возведения пирамид Среднего Царства. Но Тудор тогда еще не был знатоком египтологии, поэтому он просто харкал кровью и шел, согнувшись. Дома его ждал любимый сын, чудесный мальчишка Петря. Он гукал, улыбался, и Тудор, взяв пацана на руки, забывал о своих легких и спине. Он платил няньке – старухе с окраины села – почти весь свой месячный доход. Стелла, к сожалению, перестала звонить и слать деньги сразу же, как только уехала в Италию. Это не очень удручало Тудора. Куда больше его расстраивало другое.

Мальчишка стонал без перерыва.

***

О том, что с мальчишкой что-то не так, Тудор догадывался с самого начала. Маленький Петря все время натужно стонал и кряхтел, но бабки в селе успокоили мужчину, сказав, что это от живота. А животом мучаются все мальчишки, сказали бабки. На всякий случай они посоветовали Тудору мазать живот мальчишки паутиной, снимать которую следовало в церкви, за иконами. Тудор как человек, работающий с техникой, лишь отмахнулся от этих глупых суеверий. В церковь он пошел аж на пятый месяц жизни мальчика. Петря все эти пять месяцев стонал и кряхтел, чем едва не свел отца с ума. От боли губы ребенка были синими и поджатыми. Невесело выглядел маленький Петря – и все стонал, стонал да стонал без остановки, – когда Тудор, махнув рукой на свой атеизм, пошел в церковь, смести паутинок за иконами. Там-то его и подловил сельский священник, отец Паисий.

– Ая-яй, сын мой, – сказал он неодобрительно.

– Что же ты за иконами шароебишься? – сказал он зычно.

– Выйди на свет, хочу посмотреть на того мудака, который решил нашу церквушку ограбить, – сказал он.

– Отец, вы все не так поняли, – сказал виновато Тудор.

И вкратце объяснил все священнику. Тот от этого нисколько не умягчился, а лишь рассвирепел.

– Потому мы и живем в говне, дети мои! – гремел он на всю церковь.

– Потому мы и отстали от всего мира на сто лет! – кричал он.

– Что занимаемся погаными вудуистскими обрядами и лечимся паутиной, – тряс он руками.

– И это в самом конце двадцатого века! – сказал он.

Тудор не видел укоризненного выражения лица отца Паисия. Трактористу было стыдно, и он глядел в пол. Священник, горько повздыхав насчет темноты и безграмотности села, закрыл церковь и пошел к Тудору домой. Там он провел передовой обряд помазания младенца елеем, изгнал из него злых духов, плюнул мальчишке на лоб, помазал слюной нос и рот, дунул в каждую ноздрю и обмахал веником.

– Дурные болезни сметаю, – пояснил он Тудору.

После этого пришла пора платить. Тудор отдал священнику последние запасы муки и масла.

Но мальчишка стонал не переставая.

***

Когда Тудор решился на крайние меры, сыну Петре – все стонавшему да стонавшему без перерыва – исполнился год. Тудор, взяв пацана на руки, вышел к дороге. Там он тормознул попутную машину и добрался до Кишинева, где очень долго искал больницу. Какую именно, он объяснить городским не мог, отчего одни очень нервничали, другие много смеялись, и все презрительно воротили нос от Тудора с пацаном, которые действительно не очень хорошо пахли. К вечеру Тудор больницу нашел, но было уже шесть часов, и холеный врач, закрывавший двери кабинета, сказал, что не может дольше задерживаться. Так что Тудор подождал до утра, держа мальчишку на руках. Он уже заметил к тому времени, что маленький Петря стонет от прикосновений к чему-либо. Мальчишка стонал от боли и просил то попить, то чтобы перестало болеть, так что ночь пролетела как один миг. И утром, всего лишь после трех часов в очереди, Тудор попал, наконец, на прием. Небрежно осмотрев мальчишку, врач начал писать. Писал он долго, часа три. После этого сказал:

– Вот вам направление к врачу, который его посмотрит.

– А вы разве не врач? – спросил бестактный Тудор.

– Я тот врач, который выписывает направления к другим врачам, – с достоинством сказал врач.

У другого врача Тудор положил мальчишку – все стонавшего – на кушетку и стал ждать. Микстуры бы нам, просраться, доктор, хотел сказать он. Но доктор, качавший печально головой, сказал, что дело вовсе не в животе.

– Hidrutyiis dahytero, – грустно сказал он.

– Я русский не очень хорошо знаю, – шмыгнул застенчиво Тудор.

– Это латынь, – грустно сказал доктор.

Вышел и вернулся с коллегами.

– Hidrutyiis dahytero, – сказал он еще раз.

– Hidrutyiis dahytero? – очень удивился второй.

– Да, Hidrutyiis dahytero, – подтвердил третий,

– Hidrutyiis dahytero без сомнений, – вынес вердикт четвертый.

– Hidrutyiis dahytero, – сказали они хором, как дети в школе.

После этого Тудора попросили сесть.

– Папаша, мальчик ваш неизлечимо болен, – сказали Тудору.

– Это редкая болезнь, которая развивается из-за отсутствия в организме особого вещества, – сказали ему.

– Благодаря ему в суставах есть жидкость, кожа эластичная, кости скрепляются, ноги ходят, глаза смотрят, – сказали ему.

– Чем дальше, тем больше кожа будет сочиться гноем, – сказали ему.

– И любое прикосновение будет вызывать адскую боль, – сказали ему.

– Но хуже всего то, что каждый день будет все хуже и хуже, – сказали ему.

Тудор – с очень прямой спиной и сцепленными между колен руками – посидел молча и спросил.

– Так а что делать?

– Давать морфий, чтобы не было больно, – сказали врачи.

– Хорошо, давайте! – сказал Тудор.

– К сожалению, система здравоохранения Республики Молдова не предполагает обслуживание таких пациентов регулярными дозами лекарств типа морфий, что связано с недостаточным обеспечением нужд медицинских учреждений на уровне запрашиваемых ими поставок, что, несомненно, будет исправлено в ходе демократических рыночных реформ в рамках программы по обеспечению населения доступными медицинскими услугами в 2020 году, что предусмотрено в

принятой правительством Программе по обеспечению населения доступными медицинскими услугами в 2020 году, – сказали ему.

– Что же делать? – спросил Тудор еще раз.

Врач потрепал его по плечу и сказал:

– Мужаться.

Тудор посмотрел на доктора, пробормотал «спасибо», неловко сунул в ладонь двадцатку, которую доктор неловко забрал, взял сына на руки и вынес так из больницы – как жених невесту из ЗАГСа, – и поехал в село.

По дороге домой мальчишка стонал.

***

Спустя год Петря был все еще жив.

Тудор держал его на большом надувном матраце, и бросил работу, чтобы ухаживать за сыном. Еду он просил у дальнобойщиков Христа ради, мальчишку каждый день протирал и обмахивал огромным веером почти круглосуточно. Может быть, веер и натолкнул его на мысли о Древнем Египте. По крайней мере, Тудор видел такой в фильме про фараонов в своей прошлой жизни: когда в селе был кинотеатр, Дом культуры и сюда приезжала «скорая». Так что Тудор, чтобы не скучать, пошел к сельской библиотеке, которая стояла заколоченной, и, вырвав дверь, набрал себе всяких разных книг по латыни и истории Древнего Египта. Чтобы не бездельничать, когда мальчишка спит, а он нет, потому что двигает опахалом. Помахивая им – сделанным из веника, длинной палки и нескольких листьев лопуха, – левой рукой, Тудор держал в правой книжку и с увлечением и восторгом погружался в мир Древнего Египта. Книжку явно писал волшебник! Ведь в предисловии так и было сказано:

«Благодаря этой книге вы погрузитесь в мир Древнего Египта с увлечением и восторгом».

И откуда они знали, думал с увлечением и восторгом Петря.

Спустя пару месяцев, когда он отлучился на часок к дороге попрошайничать и вернулся, дома его ждала Стелла. Молодая, красивая, загорелая. На каблуках, в юбке и блузке! Розовой, с бантом... Поглядеть на Стелуцу сбежалось все село.

– Пронто, пронто, – смеялась она.
– Белла е белла, – говорила она громко и уверенно.
– Эль пяно! – улыбалась она.
– Белло, чао, э чао, – говорила она.
– Фантастико, чао! – говорила она.

Тудор молча посмотрел на такую чужую и красивую женщину, снял резиновые тапки, которые ему были вместо осенней обуви, и сел на стул. Тудору было страшно неловко. Он робел Стелуцы.

– Спасибо что присмотрел за бамбино, – сказала Стелуца.
– А сейчас я забираю его, – сказала она.
– Ты должен понять, что мы с Чиано будем ему более подходящие паринто, – сказала она.
– Да, я все понимаю, – сказал Тудор.

Скучающий Чиано – большой волосатый мужчина с золотой цепью на шее, – посмотрел на часы и зевнул. Ну что же, подумал Тудор, пора прощаться. Аккуратно вынес из соседней комнаты матрац. Старательно все объяснил: как ухаживать, как обмахивать, как мыть. Стелуца и Чиано выглядели очень удивленными.

– А, да, я же бинты не снял, – сказал Тудор.

Мальчишка из-за бинтов был похож на мумию из книги про Древний Египет. Тудор развернул Петрю – мальчишка стонал громче, потому что от гноя бинты прилипли к коже, – и протер смоченной в дезинфекционном растворе губкой.

– Что же это? – спросила Стелуца с дрожащими губами и слезами на глазах.
– Hidrutyiis dahytero, – сказал грустно Тудор.

Стелуца, глазам не веря, плакала, прижимала голову Петри к себе, бормотала «сынок мой, сыночек», звонила знакомым в Италию, справлялась насчет хорошего врача, всю ночь стояла с опахалом у изголовья мальчишки, каялась, просила у него прощения – он еще не очень хорошо говорит, но все понимает, сказал Тудор, – целовала руки и говорила, что теперь все будет по-другому. Под утро мальчишка забылся, Тудор тоже от усталости и спокойствия – наконец-то в доме есть кто-то, кто посторожит ребенка, знал он, – уснул. А когда они проснулись, в доме было пусто. Стелуца и Чиано уехали, даже не сказав «чао». Тудор все понял и зла не держал.

Надо же ей и о себе подумать.

***

Когда в доме кончились продукты, Тудор начал воровать молоко для того, чтобы покормить сына, – от твердой пищи тот стонал еще громче и уже начинал плакать и жаловаться, – а сам пил только воду. Еще Тудор много читал. В тот день, когда ему открылась Истина, в дом забрел бродячий проповедник-баптист в костюме и с папкой.

– Сын мой, – сказал он.
– Я пришел принести тебе евангелие! – сказал он.
– Что с твоим мальчиком? – спросил он.
– Бог поможет! – сказал он.
– У него была возможность это сделать, – сказал ожесточившийся Тудор.
– Мальчику уже три с половиной года, – сказал он.
– Мы бедствуем, и мой мальчик стонет от боли, – сказал он.
– А Бог? Х.ли ваш Бог, – сказал Тудор.
– Я ходил в церковь, поп читал тут свои наговоры, и что? – сказал Тудор.
– Это плохой, православный Бог, – сказал баптист.
– А я пришел возвестить тебе правильного Бога! – сказал он.
– Христианского Бога, – сказал он.
– Того, кто наслал беды на нечестивый Египет! – сказал он.
– И отравил воды его и перебил младенцев его! – сказал он.

После этого баптист почитал какие-то молитвы, поплясал у постели мальчишки – от удивления Петря даже стонал не так громко – и ушел, оставив брошюрки. Тудор даже не стал их читать, и вернулся к большому труду Шампольона о Древнем Египте, перевернул страницу, и тут его осенило.

– А что если настоящие боги там? – сказал он негромко.
– А-а-а-а, – слабо сказал в ответ сын.
– Ведь они дают мне знаки, – сказал Тудор.
– А-а-а-а, – сказал сын.
– Опахало, сын, похожий на мумию, бог-враг Египта, наславший беды на младенца... – сказал Тудор.
– А-а-а-а-а-а, больно, – сказал сын.
– Потерпи сынок, – сказал Тудор. – Потерпи...

На этот раз – с уверенностью.

***

... в 2005 году Тудор стал крупнейшим специалистом Европы по Древнему Египту.

Он написал несколько научных трудов, развил три гипотезы и создал научную теорию. К нему приезжали ученики из США, Канады и Южной Америки. Студенты жили в палатках у дома и слушали курс лекций. Также они с удовольствием знакомились с сельским бытом Молдавии. Выискивали в головах вшей, со смехом устраивали родео на сельском ишаке, отчего тот тупо верещал, прижав уши к голове, и клал кучи теплого навоза. Одну за другой... Студенты фотографировали навоз и отсылали снимки домой по электронной почте, носили воду из колодца и всячески опрощались. Сельские разбогатели на поставках еды для студентов, которые с удовольствием ели парные огурцы и помидоры из Турции, румынские овощи, украинский хлебушек и пили чилийское вино. Все это деревенские везли из супермаркета в Кишиневе и выдавали за своё, с грядки, с лозы.

Зайти в дом учителя никто не имел права. Да никто и не был бы рад, попади он в этом дом.

В большом – Тудору построили трехэтажный дворец – мрачном зале без света, в специальной подвесной люльке на золотых цепях, обмотанный позолоченными бинтами, лежал Петря. Словно диковинная куколка заморской бабочки... Кожа мальчишки дико болела и от солнечного света, поэтому в комнате всегда был очень темно. В углу стоял алтарь с изображениями богов Гора, Ра, Сета. В углу ползал крокодил на серебряной цепи. Механические опахала, вздымаясь и опускаясь в регулярные промежутки времени, создавали в помещении ветерок. Тудор – принявший новое имя, Тутмос, – совершал возлияния богам, после чего разговаривал с сыном. Мальчишка, который уже разговаривал, обожал отца и стонал все громче. Ему было все хуже. Но Тудор уже не очень беспокоился на этот счет.

– Только молдаване способны на такое, – писали про Тудора в репортаже журнала «ДжиКей».

– Только молдаванин может решить стать крупнейшим специалистом по истории Древнего Египта и стать им безо всяких условий, предпосылок и т.д., – писал с ироничным стёбом, потому что их так заставляют, обозреватель газеты «Коммерсант».

– Люди мечты, – обозначил Тудора и ему подобных журнал «Огонек».

– За семь лет этот крестьянин поднял себя из ямы невежества, как барон Мюнхгаузен, – писал мужчина Усков с тонким и нервным лицом кокаиниста.

– Если бы все быдло в Рашке было таким, как Тудор, мы бы жили как в Европе, – писал он.

– И я обязательно напишу об этом исторический детектив, ведь я занимался историей до того, как заняться кокаи... пардон, журналистикой, – писал он.

СМИ рассыпались в похвалах Тудору. Особенно усердствовали итальянские. Стелла даже узнала о том, как Тудор выкрутился из создавшейся ситуации, и написала письмо с требованием алиментов. «Нас ведь многое связывает», – писала она... Когда Тудор не ответил, она стала давать интервью за деньги. Даже попробовала написать книгу «Как преодолеть боль». Но дальше названия не пошло: написать книгу, оказывается, было такой же работой, как вымыть три тонны посуды...

Тудору все это было безразлично. На самом деле, думал он, эти кретины из газет ничего не понимают. У него и в мыслях не было становиться специалистом по истории древнего Египта.

Тудор просто СТАЛ древним египтянином.

Он жил как древний египтянин, ел как древний египтянин и молился как древний египтянин. Он даже одевался как древний египтянин, что списывали на экстравагантность ученого. А на самом же деле Тудор собрался стать древним египтянином, потому что он знал: если ты древний египтянин, то твои дети – древние египтяне.

Следовательно, думал Тудор под аккомпанемент стонов Петри – получавшего уже вдоволь морфия за счет студентов из-за рубежа, – мой сын уже древний египтянин. Тудор даже предполагал, какой именно.

Он знал, что был такой фараон Аменхотеп, и он покусился на религию предков, снес все храмы и ввел культ единого бога. Но после смерти Аменхотепа его тело сожгли, память прокляли, а имена его стерли. И за этот грех Аменхотепа и расплачивается его очередное воплощение на Земле, сын молдавского тракториста, мальчик Петря. Но чаша искупления преисполнена страданиями, – черкал в блокноте иероглифами египтолог Тудор, – и его сын будет жить, и не умрет.

И, согласно религии древних египтян, он будет жить вечно.

Ведь смерть в Древнем Египте была не чем иным, как путешествием в другой мир. Причем пирамиды здесь были не при чем... Это в поздний период фараонов стали хоронить в пирамидах, знал Тудор. А в самом начале Египта – когда система еще не прогнила и вера была истинной, а не фокусами с крокодилами и шакалами, – египтяне знал НЕЧТО. И согласно этому нечто они проводили последний обряд.

Фараонов пускали в этот путь на ладье, которая плыла по Нилу до тех пор, пока не скрывалась из вида жителей Египта. Что с ней было дальше, не знал никто. А Тудор знал. Ладья с телом Фараона выплывала в море – обросшая ракушками, с водорослями на бортах, – и плыла в страну Хуш. Для посторонних египтяне представляли ее современной Эфиопией. Но на деле, знал Тудор, переведший трактат об этом погребении, Хуш был страной, где встают мертвые. И страна эта лежит в конце каждой реки, главное, соблюсти правильность обряда.

И Тудор собирался это сделать.

...Тут Тудора отвлекли, потому что к нему приехал в гости какой-то кишиневский самозванец, который во дворе дома униженно ждал приема, простершись ниц. Самозванец представился «тоже археологом», директором «высшей антропологической школы» Кишинева, «мариком ткачуком».

– Я, конечно, давно уже отошел от науки и занимаюсь коррупцией в органах государственной власти, – сказал он.

– Но в душе я все равно чувствую себя научным работником! – сказал он.

– Так чего тебе от меня нужно, раб? – спросил нетерпеливо Тудор.

– Хотелось бы стать таким же известным ученым, как вы, – сказал самозванец, – но есть одна проблема.

– Вы одеваетесь как древний египтянин и изучаете Древний Египет, а за меня написали диссертацию по теме «ассенизация в средневековой Европе», – сказал он.

– А что, в Европе средних веков была ассенизация? – удивился Тудор.

– Нет, но не в этом дело, – сказал нетерпеливо самозванец.

– Что же мне теперь, как ассенизатору в средневековой Европе одеться? – сказал он.

– Я подумаю над твоей бедой, презренное говнище, – сказал Тудор спокойно.

Самозванец, счастливый, отполз. Тудор иначе и не разговаривал с посетителями и учениками, потому что воссоздавал для них аутентичную обстановку Древнего Египта. Тудор задумался. Ученики, галдевшие у ворот, смолкли. Тудору показалось, что он слышит какой-то слабый звук. Прислушался еще. Так и есть.

Из дома доносился слабый стон Петри.

***

За два часа до рассвета Тудор принес жертвы богам.

Люто косил красным глазом Сет, благосклонно кивал нахохлившийся Ра... Плясали в золотых цепях огоньки светильников.

– Сын мой, сейчас твое тело перестанет болеть, – сказал Тудор.
– Скорей бы, папа, – сказал мальчишка.

Тудор с любовью и жалостью оглядел его окровавленное тело – гноящееся мясо снималось уже кусками – и поцеловал сыну руку. Потом поставил укол, еще один, и еще. На восьмом уколе с Петрей случилось то, чего не было ни разу за всю его несчастную жизнь гноящегося жалкого комка. Он уснул по-настоящему, без взвизгиваний и поскуливаний. Лицо его стало спокойным, пропали гримасы. Словно маска стало лицо Петри. Только тогда отец понял, что его сын был симпатичным мальчишкой. Отец полюбовался еще немного на профиль спящего сына, посидел рядом чуть-чуть...

После этого древний египтянин Тудор поставил сыну еще пять уколов.

Подождал пару минут и поймал последний вздох мальчика на зеркало, которое немедленно завернул в золотую фольгу.

Дальнейшее представляло собой дело техники.

Тудор выпотрошил тело, хорошенько смазал его благовониями – по ускоренному обряду – и обмотал в тонкую золотую фольгу слоями. Скользкие от крови внутренности Тудор положил к ногам богов. Спустя два часа мумия была готова. Тудор положил на лицо сына прекрасную золотую маску фараона и вышел из дома со свертком на руках. Студенты еще спали, так что Тудору не составило никакого труда зарезать пятерых из них – мальчику в новой жизни понадобятся рабы – и оттащить к реке.

Там, покачиваясь в волнах течения, уже стоял прекрасный белоснежный корабль из папируса.

Студенты делали его сами, наивно полагая, что создают модель для путешествия через Атлантику, ну, что-то вроде «Кон-Тики».

– Контики, контики... – бормотал Тудор.

– А вот вам хуики, – бормотал Тудор, осторожно положив тело сына в саркофаг.

После чего попробовал понять, что не так. Потом понял. Тишина. Не было стонов мальчишки, которые Тудор слушал восемь лет. Он знал, что стоны вернутся, но это будут лишь привидения.

Так что Тудор был спокоен, дожидаясь рассвета.

Он с улыбкой смотрел на мир: на суету в студенческом лагере, на несущийся на всей скорости полицейский автомобиль, а за ним еще один, и еще... Он с улыбкой смотрел на воды реки. Великой реки. Мать-река, отец-река... Сейчас узкий и стремительный Прут стал широким и величавым Нилом, знал Тудор. Тем Нилом, который унесет в страну Хуш его маленького фараона, и там он – фараон – встанет, отряхнет с себя гнойные бинты и воссияет в блеске и славе своих молодости, силы, счастья и красоты.

Там я буду рабом у твоих ног, мой фараон, – сказал Тудор.

Тудор верил в это и знал это, отвязывая и поджигая лодку, и глядя на то, как она сначала медленно – а потом все быстрее – разгорается и плывет. К Тудору уже бежали люди с кольями и наручниками, но ему это было безразлично. Ведь он знал, что рано или поздно умрет, а когда проснется, то будет в стране Хуш. Той, где цапли стоят на берегах Нила, счастливые ловцы рыбы машут сетями с лодок, и веселые пьяные боги ласково гладят по головам черноволосых мальчи-

ков... В стране, где Тудор будет служить маленькому фараону Петре. Рассвет новой жизни, думал почему-то Тудор, когда его валили на землю, рассвет новой жиз... Уже со скрученными руками, за минуту до того, как на него обрушилась первая жердь, он сумел вывернуться и впиться взглядом в течение великой реки Нил.

... в тот момент, когда господин Ра позолотил своим касанием воды реки, лодка с телом сына скрылась с глаз Тудора навсегда.

ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ

«Придумали себе какой-то честный капитализм, в котором и волки будут сыты, и овцы целы. Не бывает капитализм честным, это неконтролируемая программа по уничтожению человечества».

О. Лукошин, «Капитализм»

– Кнопки клепать – сплошь удовольствие! – сказал он.
– Да иди ты? – сказал я.
– Ей богу, – сказал он.
– Берешь половинку кнопки левой рукой, другую половинку правой, – сказал он.
– Ах, вот как это делается! – сказал я.
– А как же! – сказал он. – Но это еще не всё.
– Черт побери, я думал, это очень просто, – сказал я.
– Это просто, – сказал он. – Но дай мне закончить.
– Валяй, – сказал брат.

Мы, двое тринадцатилетних подростков, стояли перед каким-то станком. Он был похож на тиски. Станок стоял в подвале трехэтажного дома молдавского олигарха. Если в 1992 году в Молдавии человека называли олигархом, это значило, что у него был трехэтажный дом с нелегальным цехом по производству одежды или носков, автомобиль «девятка»» и черные очки, как у Сталлоне в фильме «Кобра».

Кстати, об очках. Я мечтал о таких. А еще о спортивном костюме, как у рэперов, хотя слушал Баха и Битлз, – но это значения не имело, потому что другой одежды тогда попросту не существовало, – и мне пора было новое подводное ружье купить вместо старого. Брату, будущему компьютерному гению этакому, не терпелось купить себе первый компьютер. Кажется, назывались такие «Синтез». Или что-то в этом роде. Не знаю, плевать. Единственная техника, которая меня интересовала – ружья и печатные машинки. Еще он хотел приличный портфель.

– О'кей, парни, – сказал олигарх, показывая, как делать кнопку.

– В левой руке левая половинка, в правой правая, а теперь суем их под пресс и сжимаем его, – взяв в левую руку левую половинку, в правую – правую, и сунув их под пресс, и надавив его подбородком, сказал он.

– Бац, кнопка готова! – торжествующе сказал он.
– Замечательно, – сказал всегда вежливый брат.
– Но есть одна проблема, – он был и наблюдателен.
– Как вы вставите эту целую кнопку в рубашку?
– А, совсем забыл, – сказал наш новый босс.

– Все это нужно проделывать, держа между половинками то место рубашки, где должна появиться кнопка, – добавил он.

– Задача все усложняется и усложняется, – сказал я.

– Ну, как? – вкрадчиво спросил он. – Будете работать?

– Это не слишком тяжело? – я с детства беспокоился, как бы не надорваться.

– Нам хорошо заплатят? – с детства беспокоился об оплате брат.

– Нет, да, – ответил он нам обоим, правда, не совсем понятно, кому и что предназначалось.

Но выбора, в общем, не было. Деньги нам нужны были в любом случае. Мы торчали в Кишиневе одни, в стране сменили валюту, и наши двести рублей теперь никому и на хер не были нужны. А родители застряли где-то между Северной Кондапогой и Южным Уралом. Нам попросту нечего было жрать. К тому же олигарх был нашим дальним родственником, а это исключало возможность обмана. Молдаване ведь совсем не как эти русские, – объяснила нам мать, – они родных не обманывают. Как же так, хотел сказать я, ведь я буквально с неделю назад стащил у тебя из кошелька рублей двадцать. Но благоразумно умолчал. Пузатый и одышливый, олигарх провел нас по дому. Везде было много ненужной позолоты, сирийских шоколадных конфет и маленьких упаковок сока. Это считалось шиком. Ну, а в спальне, где над супружеской кроватью – хи-хи – возвышалась стена из пустых пивных банок разных марок, а в нее глядела стена напротив из сигаретных пачек, мы вообще должны были онеметь и пасть ниц. Что мы и сделали.

– Невероятно богатый дом, – сказал я.

– Вот бы его ограбить, чтобы не работать ни хера, – сказал я.

– Будем честно трудиться, – сказал брат.

– Куплю себе компьютер, – сказал брат.

И мы приступили к работе.

***

Само собой, не было никаких контрактов, выходных пособий, больничных и тому подобной херни.

– Коммунисты звездоболы, – сказал наш олигарх, ласково глядя, как мы приступаем к работе, – столько звиздели про ужасы детского труда.

– А вот он, труд! – сказал он и поднял палец.

Детский труд. Вот херня. Да нам обоим уже было по тринадцать. Ладно. Мы сели в сраном цеху с окошечком на улицу, в которое были видны ботинки прохожих, и начали работать. Берешь кусок рубашки – редкостного дерьма из псевдо-велюра – и ставишь с обеих сторон половинки кнопки. Напарник сжимает тиски, и все. Сделай так пятнадцать раз, и на рубашке появляется ряд пуговиц. Звучит просто. Выглядит так же. Правда, пуговицы такие держатся не больше десяти дней, мы сами проверяли. Они разлетаются с вашей рубахи, когда вы к ней прикоснетесь, как сухой горох из стручка. Это были псевдо-рубашки.

– Коммунисты звездоболы, – сказал наш олигарх, – столько звиздели про свои ГОСТы.

– А вот они, ваши ГОСТы, – сказал он и хлопнул себя по мясистой сраке.

Кроме пяти таких вот цехов, у него были и десять торговых точек на рынке. Точки были сродни кочующим зенитным батареям, о которых мне рассказывал дед, командовавший такой в Корее.

– У тебя расчет и свобода передвижения, – объяснил он мне.

– И хрен тебя кто нанесет на карту, – сказал он.

– Потому что ты передвигаешься, – сказал он и умер спустя пять лет.

Торговые точки родственника-олигарха передвигались, как кочующие батареи. И вот почему.

Вы покупали рубашку, приходили домой, мерили ее, и две-три пуговицы у вас слетали моментально. Вы шли на рынок к тому месту, где купили рубашку, а там – бамц, никого. О'кей. Вы возвращались домой, носили рубашку пару дней, нещадно матеря тех, кто ее сделал, – очень приятно, давайте знакомиться, – и пуговицы слетали ВСЕ. Вы шли на рынок, но... И так далее.

Это была война кооператоров с покупателями, и покупатели терпели в ней свое первое жестокое поражение.

Носки носились два дня – и протирались не только на пятках, но и на щиколотках. Майки рвались при первой же примерке. Обувь расклеивалась при намеке на дождь. Копченую рыбу делали из протухшей селедки. Старые использованные советские гандоны находили на помойках, сушили, мыли – иногда мыли, а потом сушили, – складывали в новые яркие упаковки от западных гандонов и продавали как новые, по цене японских. В западных трахались сами кооператоры, и в западных постиранных и высушенных – они же. Шпроты делались из тюльки, которую работники вылавливали из городских озер, среди мусора и дерьма, эту тюльку солили, заливали крепким чаем, и варили со специями два дня. После этого она пахла, как шпроты. Этого было достаточно. Мир словно обезумел тогда. Творог был из пластмассы, одежда была из говна, все было левое, паленое, поддельное, фальшивое, ненастоящее. Гребанные звездоболы-коммунисты со своими ГОСТами и звиздежом про детский труд шли на хер.

У олигарха было две дочери. Конечно, они не работали. Младшая занималась гимнастикой, японским, английским и играла с десятью Барби. Старшая ела шоколадные сирийские конфеты, пила сок из пакетиков и изредка заходила к нам в комнату узнать, «не нужно ли чего».

Речь, разумеется, шла о шпионаже.

***

И в самом тылу этой войны сидели мы с братом, в нашем подвальчике, в нашем маленьком персональном окопе на двоих. И клепали кнопки. В первый же день к нам подсадили подставного. Это был молоденький парень в клевых джинсах, заправленной в них рубахе и с цепочкой на запястье. Так было модно.

– Я, пацаны, – сказал он, – зашиб за два месяца работы знаете сколько?
– Сколько? – спросил я.
– Сколько в среднем за час? – спросил брат.
– На два костюма, доску для скейта, четыре посиделки в ресторане с подружкой, часы «Сейко» и два ящика баночного пива! – сказал он.
– Охренеть, – сказали мы.
– Часы «Сейко»! – сказал брат.
– Два ящика баночного пива! – сказал я.
– Вот видите! – сказал он.

Мы заработали энергичнее. Он на следующий же день куда-то пропал. Само собой, этот звиздюк и дня не проработал, а подсадили его к нам, чтобы подстегнуть в работе. Пальцы-то у него были целые. Ах, я не говорил?

Ну, помимо того, что работа эта была очень простая, она была еще и крайне травматична. Когда я сказал, что мы с братом были в самом глубоком тылу в войне с покупателями, то солгал. Мы были примерно в центре. Еще глубже в тылу были какие-то китайские п.доболы, которые делали эти самые кнопки для этих самых гребанных костюмов. Само собой, кнопки были все вразнобой. Двух под размер не найти. Поэтому их приходилось – чтобы не раскрошить прессом – сначала подгонять пальцами. Кнопки подгонялись сложно. Пальцы кровоточили. Держать расходящиеся половинки на куске ткани приходилось очень крепко, даже в момент нажатия пресса.

Случалось, пресс срывал кусочек кожи. Ну и так далее. В результате нас попросили надевать на руки целлофановые кульки. Ну, чтобы кровью не пачкать ткань, а то продавцы – ребята на передовой – уже затрахались объяснять, что это расцветка такая.

В подвале, конечно, не было вентиляции. К обеду мы уже задыхались и раздевались по пояс. К вечеру работали в шортах. Все было добровольным, но нормы как-то странно сдвигались в сторону увеличения. Поэтому рабочий день длился по двенадцать часов. Гребанные коммунисты с их звездежом про детский труд шли на хер. Каждый день к обеду я, как самый малодушный в семье, говорил брату:

– Все, уматываем, хватит с меня этой херни.
– Еще немного, – говорил брат терпеливо.
– Блядь, нет сил больше, – говорил я.
– Компьютер, – напоминал брат, – подводное ружье.
– Хер с ними, – говорил я.
– Еда, – напоминал он.

Приходилось оставаться. К обеду заходил родственник-олигарх и рассказывал пару анекдотов про ОБХСС и КГБ. Он находил их – анекдоты, а не организации, – очень смешными. Называл нас своими «племяшами» – только много лет спустя я понял, что он имел в виду, а тогда думал, что это какое-то нежное молдавское слово, – и трепал по головам. Говорил, что мог бы дать нам денег просто так, – ведь мы его любимые родственники, – но безделье и легкие деньги развращают! Это верно, соглашались мы, и он уматывал.

Один раз он пришел в жопу пьяным и долго рассуждал о том, как много пьют русские.

– Мы, молдаване, пьем стаканчик вина и танцуем, – сказал он, – а эти ублюдки жрут водку, а потом рыгают.

Само собой, прозвучало это не так.

– Мэээыээээ пэыыыэ стаэээыыгээээ вээиииааа иэээ таэээнцээээм, – сказал он, – а эээ убуэээии жуууэээт вооооуэээ а паааааом рыыыыы, буэээ!

Потом его вырвало на костюмы, лежавшие горой в углу, и он уснул. Конечно, стирать мы ничего не стали. Просто просушили ткань и наклепали на нее пуговицы. Ее потом продали, как «костюмы британских войск, украденные со склада, поэтому и разводы, это для Бури в Пустыне, вы че, не понимаете ничего?!».

Еще он попросил меня позаниматься с его младшей дочкой английским. Даром.

– Ты же у нас читающий интеллигент, малыш – сказал он, сверкнув глазами.

Много позже я понял, что это была ненависть.

***

Через три недели этого ада мы, двое крепких парней-спортсменов, превратились в какое-то подобие развалин. У нас были синяки под глазами, мы не могли разогнуться, в боку что-то кололо, руки дрожали, а в глазах троилось. Нехреновые выдались каникулы.

– Нехреновые у нас каникулы, – сказал я брату.
– Но я, кажется, пас, – сказал я.
– Еще неделя всего, – сказал брат.
– Сколько мы там заработали? – спросил я его.
– На всё почти, что собирались купить, – ответил брат.

– Ладно, – сказал я, – еще неделя, и всё.

Мы встали, кое-как оделись и поехали на работу. Было шесть утра. Июнь. Контролерша смотрела на нас, как на притырков. Да мы ими, наверное, и были. Мы приехали, зашли в подвальчик и сели клепать кнопки.

Кровь из пальцев начала сочиться к девяти утра.

Потекла к десяти. Куски кожи посыпались к обеду.

Кости пальцев показались к трем часам дня. Спину заломило к пяти.

Закончили мы к десяти вечера, потому что нам снова увеличили выработку. При этом наш босс умудрялся каждый раз сказать нам об этом так, что виноватыми чувствовали себя почему-то мы. В десять мы, не разогнувшись, поехали домой, и в одиннадцать бросились на матрацы – мебели у нас никакой не было, – чтобы тревожно поспать до пяти утра. И снова работать. Судя по всему, думал я, на хрен пошли не только гребанные коммунисты, их ГОСТы и ОБХСС.

Весь гребанный мир шел на хер.

***

К концу месяца мы получили расчет.

По два доллара на каждого.

– Что это? – спросил я.
– Деньги, – смущаясь, ответил босс.
– Вот ЭТО деньги? – спросил я.
– Ты что, охерел? – спросил всегда вежливый брат.
– Свирепые – неодобрительно сказал он и добавил, – в отца...

Отец был русский, это его пугало и смущало. Отца он побаивался. Но отец был далеко. Барахтался где-то в снегу между Колымой и Восточным Уренгоем, или как там эти дыры зовутся.

– Конец тебе, – сказал я.

Ему было лет сорок, а нам по тринадцать, но это ничего не значило. Работенка на пуговках нас обессилела, но он был жирный тюфяк и звездобол, а мы – два крепких спортсмена. К тому же брат, любивший некоторые эффекты, взялся за столик. Босс понял, что нужно что-то делать.

– Ну, ребята, – смущаясь, сказал он, – давайте все посчитаем...

Мы сели с ним на диван, взяли по чашечке кофе, он достал калькулятор, какую-то бумажку, ручку и начал шаманить. Мы слышали слова «отрез, партия, поштучно, калькуляция, налоги, фактчекинг, ОБХСС» и еще много чего. Ручка мелькала. Бумажка мельтешила. Часы делились на деньги, умножались на километры. Подсчеты вводили в транс. Получалось, что мы еще неплохо заработали, ведь мы вполне могли остаться ему должны! Разумеется, он нас обманывал.

Но тогда, – когда вся страна смотрела передачу «Час фермера» с ведущей Максимовой и истово верила, что можно стать миллионером, сколотив клетку для кроликов и разводя их в ванной, или начав с будки с пирожками, – о, тогда все мы истово верили в Рыночные Отношения.

Правда, по ним получалась какая-то херня.

– Блядь, – сказал я в затруднении. – Получается какая-то херня.
– А вы как думаете, – сказал он, приобняв нас за плечи.
– Рынок только в стадии становления, – сказал он.
– Но я вас премирую, чтобы вы не думали, что вас накалывают, детки, – сказал он.

– Хотя мы вас не обманываем, – сказал он почему-то «мы», хотя был один.
– Пошли, – сказал он.

Мы пошли за ним по лабиринту цехов и наткнулись на тот, где делали носки. Это было ужасно. Чан с чем-то дымящимся, кипяток, пар. В дыму мы еле нашли двух каких-то кретинов лет одиннадцати.

– Внучатые племяши сводной сестры, – приобняв салаг за плечи, сказал босс.
– Любимые! – сказал он.

Я подумал, что примерно то же самое он говорил о нас, когда забредал с кем-то в наш цех, но промолчал. Ребята выглядели ОЧЕНЬ плохо. А у того, что поменьше, левая рука была забинтована. Он поймал взгляд и сказал:

– Кипяток.
– Ерунда, братик попысает, и все пройдет! – ласково сказал босс.
– Нас так бабуля лечила, – сказал он ласково.

Схватил из угла пачку носков, и стремительно вынес нас и их из помещения.

– Это вам! – сказал он торжественно.
– Ну а сейчас пока, – сказал он.
– Не опоздайте завтра на работу, – сказал он на прощание.
– Норма-то увеличилась, – грустно добавил он.

Домой мы ехали молча. Я поймал вопросительный взгляд брата.

– Ладно, – сказал я, – хер с ним, с ружьем, да и очки мне не очень нужны.
– Но нужен же тебе компьютер, – сказал я.
– Хер с ним, с компьютером, – сказал брат. – Но нужно же тебе ружье.
– И все же, – сказал я, – почему ТАК мало?
– Наверное, плохо работали, – сказал брат.

Я глянул на наши пальцы и покачал головой.

На следующий день мы вышли на работу.

Мы были очень упрямы.

***

Вопреки нашим ожиданиям, легче работать не стало.

Ну, знаете, все эти пословицы и поговорки про то, что сначала работа гнет спину тебе, а потом ты гнешь спину работе. Все это херня. И тело не привыкало. Спина болела еще больше, пальцы кровоточили еще больше, в глазах плясало ЕЩЕ больше. С выработкой происходила полная херня. Чем больше ты работал, тем меньше зарабатывал. Нормы увеличивались, станки ломались – за них, конечно же, вычитали – кнопки разлетались, покупатели проклинали, мир дрожал. Но босс был доволен. Зато гребанные коммунисты и их гребанный СССР, где запрещали работать детям, пошли на хер.

Через несколько дней к нам зашел наш босс, – продававший нам свои сраные протухшие обеды по цене ресторанных, о чем мы узнали только в день расчета, – и как раз занес поесть. Мы стали обедать прямо на горах кнопок и ткани. Не было сил выйти на улицу.

– Любчики, – сказал он, – как насчет того, чтобы еще и гладить костюмы?
– Ой вей, – сказал я, – а шо такое? Гладильщик помер?

Он состроил обиженную гримасу. Одна из отличительных его черт была в мимикрии под еврея. Причем еврея карикатурного. Он сыпал словечками «шо, я имею сказать за, ой вей, таки да, любчики, Моня, за Одессу», одевался, как карикатурный еврей с гитлеровского плаката, звиздел про свою любовь к фаршированной рыбе и «уважал Израиль». Самое удивительное же состояло в том, что в нем не было ни капли еврейской крови.

То есть, блядь, он не был евреем.

У нас работал один парень, погибавший у него на юбках, – их красили в чанах в подвале краской для пасхальных яиц, работа была адская, – который был Действительно еврей. Как-то я вышел из цеха и пошел к нему. Еврей-красильщик сидел у чана с какой-то бурой херней и грустно глядел, как она булькает.

– Какого хера он себя так ведет? – спросил я еврея.
– Кто? – спросил он.
– Наш босс, – сказал я. – Он что, еврей?
– Откуда мне знать? – сказал он. – Это же ТЫ его родственник.
– У нас блядь ни одного еврея нет в семье, – сказал я, – иначе все бы уже давно свалили в Израиль.
– Вся блядь моя семья, – сказал я. – Они И ТАК ушлее и хитрее всего мира. Если бы блядь они еще и евреи были, это же был бы полный конец всему миру.
– Ясно, – сказал он.
– Настоящие евреи что, все так себя ведут? – спросил я его.
– Как? – спросил он.
– Ой, вей, фаршмак, тырыпыры, Моня-шмоня, я имею сказать за то шо, – перечислил я.
– Нет, конечно, – засмеялся он.
– Он меня уже затрахал этими карикатурными заскоками под Бабеля, – сказал я.
– Под кого? – спросил еврей-красильщик.
– Бабеля, – сказал я.
– Что за хрен? – спросил красильщик.
– Писатель, еврей, – сказал я.
– Я не читаю книг, некогда, – сказал он и продолжил месить одежды в чане, как большой грустный носатый енот.

Говорю же, это был нормальный парень. Потом он, кстати, чудом вырвался и уехал. Я от всей души надеюсь, что его не прихлопнули эти притыркнутые сирийцы, или с кем они там постоянно воюют. Хотя надежды мало. Хорошие парни всегда попадают под самую раздачу. Я похлопал его по плечу и вернулся в свой цех. Само собой, мы взяли на себя и глажку одежды. От этого в цеху повис пар, и мы перекрикивались друг с другом, как гребанные альпинисты-спасатели в тумане где-то в Альпах.

– Работа у вас загляденье, – сказал босс, – и работа, и паровая баня.

Он не шутил.

***

К исходу второго месяца мы получили расчет. По десять долларов. В свой единственный выходной в то лето я поехал на рынок и купил на все деньги портфель. Когда приехал с ним домой, брата не было. Я положил портфель на его матрац и прикрыл наволочкой от подушки. Лег, и только тогда заметил, что рядом с моим матрацем лежали очки.

Как у Сталлоне в «Кобре».

***

– Любчики, – сказал босс, – я имею вам сказать за шкаф.

– Что? – спросил я, не видя его из-за пара.

– Шкаф, – крикнул он. – У вас нет мебели.

– Да, – крикнули мы.

– Мой друг таки Моня с улицы Ботанической-Агрономической едет в Канаду, у него там серьезный автомобильный бизнес, – крикнул он, – и оставил свои шкафы мне, ему-то не нужны, отдал даром, лишь бы вывез.

– Замечательные шкафы, ОХЕРЕННЫЕ! – сказал он.

– Высший класс, качество супер, – сказал он, – но я отдаю их вам.

– Спасибо! – растрогались мы.

– Берите, лишь бы забрали, – сказал он.

– Спасибо! – растрогались мы УЖАСНО.

– Они с антресолями, – гордо сказал он.

– Любимые любчики, племяши, – сказал он, обращаясь к какому-то херу с папкой, видимо, из налоговой полиции, – дети двоюродной сестры.

– Работают за деньги? – спросил хер с папкой.

– Нет, шо вы такое говорите, – сказал босс. – Говорю же, племяши. Помогают по хозяйству.

– Личному, домашнему хозяйству, – сказал он.

– Все для себя, для большой семьи, а не на продажу, – закончил он.

– Ни хера себе у вас хозяйство, – сказал хрен с папкой.

– Крутимся, – сказал босс.

На следующий день мы поехали к Моне, у которого в Канаде было старенькое такси, и забрали два ужасно старых, калеченных, испещренных сигаретными ожогами шкафа без доброй половины ножек.

И, конечно, антресолей на них не было.

***

В конце августа мы пришли за окончательным расчетом.

– Племяши, – сказал он торжественно, – сядем.

Мы сели, и он начал считать. Выходило по пять долларов. Это был полный крах. О'кей. Я сказал:

– Ну что же, хоть по пять.

– Компьютер, – сказал брат и рассмеялся.

– Ну, хоть по пять, – повторил он за мной, и мы на босса уставились выжидающе.

– Ребята, – сказал он виновато, – тут еще момент...

– Какой? – спросил я.

– Ну, вы же купили у меня шкаф, – сказал он.

Мы даже и не удивились.

– Ладно, – сказал я. – А можно мы еще и в сентябре поработаем?

– Конечно, – обрадовался он, – ведь за шкаф вы еще мне немножко должны...

– Ну, а школа? – встрепенулся он.

– Да хер с ней, со школой, – сказал я.

– На хер нужно это сраное образование? – спросил я. – Одни беды от него. Все равно в рынке главное Хватка и Опыт, так?

– Так, – сказал он.

– Ну вот, мы у вас уму-разуму и поучимся, – сказал я.
– Я пас, – сказал брат, который всегда был отличником.
– Ладно, – сказал босс.

– Ты что, трахнулся? – спросил меня брат в троллейбусе.
– Еще месяц этой херни за счет школы? Тебе так нравятся эти кнопки чертовы? – спросил он.
– Мне не нравится школа, – честно сказал я.
– Там хотя бы можно ничего не делать, – сказал брат.
– Ладно, – сказал я, – а вдруг получится заработать?
– Сумасшедший, – сказал брат.

***

В киоске на рынке меня ввели в курс дела.

– Значит так, – сказал босс. – Вот носки, вот майки, вот рубашки, вот колготы.
– Ценники на все прикреплены, не вздумай ставить свою цену, – сказал он, – у меня знакомые ходят, проверяют продавцов.
– Да вы что, – сказал я, прикидывая, как обмануть проверяющих.
– Я людей знаю, – сказал он убежденно, – все люди жулики, и ты такой же.
– Верно, – сказал я.
– Главное, контроль, – сказал он.
– Думаешь, я не знаю, почему ты напросился работать? – спросил он.
– Решил, что я мало вам заплатил за кнопки, и намерен кинуть меня на розничной торговле, – сказал он.
– А я все равно тебя беру, а почему? – спросил он и сам ответил. – А у меня контроль. Так что работай, все равно лишнего не получишь.

– Какие проблемы, – сказал я и добавил искренне, – мне бы вашей сметке научиться.
– Умению кидать, – пошел ва-банк я.
– Ты не дурак, – сказал он. – Тогда откровенность.
– Что урвешь тайком, твое, – дал он мне первый урок. – Но урвать получится мало и не сразу. И, чур, не попадаться. Закон торговли.
– И на хер ОБХСС, – сказал я.
– Верно, любчик, – сказал он.

И ушел. Я оглянулся. Маленький, на три квадратных метра, железный киоск. В отличие от цеха, киоск не был адом. Киоск был переносным адом. Летом он раскалялся до плюс 40, зимой леденел. Обогревать его нельзя было. Проветривать – тоже. Повернуться можно было с огромным трудом. Меня поставили торговать колготами, рубахами и носками. Лучше всего шли носки. Поэтому с носков я никакого процента не получал. О'кей. Я закурил и начал торговать. Торговал честно всю неделю, все пятнадцать часов, что надо было сидеть в киоске.

– Молодец, – сказал босс, – приучаешь контролеров к тому, что ценники не перевернуты...

На обратной стороне ценника продавец ставил свою цену, выше обычной. Если удавалось побыстрому продать рубашку не за 10 баксов, а за 12, два бакса шли в карман тебе. Но горе тем, кого ловили со своими ценниками. Босс думал, что я приучаю контролеров к тому, что у меня все честно, и жду прекращения проверок. А потом наторгуюсь со своей наценкой всласть. Так он думал.

Но мой план был куда проще и элегантней.

В конце недели я просто взял всю наторгованную кассу – долларов пятьсот, – закрыл киоск и выбросил ключ. Бояться было нечего. Разумеется, меня не оформили на работу, меня там, попро-

сту, не было, в этом киоске сраном. Претензии предъявлять было не к кому. А выбивать деньги силой этому говну духу бы не хватило. Ведь это был кооператор, а не бандит.

Я подумал об этом, ухмыльнулся, и ушел с рынка навсегда.

Поехал домой, принял ванную, оделся понаряднее и нацепил на себя свои замечательные темные очки. Оставил половину денег на столе.

Телефон зазвонил.

– Любчик, – сказал босс, – там какая-то недостача, мы волну...
– Ужасно, – сказал я, – но, боюсь, ничем не смогу помочь, ключ я потерял, на работу больше не выйду, а то в школе ругать будут и в угол поставят.
– А деньги я оставил все, как были, – сказал я.
– А гребанные проверки и ОБХСС идут на хер, – сказал я и спросил: – что-то еще?
– Любчик, – помолчав, сказал он, – когда вырастешь, бери меня в долю, не забывай двоюродного дядю.

Это был единственный раз, когда я почувствовал в нем что-то человеческое. Я повесил трубку и вышел из квартиры. Оставалось решить, на что потратить эту невероятную сумму. Мебель? В жопу мебель! Она у нас была. Хоть и потрепанная. Я не спеша шел к парку, и увидел большой ларек с зарешеченным окошком. Так тогда продавали все.

– Что это у вас там в углу? – спросил я продавца.
– Баночное пиво, – сказал он, не оборачиваясь. – Импортное, дорогое, мальчик...
– Весь ящик, – сказал я.
– И три бутылки шампанского, – сказал я. – И пачку «Кэмел».

Он обернулся и, постояв с минуту, молча принес мне пиво, сигареты и вино. Я заплатил и оставил еще чуть-чуть.

– Это что? – спросил он.
– Это на чай, – сказал я.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Тринадцать, – сказал я и открыл одну банку прямо у киоска, и пиво буквально меня оживило.
– Тринадцатилетний пацан берет спиртного на десять баксов, да еще и оставляет мне на чай! – сказал он.
– Теперь-то я верю, что у Рынка и капиталистических отношений есть будущее, – сказал он.
– А как же, – сказал я.
– Можно позвонить? – спросил я.
– Два лея, – сказал он.

Я дал ему десять и жестом попросил не беспокоиться насчет сдачи. Набрал на дисковом телефоне номер одноклассницы. Мы не очень тесно общались. Даже не знаю, почему ей.

– Тоня, – сказал я, – привет.
– Привет, – сказала она.
– Хочешь посидеть в парке? – спросил я. – У меня ящик пива, «Кэмел» и шампанское.
– А еще мы можем покататься на аттракционах, – сказал я.
– А домой я тебя отвезу на такси, – сказал я.
– Ну-у-у, – сказала она.
– Пиво импортное, – сказал я.
– Хол-сте-н, – неуверенно сказал я, прочитав незнакомую надпись над каким-то долбое.ом в рыцарских доспехах.

– Жду тебя у колеса обозрения, – сказал я и повесил трубку.

Было очень легко. Я почувствовал – алкоголь это то, что надо.

Оставил банку пива продавцу, рассовал оставшиеся по карманам, взял бутылки и пошел в парк. У аттракционов по верхушкам деревьев скакали, словно большие электрические блохи, лампочки гирлянд. Я открыл еще пива и подумал, что оно быстро заканчивается. И что к ларьку придется вернуться не раз.

Вечер только начинался.

И КИТ ИМ НЕ РЫБА!

– Хвойные деревья, произраставшие на нашей планете 900 миллионов лет назад, представляли собой густые папоротники, усеянные семенами, благодаря которым эти папоротники и размножились, став самым распространен...

– Ту-ту-ту-тук...

– Но на самом же деле папоротники были вовсе не деревьями, а растениями совсем другого класса, просто из-за благоприятных климатических условий они смогли по своим размерам приблизиться к нынешним дере...

– Ту-ту-ту-тук...

– Также ученые считают, что теория о периодических катастрофах, после которых исчезало до 90 процентов видов на Земле, нуждается в дополнениях и уточнениях, поскольку наша пла...

– Ту-ту-ту-тук...

– Самое сильное потрясение, которое испытала на себе живая природа нашей планеты, произошло 12 миллионов лет назад, и это время, которое известно ученым как мез...

– Ту-ту-ту-тук....

– Знаешь, почему в Австралии аборигены разрисовывают тела белой глиной? Дело в том, что они таким образом показывают свое отношение к бож...

– Ту-ту-ту-тук...

– Почему вулканы, извергаясь, «плюются лавой»? Это происходит из-за того, что под земной корой находится более горячая субстанция, которую ученые называют магмой, и она под давлением и показывается нам. Когда вулкан извер...

– Ту-ту-ту-тук...

Петрика, проснувшийся из-за настойчивого бормотания соседа, не в ритм наложившегося на стук колес, сглотнул и поморщился. Как всегда, если выпьешь днем стаканчик вина и уснешь, а потом резко проснешься, болела голова. Шея затекла... К тому же этот очкарик...

Петрика выразительно глянул на соседа по верхней полке, но тот, счастливчик, еще спал. Соседом по купе у Петрики был Толик, крестный жены. Отличный парень, весельчак и душа общества. Петрика вспомнил, как здорово и смешно Толик довел до слез стюардессу молдавских авиалиний в прошлом году, когда им повезло заработать в Москве на стройке по 600 долларов, так что обратно и полететь можно было. Всю дорогу Толик шутил, смеялся, веселился, приставал к соседям, звонил жене на мобильный во время взлета и посадки, звал стюардессу «Танюшей», хоть у ней на груди и была табличка с надписью «Наташа»... Эта Таня, ну, которая Наташа, рыдала потом на плече какого-то мудака в кителе, и тот все порывался набить Толику морду, но молдаване не такой народ, чтобы дать в обиду своего. Так что пришлось этому летуну долбанному поорать да успокоиться. Толик вообще был юморист. Это Толик поджег на колядки собаку соседа и чуть все село не подожгла, отчего друзья хохотали до слез. Это Толик столкнул в яму с говном деревенского дурачка Рому Кройтора, и тот чуть не захлебнулся, а Толик назвал это «испить чашу до

дна». Это Толик надоумил потом дурачка одеть платок бабы Иляны и накрасить губы, а сам снял его на мобилу и скинул в «Ютуб». Это Толик...

Петрика улыбнулся. Только молдаване умеют так веселиться, подумал он, и с огорчением подумал еще, что если бы к ним в купе не подселили этого очкарика с ребенком, то поездка была бы прекрасна. Но очкарик с ребенком были здесь... И поездка грозила быть испорченной. Начать с того, что очкарик, ввалившись в купе под Тирасполем, стал морщиться и демонстративно открывать окно. А ведь они с Толиком ничего такого не делали, просто покурили на дорожку, закрывшись. Затем очкарик, почему-то, заказал у этого проводника долбанного два комплекта постельного белья, чем поставил Толика и Петрику в неудобное положение. Ведь тем самым очкарик подчеркнул их нежелание брать постельное белье, а почему они должны его брать, если в этом поезде «Санкт-Петербург–Молдова» комплект постельного белья стоит 34 рублей, в то время, как в поезде «Молдова–Санкт-Петербург» такое же белье стоит 27 рублей. А все потому, что поезд русский. Долбанные русские!

– Да, но в молдавском поезде вам за семь рублей дешевле подсунут простыню, у которой в ногах большущая дыра, – попробовал развести ребят на деньги русский проводник.

– Глупый ты человек, – ответил мрачно Толик, – что с того, если я переверну эту простыню, и дыры под моими ногами не будет.

– Но тогда она окажется под твоей головой...

– Но тогда она не будет мне видна, – резонно возразил Толик.

На это проводнику нечего было сказать. Пробурчав что-то про жадность, дикарей и прочую оскорбительную чепуху, он убрался в соседнее купе. Судя по довольному виду, с которым он из купе вылетел, там были не такие умные, как Толик с Петрикой, люди. Так и оказалось. Проводник занес в купе четыре комплекта постельного белья, чайник, два стакана и еще печенья. Все это стоило денег, и сразу стало понятно, что в поезде, кроме Петрики и Толика, больше гастарбайтеров нет.

Правда, до границы с Приднестровьем ситуация изменилась: на деревенских полустанках поезд постепенно заполнялся, и Петрика, с облегчением вдыхая воздух, пропахший кислой овчиной, жареной рыбой, чесноком и потом, понял, что нашего полку прибыло. Парень даже начал строить несмелые планы на то, что им в купе подсадят двух нормальных мужиков, и они скоротают время до Москвы за каким-нибудь достойным занятием. Ну, например, партией в белот. Но не тут-то было! В купе зашел этот мудила с щенком лет пяти – проветрил все, хоть его об этом и не просили, – и, что самое отвратительно, начал читать. Петрика глянул на часы, чувствуя слабость и головную боль. Семь вечера. Значит, он читает уже третий час... Петрика приподнялся на локте и с ненавистью поглядел вниз. Очкарик, с довольной физиономией, сидел на нижней полке, держа в руках зеленую книжку. Петрика, шевеля губами, прочитал три буквы сзади на обложке.

– А-С-Т... – тихо прошептал он.

– Ну до чего же тупые эти русские, – подумал он задумчиво, – ведь всему миру известно, что алфавит это АВС...

– Видимо, русские что-то напутали, – подумал Петрика.

– И тут не обошлось без их легендарного пьянства, – решил он.

Щенок смотрел на папашу с восхищением. Сразу видно, ничего хорошего пацан в своей жизни не видел. Тощенький, бледный. Сидит, руки по швам. Нормальный молдавский ребенок, – знал Петрика, взявший в прошлую свою поездку дочь, Настику, – давно бы уже половину поезда разнес. Щенок слушал внимательно, папаша бубнил, а Толик, к сожалению, спал, так что подшутить над ботаником было не с кем. Так что Петрика стал слушать. Постепенно он стал злиться. Ведь то, что было написано в этой долбанной книжке, было чушью чистейшей воды! Ну, например...

– Планета, созданная 4 миллиарда и 600 миллионов лет назад... – читал папаша.

– Да как же вы это блядь посчитали?! – бурчал Петрика.

– Крокодил, утянув добычу под воду, ждет, пока она разложится, и лишь потом приступает к трапезе, а не захлебнуться ему помогает специальная заслонка в горле, которая поз...

– Да всем же блядь известно, что крокодил рыба! – возмущенно думал Петрика. – Как он задохнется в воде-то, а?!

– Почему пчела никогда не теряет дороги в улей? – спрашивал папаша.

– Все дело в том, – читал он, едва Петрика собирался открыть рот и объяснить этому дураку городскому, почему, – что у нее есть природная система навигации, которая и дает пчеле возмож...

– Трутни – нужны они или нет? – говорил папаша.

– Да ка... – начинал бурчать Петрика.

– Оказывается, да! – говорил папаша несносную чушь. – Ведь именно благодаря трутням и происходит размножение пчелиного роя, что позволяет этим удивительным насекомым...

– Интересно, – мрачно думал Петрика, – кто-то из этих говорунов сраных, которые книжку писали, видел когда-нибудь пчел?

– А вот еще, сынок, – говорил обрадовано папаша, – интересное про китов. Хочешь?

– Да! – взвизгивал щенок, и Петрика от огорчения едва не сплевывал.

– Оказывается, – с важным видом, обхохочешься, поднимал палец ботаник, – кит это не рыба, а млекопитающее, которое происходит от таких же млекопитающих, как и мы, просто вернувшихся в воду и там утративших конечности, трансформировавшиеся в ласты...

– И кит им блядь не рыба, – качал головой возмущенный Петрика, от волнения вытащивший из пачки в штанах папироску.

Папаша глядел на штаны неодобрительно. Сами-то они с щенком переоделись, словно дурачки какие. Ну, какой смысл переодеваться в поезде, если в нем равно грязно, потому что здесь никто не переодевается?! Ну, чисто слово, дебилы!..

Петрика сунул в рот папироску, но поймав взгляд ботаника, передумал. Еще проводникам настучит. Русские проводники не то, что молдаване. С нашими можно иметь дело, подумал Петрика, вспомнив, как рассовывали наши проводники под полки коробки с абрикосами. Кстати, как они там, вспомнил Петрика, и полез на третью полку. К счастью, абрикосы были целые, сок не тек... Облегченно вздохнув, Петрика спустился на вторую полку.

– Кстати, об абрикосах, – сказал восторженно папаша-дебил своему щенку, – хочешь, почитаю тебе про них?

– Давай! – вякнул несносный мальчишка, от вида которого у Петрики уже голова болела.

– В косточке такого плода, как абрикос, содержится множество ядовитых веществ, – сказал папаша.

– Блядь, ну что за чушь?! – возмущенно подумал Петрика.

От нервов он решил перекусить, и осторожно обсасывал рыбную косточку, стараясь срыгивать в сторону, а не перед собой. Ну, чтоб самому не пахло. Родика нажарила чудесного толстолоба, только костлявого. Так что Петрика ел рыбу. Глянув вниз, он поймал презрительный и полный отвращения взгляд ботаника. Нет, со вздохом подумал Петрика, город есть город, село есть село. И вместе им не сойтись. Не поймет столичный горожанин, кишиневец вроде Петрики, вот такого вот очкастого сельчанина из Тирасполя. Доел рыбу, собрал косточки в ладонь, приоткрыл окно, ссыпал все туда, закрыл, вытер руки о матрас, потянулся к баклажке. Хлебнул.

– Хочешь? – спросил он ботаника из вежливости.

– Нет, спасибо, – конечно, отказался тот.

Петрика еще раз с сожалением глянул на Толика, но тот все спал да спал. Выпить было не с кем. Что же, оставалось поискать компанию.

– Так вот, абрикосы, – продолжил папаша срывающимся от негодования голосом.
– Хуекосы, – шепотом срифмовал Петрика, который решил развлечься.
– В косточке плода содержатся ядовитые вещества, напоминающие по своему составу цианистый калий...
– Хуялий...
– И достаточно десяти ядрышек орешков абрикосовой косточки...
– Хуесточки....
– Чтобы умер ребенок. И двадцати, чтобы умер взрослый...
– Хуеслый...
– Вот так, – сказал папаша сыну.
– Двадцать абрикосовых косточек, сынок, и взрослый погиб!
– Вот это да, – сказал щенок.

Петрика от негодования едва не подавился ногтем, которым чистил зубы. Ну что за хрень пишут в этих идиотских книгах, а?!

– Значит, – сказал он, негодуя и сев, – двадцать абрикосов убивают человека, по-твоему?
– Не по-моему, – сказал ботаник, – а по-ихнему.
– По чьихнему? – спросил в ярости Петрика.
– По академие-наук-хнему, одобрившему в печать издание «Мир живой природы для детей», издательство АСТ, – прочитал, издеваясь, очкарик.
– АБС, – в ярости сказал Петрика.
– Что? – не понял очкарик.
– А, – махнул рукой Петрика и, негодуя, вышел.
– Хуй на, – шепотом сказал очкарик.

Мальчишка захихикал.

***

Постепенно в вагоне стало хорошо. В нескольких купе пили вино. Во всех кушали жареную рыбу. Проводники носились между купе, но их всюду слали к чертовой матери, и это было еще не самое отдаленное место, куда их просили пойти. До русской таможни оставалось еще половина суток. Проснулся Толик, и Петрика раздавил с ним баклажку, рассказав про несусветную чушь, которую нес этот кретин по купе.

Толик только диву давался.

– Значит, двадцать абрикосов, и ты покойник?! – не верил своим ушам он.
– Точно тебе говорю! – злился Петрика.
– Ну бля ученые лещи бля копченые! – смеялся Толик.
– Говны копченые!!! – возмущался Петрика.

Дверь купе открылась, и мимо них с независимым видом прошел ботаник с сыном. Оба держали в руках... зубные щетки. Толик чуть с откидного стула не упал. Когда ботаник с сыном скрылись в туалете, Толик повернул свое лукавое лицо истинного бессарабца к Петрике и сказал:

– Культура...

После чего беззвучно рассмеялся.

Петрике стало легче. С Толиком все становилось ясным и понятным. Толик быстро соображал и был веселым. Он всегда разбирался, что к чему, и помогал разобраться в этом своим односельчанам. Толика на мякине не проведешь. Петрика был спокоен: если ботаника собрался высмеять Толик, то ботанику несдобровать. Никому не устоять против лукавой молдавской насмешки. Тем

более, какому-то говну очкастому из-под Тирасполя. Парни дернули еще вина, не стесняясь. Впереди было месяца три изнурительной работы на стройке. На сырой санкт-петербургской даче, у какого-то немца, у которого в прошлом году ребята из их села поставили забор. Фамилия у него была странная. Левантон... Левентан? Ну, да неважно.

Важно было лишь то, что климат в Санкт-Петербурге сырой, хозяин пьяных не любил, все время что-то черкал да читал, глаза портил, так что следовало заранее разогреться и напиться вдоволь. Так что ребята купили на украинском полустанке бутылку водки – ну, чисто погреться. И, конечно, кастрюлю вареников. Продолжать решили в купе. В тамбуре, куда вышли предварительно покурить, стоял крепкий мужик. С серьгой в ухе, фигурой боксера и сумасшедшими глазами, которые не позволили Толику пошутить насчет серьги. Мужчина почему-то пел. Получалось ужасно.

– Молдаване, молдаване, мое сердце под прицелом! – выл он протяжно.
– Офицеры, молдаване, пусть свобода воссияет, – ревел он затем.
– Заставляя блядь огнем сиять сердца! – кричал он, после чего пил из горлышка коньяк.
– Здоров, братишки, – обратился он, наконец, к Петрике с Толиком.
– Здоров, – сказали они.
– Закурить есть? – спросил он.
– Есть, – сказали Петрика с Толиком и достали свои папиросы.
– А я бросил! – радостно сказал мужчина.
– Тогда нет, – сказали Петрика и Толик.
– Я лейтенант запаса молдавской армии, – сказал мужчина.
– Так точно, – сказали Толик и Петрика.

Молдаване Толик и Петрика, как всегда, когда с молдаванами разговаривают строго, отвечали негромко, внимательно, и глядели себе под ноги. Мужчина хлебнул еще коньяку, покрутил головой, разминаясь, и сказал:

– Сегодня я отмечаю день Национальной армии, в которой никогда не служил, и это блядь очень характерный для постмодерниста поступок.

Стало понятно, что мужчина нарывается на драку. Вот уже и ругается «дернистом» каким-то...

– Споем?! – спросил он их.
– Ой! – сказал Толик и показал пальцем за спину крепышу.

Тот обернулся, а Петрика и Толик шмыгнули в вагон, а там стремительно бросились в купе. Прислушались. В вагоне кто-то потопал. Потом раздался голос:

– Друзья, где же вы?!

Толик и Петрика переглянулись и заперли дверь.

Опасность миновала, так что друзья снова развеселились. Тем более что в купе происходили ужасно смешные вещи.

Очкарик учил сына писать.

***

Выпив еще вина, Толик с ласковой улыбкой простачка начал атаку. Свесившись сверху, он спросил:
– Пишете?
– Ага, – буркнул папаша.
– Все пишете... – сказал Толик.

– Ага, – сказал папаша.
– А не надоело? – спросил Толик.
– Не-а, – сказал папаша.
– А я его спрашиваю, – ласково сказал Толик.
– Его? – спросил папаша.
– Ну да, – мягко пропел Толик.
– Не надоело? – спросил папаша.
– Нет, – сказал мальчишка, выводивший букву фломастером в блокноте.
– Какой пацан у вас бледный, – сказал со вздохом Толик.
– Вот мой, старший, их у меня трое, он в семь лет уже в поле, работать помогает, а сам весь крепкий, здоровяк, – сказал Толик.
– А ваш... бледный какой-то.
– Это у него кожа такая, – сказал папаша, поправив очки.
– А вот вы кто? – спросил Толик.
– Я? – спросил папаша нервно.
– Ага, – сказал Толик.
– Я библиотекарь, – сказал нервно очкарик.
– Зарплата, небось, маленькая? – спросил Толик.
– Ну да, – сказал очкарик неуверенно...
– Так езжай в Москву, зарабатывать, – сказал Толик.
– А ребенок? – спросил папаша.
– А что ребенок? – спросил Толик.
– Профессор ты профессор, – пристыдил он библиотекаря, – ребенок твой вырастет и будет стыдиться своего отца, который ему даже кроссовок купить не может.
– Ребенку нужен отец... рядом... – неуверенно сказал библиотекарь, произведенный Толиком в профессора.

Толик улыбнулся. Петрика наслаждался. В почерневшем окне мелькали огни деревенек, потерявшихся в густых черниговских лесах. От тусклого света снова клонило в сон.

– Ребенку нужно, чтобы он был одет не хуже других, и магнитола у него была, и мопед, чтоб девчонку покатать, – сказал Толик.

Профессор снял очки и негодуя сказал:

– Будущее это образование!
– Хуезование, – одними губами сказал Петрика, и друзья со смеху едва не подавились.
– Что вы там ржете?! – негодуя, сказал очкарик.
– Вы всю свою жизнь в Подмосковье будете дачи строить, – сказал он, – и дети ваши будут, а все почему? Потому что папы им из Питера и Москвы да Италии мопед привезут, а книжку – нет!
– А зачем нам эти книжки, – мягко спросил Толик, – враньем голову детям забивать?
– Враньем? – чуть не подавился языком очкарик, и Петрика его даже пожалел на мгновение.
– Конечно, – мягко сказал Толик, – чистейшим враньем.
– Чушью про то, что человек от двадцати абрикосов умирает, – сказал Толик.

И презрительно рассмеялся.

Петрика лишний раз подивился тому, как Толик ловко умеет подвести все к нужной ему теме. Толик голова! Безо всяких книг блядских...

– То есть, вы считаете... – растерянно сказал очкарик.
– Я не считаю, – сказал Толик.
– Я в селе рос, профессор, – сказал он, – и абрикосами объедался так, что...

– Срал я от них, что твой Ниагарский водопад, – интимно поделился Толик.

Очкарик метнул негодующий взгляд на Петрику. Ну словно проводник – стаканы, позабавился Петрика.

– Это же подтверждено и проверено Академией Наук! – сказал очкарик.
– Чушь все это, – сказал Толик, – лучше бы ты ребенка побегать в коридор пустил...
– Я... вы... да... – возмущался очкарик.
– Петрика, дай абрикосов, – сказал Толик.

Мальчишка заинтересованно глядел на взрослых. Дверь в купе была уже открыта, и в проеме собралось уже с два десятка любопытствующих, привлеченных спором. Даже проводники стояли, бессильные что-то сделать, поэтому они просто расслабились и стали получать удовольствие от потрясающего зрелища. Спор Теории и Практики, Наития и Разума...

Петрика, торжествуя, снял коробку с третьей полки. Ничего от двадцати съеденных абрикосов хозяину не станет. Не заметит он недовеса. Перебьется Левиафан этот, все равно за коробку сразу платит...

– Раз, – сказал Толик, торжествующе, очистив, съев абрикос, разбив косточку и сожрав ядрышко.
– Вы хоть помойте их, – страдая, сказал очкарик.
– Зачем? – спросил Толик, пожирая второй и третий абрикосы.
– Там же бактерии... – сказал неуверенно очкарик.
– Это в книжках так написано? – спросил Толик, и вагон радостно заржал.

Не смеялся лишь мужичок с серьгой. Он лишь грустно покачал головой и ушел в начало вагона, некрепко держась на ногах, и очень крепко – за початую бутылку коньяка. Встал там напротив окна, уперся лбом в стекло и стал о чем-то думать. Не наш человек, подумал с неприязнью Петрика. Слишком много блядь думает.

– Семь, – считал хором вагон.
– Восемь, – звенели голоса все громче.
– Девять!

Очкарик глядел, как абрикосы исчезают в пасти Толика. Как белые, ядреные зубы здорового, цельного молдавского парня дробят и крошат – словно косточку абрикоса – все идиотские, оторванные от жизни представления очкариков-вонючек из Академий Наук про настоящую жизнь. Как облетает шелуха псевдоучености со рта Толика, который запивал каждую абрикосинку и ее ядрышко стаканом чудесного молдавского вина. Того самого, которое делают из сорного сорта бакон. От которого член крепче Эйфелевой башни, а язык – чернее молдавской ночи. Очкарик глядел...

– ...надцать! – кричал вагон.
– ...тнадцать! – ревели все.
– Двадцать!!! – закончили они.

Толик торжествующе доел двадцатое ядрышко, хлопнул еще стакан и поднял верх руки. Весь вагон аплодировал. После этого двадцать абрикосов – а Левенталь (вот, вспомнил!) ничего не заметит, потому что оставшиеся абрикосы намочим, и коробка отяжелеет, решили парни, – скушал и Петрика. И что? И ничего! Поезд несся. Люди смеялись.

Даже сын глядел на очкарика с презрением.

***

Ночью купе разбудили русские пограничники. В спящих тыкали фонариками, трепали за плечи, бегло просматривали документы.

– Николай Хромченко... – узнал из уст пограничника фамилию очкарика Петрика.

– С какой целью едем? – спросили очкарика.

– Визит к родственникам, – сказал убитый вечерним фиаско очкарик, и Петрика радостно понял, что ботаник не спал всю ночь.

Поделом тебе, – подумал он. – Сука блядь ученая.

Сел, протянул паспорт служивому. Дверь была распахнута, так что Петрика видел, как проверяют документы в коридоре у крепыша с фигурой боксера и очередной бутылкой коньяку. Какая по счету, интересно, подумал Петрика. Из тех, что он видел, четвертая. Словно в песок уходит, с уважением подумал Петрика.

– Цель визита? – спросил пограничник.

– Сугубо личная, – сказал крепыш, не отрывая лба от окна.

О том, что он выпил, можно было судить лишь по тому, как медленно и четко произносил крепыш слова. Настоящий молдаванин, умеет пить, подумал Петрика. Эх, если бы еще не думал столько, подумал Петрика.

– А поконкретней? – спросил пограничник.

– Поконкретнее? – спросил задумчиво крепыш.

– Поконкретнее, – с усмешкой сказал пограничник.

– Поездка в северную столицу России, город Санкт-Петербург на церемонию вручения литературной премии «Национальный бестселлер» в качестве лауреата, коим я и являюсь по результатам голосования высокого жюри, – проговорил умеющий пить, но чересчур задумчивый молдаванин, глядя в окно.

– Ни разу не запнулся, – подумал восхищенно Петрика.

– Гм, – сказал пограничник.

Молча протянул документы и ушел, оглядываясь.

Крепыш сунул паспорт в карман, не глядя, и хлебнул.

Поезд тронулся.

***

Утром, когда остывшие тела умерших от цианида Петрики и Толика вынесли из поезда, а проводники, трясущиеся после допроса, отпаивали друг друга валерианой, очкарика Ильченко с сыном перевели в другой вагон. С очкарика еще взяли расписку о невыезде по приезду.

– Придется дать показания еще, – сказали хмуро два следователя.

Очкарик покивал судорожно и утащил мальчишку в соседний вагон, где им выделили отдельное купе. Без соседей, от греха подальше...

Вагон мрачно молчал. Смеялся только лауреат премии «Национальный бестселлер», открывавший девятую бутылку. Он называл это «уважить Роспотребнадзор». В проклятое купе, опечатывать которое не было смысла, уселись два следователя, которым все равно нужно было ехать до Москвы. Вздохнули. Покачали головами.

– Долбанные молдаване, – сказал один.

– Долбанные идиоты, – сказал другой.

– Нет, ну блядь... – сказал один.

– Да нет слов, – сказал другой.

– Да я с детства видел, как старое варенье с косточкой выбрасывают... – сказал один.
– Да это же блядь азы, – сказал другой.
– Кретины, – сказал один.
– Идиоты, – сказал другой.
– И вот семеро сирот блядь, – сказал один.
– ... – сказал другой.

Помолчали. Огляделись. На верхней полке лежало несколько раздавленных абрикосов. В углу у окна на нижней – рыбные косточки. Пачка папирос «Жок». Один следователь вытащил папиросу, понюхал, брезгливо бросил на пол. Положил ноги в обуви на полку напротив. Почувствовал что-то твердое. Под скомканным полотенцем была книжка.

«Мир живой планеты».

Скучая, раскрыл наугад. Прочитал вслух:

– В очень малых количествах наш организм вырабатывает и такое вещество, как этиловый спирт...
– Да, читал, – вяло откликнулся второй.
– Тот самый, который в больших количествах бывает смертельным веще...– читал первый.
– Ну ясен пень, – сказал второй.
– Смертельная же доза этилового спирта составляет 400 миллилитров на человека...
– А? – сказал второй.
– Четыреста, – сказал первый.
– Что-то они не то, – сказал второй.
– Ну да, – сказал первый.
– Эвон, мне дед говорил, в деревне у них парень выпил два литра самогона, – вспомнил он.
– Убивает за полчаса... – недоуменно прочитал второй.
– Чушь блядь какая-то, – сказал первый.

За окном мелькал подмосковный пейзаж. Мужчины посидели еще полчасика. Книга бросалась в глаза...

– Да прям, – нарушил молчание один
– Чего-то не верится... – сказал другой.
– Херню какую-то пишут, – сказал один второй.
– Детей пугают, – сказал первый.
– Ну да, те же не проверят, – ответил второй.
– Нет, ну напишут же! – усмехнулся первый.
– Свистят, как Троцкий! – сказал второй.
– А как проверишь? – спросил первый.
– Думаешь, у проводников спирта нет? – спросил второй.
– Есть, – сказал первый.
– Четыреста граммов за полчаса насмерть, вранье, – сказал первый.
– Ну так, – сказал второй.
– А знаешь... – сказал первый...

Мужчины поглядели друг на друга пару секунд.

За окном начинались предместья Москвы. Поезд, медленно покачиваясь, ехал мимо бетонных блоков с граффити и надписями «Бей пидарасов, черных и ментов», «Путин, уходи! НБП», «Русская литература умерла, а я нет», «Русские, Москва это город ночхов!» и «Добро пожаловать в столицу Хачистана, чурки. Русский Союз».

До вокзала оставалось как раз полчаса.

Вадим ЛЕВЕНТАЛЬ

CARMEN FLANDRIAE

Сие упражнение в готическом жанре автору да будет позволено почтительнейше посвятить А.Г.

Даже отсюда я слышу часы на ратуше, эти страшные часы. Говорят, часовщик-итальянец повесился на них, когда узнал, что ему не заплатят за работу. Веревка была сырая и плохо затянулась, он долго дергался, извивался, пока не обессилел, и кованая стрелка стала после этого кривая, как змея, и вместо мелодичного перезвона каждый час с башни несется страшный клекот, как будто это не часы бьют, а кричат с крыши каменные горгульи. Как же ему нужны были деньги!

Я видел эти часы прямо из окна лавки, каждый день. И тогда тоже, когда она пришла в первый раз. В ее черных, как смола, волосах, показалось мне, мелькало что-то зеленое, но я тогда не придал этому значения. Как она зашла в лавку, я не видел: хозяин отправил меня принести отрез самита, показать покупателю, жирному, как он сам, Самсону, ростовщику. Я принес, развернул, и тут увидел ее. Хозяин был так увлечен евреем, прямо облизывал его, что, конечно, не заметил. Она стояла у самого входа, против света, и смотрела на сложенный там красный атлас. Издалека она взглянула на меня и тут же отвела взгляд. Сперва я подумал, что это воровка, из цыган, но сразу понял, что нет, ничего цыганского в ней не было, стоило подойти поближе, это было ясно. Просто девушка из бедной семьи, пришла полюбоваться, такие иногда заходят. Я шепнул ей, чтоб приходила после шестого боя часов, когда хозяин уйдет в кабак. Она как будто не слышала. Тогда я добавил, что подарю ей ленту. Она повернула ко мне голову, и я впервые увидел ее глаза.

Клянусь, я и не думал в тот момент ни о чем таком. Я у хозяина пятый год, его-то собственный сын давно уж по слабости ума в монастыре, а меня мать отдала совсем мальчишкой, когда отец погиб в Тунисе вместе с сиром королем Людовиком, по крайней мере, так она мне сказала, – я к тому, что за пять-то лет я научился так подгибать и отрезать, чтобы немножко оставалось. Девчонки разные бывают, многие за ленту в волосы на все готовы. Последние полгода ко мне чуть не каждую неделю ходила Грета, девица из пекарни, белобрысая, вся в веснушках. Хозяин однажды застал меня с ней, я ему соврал, что дал ей пятнадцать су, которые он подарил мне на Рождество, так что он не ругал меня. Сказал только, что противная. Но она не противная. С третьего раза мне даже стало казаться, что она красивая такая, с веснушками. Я всегда, каждую неделю отрезал ей на полпальца то муслина, то сендала, то еще чего.

Но в этот раз даже в мыслях ничего подобного у меня не было. Мне просто хотелось, чтобы она еще пришла, разглядеть ее получше. Она была страшно худая, и волосы у нее были черные. Когда я смотрел на нее, мне казалось, что она младше меня. Но когда она на меня смотрела, мне казалось, что она намного старше. Она и первый раз посмотрела на меня так, будто не поняла, что я сказал, – протяжно, как будто прямо в сердце, у меня мурашки по спине побежали, и в этот момент как раз закаркали часы на ратуше. А хозяин уже обдурил еврея, я это слышал, ясно было, что вот-вот он позовет меня.

– Уходи сейчас, а то хозяин прогонит, – прошептал я ей еще раз. – Потом приходи, когда его не будет.

Вадим Левенталь родился в Ленинграде в 1981 году. Окончил Филологический факультет СПбГУ. работает в «Лимбус Пресс» редактором и исполнительным директором в «Нацбесте». Проза и критика публиковалась в журналах «Звезда», «Октябрь», газете «Известия» и др. Живет в Петербурге.

Тогда она ушла.

Весь день я про нее думал, все было как в молоке. Затянул самит, отрезая, и хозяин больно ударил меня по спине, но я не расстроился особо – только считал часы. В конце концов он ушел, как всегда, в пивную, со своей обычной присказкой, что, мол, кровь Его нам пить не по карману, а мочу Его – в самый раз, я, как надо, расхохотался, чтоб его не обижать, и когда дверь за ним скрипнула, мое сердце тут же заколотилось в горле. Но она не пришла.

Часы пробили еще три раза, но она так и не пришла. Я, как обычно делал, сложил товар и закрыл лавку. Немного постоял у входа, а потом пошел на кухню, все-таки мне хотелось есть. В тот раз я не придал ее появлению никакого особенного значения. Лавка моего хозяина – одна из лучших в городе, место людное, народу каждый день бывает много разного – крикливые, пышно одетые итальянцы, толстые остерлинги, угрюмые славяне, турки с масляными улыбками, это не считая всякого сброда, за которым глаз да глаз, и честных бедняков, которые годами копят на приданое дочкам и покупают, стесняясь, самое дешевое грубошерстное сукно. Ее я ни разу до того не видел, но мало ли кого я не видел. Думаю, если бы она больше не пришла, ничего страшного не случилось бы. Правда, в тот день я отправился бродить по городу, вместо того чтобы как обычно пойти играть в мяч с ребятами с площади или свернуться под лестницей и заснуть. Мне было не по себе, как бывает, когда пытаешься вспомнить какую-нибудь песню, которую давным-давно слышал и забыл. Повторяешь раз за разом две строчки, а дальше – не получается. Было темно, но я дошел до Собора, обошел его кругом и только тогда вернулся обратно. Сейчас может показаться удивительным, что меня потянуло именно к Собору, но честно говоря – а где у нас еще гулять? По реке вечером не походишь – опасно.

Она не приходила потом еще четыре дня. А на пятый день вечером пришла. Стоило хозяину уйти, она скользнула внутрь, как будто там, снаружи, только и дожидалась его. Это было так неожиданно, что я не знал, что мне делать. Она встала посреди лавки и смотрела как будто куда-то в сторону. Я подошел к ней, думая, что удастся рассмотреть ее, но она прятала лицо. Одета она была в старенькое, штопаное льняное платье. Тогда я стал делать то, что было мне привычнее всего.

– Смотри, – сказал я ей, – это флорентийское сукно. Говорят, чтобы получить этот красно-синий цвет, лишайник, растущий в корнях сосен, вымачивают в моче девственниц, а собирают его только в ясную лунную ночь – старухи, потому что иначе цвет получится грязным. А это византийский муслин, посмотри какой тонкий. Его выделывают в императорских мастерских, а работу принимает сама императрица, и если десять локтей получившейся ткани не получается протянуть через игольное ушко, то нерадивую работницу бросают на съедение львам. А вот экарлат из Бургундии. Краситель для него добывают из жуков, живущих на горе Арарат, но годятся только оплодотворенные самки. Самцы кошениля появляются на свет без рта, потому что им предстоит прожить один-единственный день, чтобы впрыснуть в самку свою кровь вместо семени, и кровь эта так густа, что пропитывает все тело самки, так что когда их щетками соскребают с листьев, пурпуром окрашивается вся земля под деревьями, а тот, кто хоть раз собирал кошениль, тот никогда не сможет отмыть рук.

Кажется, она слушала меня, но точно не знаю. Я даже подумал, уж не немая ли она, или, всякое бывает, может, просто дурочка. Но немой во всяком случае она точно не была. Потому что когда я развернул перед ней экарлат, она погладила его рукой и спросила:

– Это очень дорого, да?

Я усмехнулся. Еще бы не дорого.

– Я могу подарить тебе ленту из него, – сказал я.

– Нет, – она покачала головой. – Мне не нужна лента.

Опять что-то промелькнуло в ее волосах, как будто одна из прядей у нее была зеленая, но это мне, конечно, показалось.

– Почему? Ты вплетешь ее в волосы, и на танцах в воскресенье на тебя будут смотреть все юноши, ты сможешь выбирать между ними. Может быть, одному из них ты так понравишься, что он захочет взять тебя в жены. Не какой-нибудь там крестьянин, а красавец из хорошей семьи, – я

еще продолжал расписывать ей этого парня, как будто бы это был я сам, но она смотрела в сторону, а потом подняла глаза на меня, и мне пришлось замолчать.

Это был странный взгляд, можно было подумать, что она слушала совсем не то, что я говорил, а что-то другое. В этот момент звякнул колокольчик: кто-то вошел в лавку. Она быстро вышла, и я так и не успел рассмотреть ее хорошенько. Вместо этого я стал разворачивать отрезы перед сварливой старухой, изо всех сил стараясь, чтобы она купила что-нибудь. За хорошую работу хозяин иногда давал мне пару су, а я почему-то решил тогда, что мне как раз пригодились бы несколько монет.

В этот второй раз, когда я предлагал ей ленту, я подумал, конечно, что если она согласится, то это может значить, что она такая же, как Грета, но потом, когда ушла она, а потом ушла, так ничего и не купив, сварливая старуха (на щеке у нее еще была бородавка, из которой росли два волоса), и я стал думать об этом, я решил совершенно точно, что как раз этого мне и не хотелось бы. Такие девушки, как Грета, – я ничего плохого не хочу сказать, но когда о них думаешь, представляешь себе ее грудь в своей ладони, ее задницу, живот, жаркие бедра, влажную внутренность, а тут – мне просто хотелось близко и внимательно рассмотреть ее лицо. Точно, в тот момент – не более того.

Мне было так хорошо в тот вечер, легко, как в детстве после причастия... Наверное, это было видно по мне, думаю, что я улыбался. И я совершенно забыл, что нашей хозяйке в таком виде лучше не показываться – она хорошенько поколотила меня, сказав, что я ее разорю. Она всегда говорит, что я слишком много ем. Только когда вернулся из пивной хозяин, и она перекинулась на него, я сбежал к себе под лестницу.

Через несколько дней в лавку прислали от бальи, нужно было отнести образцы, и хозяин отправил меня. Вообще-то по важным делам обычно он ходил сам, но в этот день он ждал купца с острова. Было очень жарко, я весь взмок, потом долго ждал на заднем дворе, пока выйдет слуга и заберет у меня мешок, так что я и устал, и соскучился, но когда я шел обратно – такое редко бывает, чтобы днем и не в лавке, – я должен был бы нестись обратно со всех ног, но было очень уж хорошо идти налегке, щуриться на солнце, в общем, я решил сделать крюк и оказался опять у Собора.

И проходя в тени южной башни, я увидел ее. Она сидела на ступенях паперти, обхватив колени, смотрела прямо перед собой, лицо ее ничего не выражало. Я сначала испугался, а потом сел рядом с ней. Не знаю, сразу она меня заметила или нет, во всяком случае, она не сказала ничего, я тоже не знал, что сказать, просто сидел вместе с ней и смотрел на людей, которые ходили туда-сюда. Потом я спросил ее, почему она тут сидит. Она не повернула ко мне головы и долго молчала, я уже подумал, что она и не ответит, но она все-таки ответила. Разлепила губы, как будто не была уверена, что сказать, а потом тихо, но внятно выговорила:

– Потому что это мой дом.

– Ты что, живешь на улице, у тебя нет дома?

Наверное, мой вопрос прозвучал глупо, я и сам чувствовал, что говорю что-то не то, я ведь видел, что она пусть и одета не как графская дочь, но все же не смотрится побирушкой. Она повернула ко мне лицо, посмотрела удивленно.

– Нет, я же объясняю, у меня есть дом, – и она ладонью погладила ступеньку, на которой сидела.

Я почувствовал, что сейчас запутаюсь, и тут вспомнил, что мне нужно в лавку.

– Приходи еще ко мне, – сказал я ей, поднимаясь. – В лавку. Придешь?

Она помолчала немного и кивнула. Уходя, я подумал, что опять не успел разглядеть ее лицо. И еще я ругал себя за то, что так и не спросил, как ее зовут.

Возвращался я почти бегом и едва успел в лавку до шестого боя. Я решил тогда, что она имела в виду, что живет в Соборе, – мало ли, может, попы подобрали девчушку, кормят ее, она прибирается, а может быть, ее готовят отдать в монастырь, такое тоже бывает. Единственное, что было неприятно – это что они там могли с ней еще делать, эти жирнобрюхие. Мне уже тогда вдруг по-

казалось, что касаться ее, ее волос, ее лица, ее тела – нельзя.

Хозяин, конечно, стал ругать меня за то, что я так долго шлялся, но думаю, он что-то заподозрил, потому что он вдруг снова стал кричать, чтоб я не вздумал путаться с девками, что через пять лет он сам женит меня на ком надо – это было что-то вроде условия, во всяком случае, так он обещал моей матери, что если я десять лет прослужу у него и он будет мной доволен, то он женит меня, даст денег на свадьбу и на хозяйство. Я стоял, опустив голову, и только говорил «да, хозяин», «нет, хозяин», а сам ждал, когда наконец закаркают на ратуше часы, он уйдет, а я смогу спокойно подумать о ней.

В первый раз она пришла сразу после Пасхи, а теперь было уже лето, и потом она приходила еще несколько раз, и я уже не переставал думать о ней. В редкие и недолгие моменты наших встреч я старался как можно лучше запомнить ее лицо, чтобы потом, сидя на тюках с шелком, из мелочей – маленького прямого носа, впалых щек, узкого подбородка – восстанавливать его перед своим внутренним взором. А когда я научился делать это, я стал в воображении своем касаться ее лица кончиками пальцев. Я проводил пальцами по лбу, касался дрожащих век – и потом, когда я отнимал пальцы, ее ресницы вспархивали, и я изо всех сил старался представить себе, как бы она посмотрела на меня.

В лавке я стал расторопен как никогда, и у хозяина не было причин ругать меня. Наоборот, он стал чаще подкидывать мне монетки, а однажды даже, вернувшись вдруг из пивной, спросил, почему он давно не видел прыщавой девки из пекарни – он имел в виду Грету, я это понял, хотя она была совсем не прыщавая. Я только потом понял, к чему он клонил, а в тот момент не нашелся ничего сказать, кроме правды – что она мне больше не нужна. Зато хозяйка стала злее черта, уж не знаю, что на нее нашло. Чуть не каждый вечер она стала меня колотить, так что я старался не попадаться ей на глаза – приду на кухню, схвачу свою миску и бегом под лестницу.

Однажды в воскресенье после обедни я отпросился у хозяина и побежал к Собору. Я надеялся встретить ее там, на ступенях. У меня было несколько денье, и я думал, что смогу угостить ее чем-нибудь на ярмарке, если она согласится. Я сел на ступени ждать ее, но она так и не появилась. Вместо нее рядом со мной скоро плюхнулся парень чуть постарше меня. Первым делом спросил меня, нравится ли мне Собор. Я сказал, что нравится.

– А я его скоро возненавижу, – сказал он и втихаря плюнул на стену. – Три года уже тут батрачу, вот он у меня где! – он приставил ладонь к горлу, и я подумал, что так он скорее мог бы показать, сколько пива успел уже выпить сегодня.

Пока он говорил, я смотрел на него сбоку. Нос у него был выгнут, как спина у взбешенной кошки. А может быть, это память моя – так, как она делает цвета ярче, чем те были, звуки громче и взгляды нежнее, – так же она выгибает линии, которые были хоть немного кривы, и на самом деле нос у него был выгнут только как слегка натянутый английский лук, не более того, – не знаю, не знаю. Глаза у него были большие, уголками как будто стекающие вниз, к скулам. И еще у него были длинные пальцы – при первом взгляде могло показаться, что на каждом из них не три фаланги, а четыре.

Конечно, первые слова его были только бахвальством – уже через несколько минут он рассказывал, как здорово быть учеником каменщика. Из его слов я понял, что еще несколько лет у него уйдет на ученичество, потом он сам станет цементщиком, а работы тут хватит на весь его век. Главной его мечтой было стать архитектором и самому поставить северную башню.

– Только бы попы не жадничали, дьявол их ети.

Я передернулся от ругательства, но ничего не сказал. Потом он положил ладонь мне на плечо, сказал, что я хороший парень, и предложил мне выпить. Я согласился. Мы перешли через площадь, взяли по кружке и сели на нагретый солнцем камень. Собор теперь был прямо перед нами, и из-за фасада поднимались леса вокруг строящегося трансепта.

Не знаю, с чего вдруг он заговорил об этом, но, втянув в себя одним глотком полкружки, он сказал, что иногда думает, как здорово было бы Собор поджечь.

– Спалить всю эту красотищу к чертям. Только сначала достроить. Достроить, поставить по-

следнюю башенку на последнем контрфорсе и... – он щелкнул пальцами, впрочем, он был уже такой пьяный, что щелчка не получилось. – Понимаешь? Нет, ты не понимаешь, дьявол тебя ети. Если все достроить, то что останется, а? Нужно, чтоб всегда было, что строить. Достроили, спалили – и заново. Еще лучше! еще красивее! еще больше!

Я начал было говорить, что можно строить и на другом месте, но он оборвал меня.

– Дурак! Зачем на другом? Здесь и надо. Здесь всегда так. Одно спалили, другое построили. Построили, постояло немного – и... – он снова попытался щелкнуть своими длинными пальцами, но запутался в них.

Я сколько себя помню, Собор всегда был такой, как сейчас. Хозяин как-то говорил, что помнит его еще без башни. А мать моя говорила, что ей рассказывал дед, будто он был мальчиком, когда закладывали Собор. Я всегда думал, что дед просто хвастался. Тут-то я и спросил кривоносого парня.

– А что, здесь раньше что-то стояло?

– Конечно, дурак. Я сам слышал, как мэтр Тома рассказывал.

– А что?

Мне пришлось повторить свой вопрос громче, потому что парень уже клевал носом

– Что-что. Сортир святого Петра. То же самое и стояло. Что здесь еще могло стоять. Здесь всегда храм был.

После этого он совсем заснул, я снял потяжелевшую руку с своего плеча, привалил его к стене и ушел.

Я расстроился, конечно, что не нашел ее, но еще больше расстроился, что потратил на пиво те деньги, на которые собирался угостить ее чем-нибудь. На следующий день я так старался – всучил одному покупателю штуку парчи, которую он сначала вовсе не собирался брать, – в общем, хозяин перед уходом дал мне два су. Он ушел, проскрипели часы на ратуше, и не успели они затихнуть, как вошла она. В тот раз я наконец решился и пригласил ее погулять в следующее воскресенье. Она, показалось мне, очень удивилась, но согласилась.

Всю неделю я работал как сумасшедший – расхваливал ткани так, будто их не люди ткали, а сама дева Мария. К воскресенью я разбогател почти на пол-ливра. Утром в воскресенье я развязал свой матрас, вытащил из него пять су, и после службы отправился к Собору с полным карманом денег. Она сидела там же, на ступенях, чуть в стороне от выходящей из дверей толпы. Я повел ее в пекарню к старику-турку – это недалеко, но шли мы долго, потому что на улицах было много народу. У турка я купил две чашки холодной сладкой каши, названия которой я все никак не могу запомнить, уж очень оно странное. Пока она ела, я рассказывал ей про турка, что сам слышал от ребят. Что будто бы в молодости он был страшным непобедимым воином, потом попал в плен, крестился и снова сражался, а потом камнем, сброшенным со стены, ему придавило пальцы на ноге, раздробило все кости в мелкое крошево. Поэтому он хромой. Но за боевые заслуги граф дал ему право завести лавку, и он стал кондитером. Кто-то слышал, как он говорил, что всегда, с детства мечтал только быть кондитером и больше ничего. И что хоть он и принял святую веру, но все равно не пьет ни капли вина.

Не знаю, слушала она меня или нет. Она ковыряла ложкой в чашке, смотрела на турка, рассматривала людей. Я уже понял, что говорить с ней, о чем обычно с девками говорят, не получится, но не корчить же из себя святого Августина; уж какой есть. И потом, надо было хоть что-то говорить, а то сладкая туркова каша в молчании исчезала чересчур быстро, а покупать еще одну я не хотел. В общем, я вспомнил парня с площади и рассказал ей про храм, который стоял на месте Собора раньше. Тут она подняла на меня глаза и сказала:

– Я знаю эту историю.

Я так обрадовался, что удалось заставить ее разлепить рот, – поначалу даже не слушал, что она говорила; просто смотрел, как двигаются ее губы, и как иногда ее взгляд касается меня. Она рассказывала про какую-то деву – не могу вспомнить: то ли святую, то ли наоборот, – которая давным-давно тут жила, и ей поклонялись люди, а потом, когда пришел с крещением святой Ди-

онисий, она отказалась креститься, и тогда в нее вселился дьявол.

– Она обернулась лисицей и хотела убежать в лес, а святой помолился, и тогда по Божьей воле лесные волки загнали ее. Она улетела от них, обернувшись голубицей, но святой призвал орлов, и они кинулись на нее, чтобы заклевать. Тогда она бросилась в воду и красноперкой скрылась в реке. Но по молитве щуки выползли из холодных нор, поднялись со дна и стали кусать ее. Река вынесла ее тело на берег, и когда святой нашел ее, он отрезал ей левую грудь, вскрыл грудину и вынул сердце. В его раскаленных от молитвы ладонях сердце тут же ссохлось, сморщилось и стало размером с куриное, но твердое, как камень, и цвета густой крови. Тогда святой зашил сердце в мешочек и всегда носил его на груди.

Я слушал все это, раскрыв рот, но что я мог ей на все на это сказать?

– Сколько живу здесь, ни разу не слышал этой истории.

– Да я ее только что придумала, – сказала она совершенно спокойно и как будто немного разочарованно, а может, я теперь уже ошибаюсь.

Я совсем сбился с толку и больше уже ничего не в состоянии был говорить, но все равно я не смог бы попрощаться с ней сам, первым, так что очень кстати, что она, доев кашу, облизав ложку (да – облизывала, как самая простая деваха, так что было даже немного противно), сказала, что больше ей нельзя со мной. Мы вышли из пекарни, молча покружили по улицам, и вдруг она сказала «пока» и оставила меня; я только и успел что заметить в глубине полупьяной толпы ее угольные волосы. Хотите верьте, хотите нет – в них точно было что-то зеленое.

Здесь очень холодно, и меня уже двое суток не кормили – может, забыли, а может, решили, что все равно, – правильно, в общем, решили, – у меня страшно кружится голова и время от времени меня всего очень сильно трясет, с каждым разом приступы все продолжительнее, и все труднее заставить себя успокоиться. Скоро начнет светать, я это чувствую по запаху холодного тумана, стекающего с камней мостовой, в этом запахе – примесь плесени. У меня ничего нет, но если бы что-то было, я бы все отдал за кусок самого простого полотна – завернуться; может, не так сильно трясло бы. В конце концов понимаешь, что и бархат, и атлас, и саржа нужны для одного и того же – укрывать тело от холода; все остальное от лукавого. Лучше всего было бы мне заснуть, но не получается – я уже пробовал: стоит чуть-чуть одним глазком заглянуть в сон, как я в ужасе шарахаюсь назад.

В тот день мне очень повезло, что я встретил Мартина – того носатого парня, ученика-каменщика. Мне обязательно нужно было напиться – не выпить, а именно напиться, – потому что тот хмель, которым я уже был пьян, был куда опаснее, я мог натворить глупостей, а перебить его можно было только несколькими кружками пива. Я шел по улице, чуть не бежал; мне хотелось кричать, бить-колотить столы лавочников, хватать людей за рукава, и вот в таком состоянии я шел, а мне навстречу – Мартин, который издали завидел меня, на ходу развернул и повел в кабак:

– Пойдем, пойдем. Только не ври, что не хочешь стаканчик.

Я и не собирался. Наоборот, мне хотелось броситься ему на шею, расцеловать его и – пить, пить, пить. Я, конечно, спустил в кабаке все деньги, которые у меня с собой были. Поначалу Мартин говорил, а я только молчал и улыбался, но после четвертой, а может быть, пятой кружки меня понесло, и я, кажется, разоткровенничался. Не помню, что именно я нес – видимо, что-то про неземной красоты девицу, – во всяком случае, Мартин стал спрашивать, кто она и откуда, а я ничего толком не мог сказать, кроме того, что она живет в Соборе. Будь я трезвым, я бы ничего такого не сказал, конечно, но ведь люди для того и пьют, чтобы язык болтался по ветру.

Мартин сначала не понял, потом я ему объяснил, что это она сама так говорила, сидя на ступенях паперти, и тут он расхохотался так, что я подумал, уж не придется ли мне сейчас с ним драться.

– Парниша, – сказал он, обхватив меня своей толстой тяжелой рукой, и, как будто хотел сказать мне что-то по секрету, жарко и влажно шепча мне в ухо, – ты влип. Это ж Регинка, дочь мэтра Тома. Он живет с ней в доме напротив, с южной стороны, вот она и сказала тебе, что живет на

площади. Она, – Мартин еще понизил голос и постучал по столешнице, – ку-ку, свихнутая.

Я совсем было собирался дать ему в морду, но тут он скорчил виноватую рожу и сказал примирительно:

– Ты, дружище, тоже!

Я расхохотался и передумал драться с ним; тем более что он все-таки работал с камнем и был явно куда сильнее меня. Наверное, мы очень громко смеялись, потому что старик, сидевший рядом – у него была одна правая рука с синими ногтями, но он очень ловко ей управлялся: ел кусок баранины и запивал пивом, только поворачивая кисть, – сказал нам, чтоб заткнулись. Тогда Мартин притянул мою голову к себе и стал шепотом рассказывать: мэтр был женат, но жена его умерла, рожая младенца, который умер еще в утробе. С тех пор мэтр не женился, но когда он приехал сюда строить Собор, он на ступенях южного портала нашел завернутую в тряпки девку – назвал ее Региной, как покойную жену, и стал воспитывать. За пятнадцать лет она сильно выросла, а живет он с ней как с дочерью или как с женой – Мартину неизвестно.

Пока Мартин – долго и путано – рассказывал, мы успели выпить еще по кружке, поэтому я не помню, как мы выходили из кабака (кажется, что-то было не очень хорошее, и помню почему-то близко-близко сухое лицо однорукого старика и синие ногти); следующее, что помню, – это что мы идем зигзагом, опираемся друг на друга, натыкаемся на стены домов, а я все пытаюсь объяснить Мартину, что мне вовсе не хочется с этой Региной того, что обычно бывает с другими девками. Когда пьяный, все время кажется, что что-то кому-то недообъяснил.

Пока я добрался до дома, немного протрезвел; во всяком случае, мне удалось тихо-тихо разбудить ключницу, которая по какой-то причине всегда меня в таких случаях спасала, и незаметно шмыгнуть к себе на мешок под лестницу. Я засыпал под третий за ночь лязг ратушных часов, думал о Регине, о том, что сказал Мартин. Я понял, что представлять ее в объятиях квадратноголового старика (почему-то я так его воображал, хотя потом оказалось, что у него узкое лицо), так вот представлять ее с ним обидно, но скорее все равно. К тому же, это только если Мартин сболтнул не ради красного словца – в чем я не был уверен тогда, а теперь так и тем более не уверен.

Я поспал не больше трех часов – меня разбудила мысль, что я чуть не забыл самое главное из того, что мне рассказал Мартин; я сел на свой мешок и схватился за голову: она страшно болела. Но сердце мое колотилось как бешеное – надо же, ведь почти уже забыл: мы с Мартином сидим где-то, привалившись к стене, над крышами ярко светится черный-пречерный Собор, Мартин держит ладонь на моей голове, а его голос – как будто откуда-то снизу:

– Его однажды спрашивают: а что, типа, собираешься ты свою прикормышиху замуж-то отдавать? А он: да за ради бога, пусть берет, кто хочет, баба с возу – кобыле легче, только, типа, хочу, говорит, обратно получить все то, что потратил на нее, пока она в моем доме жила, по справедливости, и – на все четыре стороны. В общем, что-то такое он долго считал, все еще хохотали, пьяные, насчитал почти двести ливров – только кто ж даст столько за девку, да еще и свихнутую, дьявол ее ети.

Во рту было липко, страшно хотелось пить; к счастью, хозяин, кажется, был такой же. Я ухватил с кухни несколько яблок и потащился за ним в лавку. Весь день я ворочал тюки, это, чтобы не завелась сырость, каждую неделю надо делать, соображал я туго-туго, и каждую минуту хотелось упасть на эти же перевернутые ткани, поспать, и ежечасное карканье как будто проклевывало голову насквозь, и я целый день считал и пересчитывал: получалось, что двести монет, с учетом того, что пять у меня уже есть, я могу заработать за шесть лет. То есть как раз за тот срок, когда хозяин обещал моей матушке женить меня. А ведь хотя матушка и была ему двоюродной сестрой, он все-таки соврет недорого возьмет, и к тому же женить захочет на старой толстобрюхой дочке какого-нибудь своего клиента из тех, что попроще. Получалось, что через пять лет я отдам заработанные деньги мэтру и получу Регину, но без крова, без хозяйства, без единого денье. И я буду на пять лет старше (старее, суше, больней), и она.

Словом, оказалось, что мне ужас как нужны деньги.

Следующие несколько недель я ее не видел, но как-то успокоился и сосредоточился – до того,

что хозяин что-то заподозрил. Однажды он не пошел вечером пить пиво, закрыл лавку вместе со мной, сел за конторку, посадил меня рядом с собой и стал говорить, мол, видит, что со мной что-то происходит, все лето, с самой Пасхи, и ближе него у меня все равно никого нет, пусть я с ним посоветуюсь, он все-таки пожил уже на белом свете, и так далее, и так далее, сынок. Сначала я раздражался, а потом он отвернулся и глухо так заговорил, мол, думаешь мне иногда не хотелось послать все это к дьяволу – и мне пришло в голову: он про лавку, про жену, старуха-то и впрямь не приведи господь, – в этот момент я понял, что он не ради чего-то со мной проповедь затеял, а от чистого сердца. Он-то теребил жирные складки у себя под подбородком, то крутил перстни на пальцах-огурцах, – мне так жалко его стало, что я бы заплакал, если бы он тоже заплакал. Он все требовал, чтобы я ему чего-то сказал, а я не знал, что говорить, мычал, и в конце концов он стал тыкать пальцем в конторку и кричать, чтобы я потерпел, мол, еще пять лет, и я сам стану суконщиком, и тогда-то и пойму, что к чему. Не знаю, что он имел в виду.

На следующий день с утра я побежал с отрезами на пробу к жене и дочкам бальи (он ведь с собой целый выводок привез), а на обратном пути дал крюка и оказался у Собора. Я хотел посидеть подумать – хотя и так думал все дни, только что во сне не думал, и так ничего и не придумал: а что тут придумаешь? – сел в стороне на камень с северной стороны, в тени, и тут увидел его, мэтра. Я-то представлял его себе таким противным, как жаба, а оказалось, что он длиннющий, лицо узкое, глаза страшные, суровые. Руки – хваткие, сильные. Он был куда быстрее, мощнее всех своих рабочих, подгонял, кричал, показывал, – словом, я любовался им, как любуются жонглером или акробатом, только мэтр был, конечно, куда как величественнее.

Что-то зеленое качнулось слева от меня, и когда я поворачивал голову, я уже знал, что увижу ее – она сидела и тоже смотрела на мэтра, хотя мне казалось, что я чувствовал на себе ее взгляд.

– Он какой-то страшный, – сказал я.

Она будто бы была очень удивлена и даже мельком посмотрела в мою сторону:

– Нет, – сказала она, – он не страшный.

Ярко-ярко светило солнце, я почти слеп, смотря на нее, надеясь, что она еще раз повернет ко мне лицо, но нет, просто встала и ушла. Я тут же побежал в лавку и, пока бежал, почувствовал так ясно, что как бы там ни сложилось, а деньги я достану – не потому что я хочу всяких глупостей, а просто чтобы долго-долго смотреть ей в глаза. Нет, совершенно определенно: несмотря на свою несомненную красоту, она не вызывала во мне ни капли мужского чувства.

Говорят, когда замок перестраивали, окно здесь, в подвале, специально прорезали так, чтобы из него был виден только крест над апсидой, больше ничего – чтобы ничто не отвлекало от самого главного. Вчера через это окошко мне кинули несколько монет – бог знает, зачем. Теперь-то они мне не нужны. Это тогда я понял, что живу среди денег, в окружении денег. Деньги были у хозяина в конторе и у хозяйки в спальне. На поясах покупателей и – тяжелые золотые экю – в подкладках курток клиентов. Я бежал с рулоном испанского сукна через город – и за каждым окном были деньги; где-то мало, почти ничего не было, а где-то было много – куда больше, чем мне нужно было. Это наполняло меня злобой, но даже больше – удивлением; я никак не мог взять в толк, как же это вокруг столько денег – везде, везде, – а я паршивые две сотни должен обменять на пять лет своей молодости. Очень скоро деньги захватили мою душу полностью, весь мир я видел как бы в слегка желтоватом отсвете.

Прошло с неделю или около того – она пришла в лавку. Хозяина уже не было, жирный солнечный свет проливался в лавку с улицы, и с седьмым боем часов она скользнула внутрь. Я закрыл дверь (ни о чем не думая; просто я всегда так делал с седьмым боем), и мы очутились в закрытой лавке вдвоем. Она прошла вглубь, уселась, поджав ноги, на сложенные под окном тюки, посмотрела на меня (я не видел ее глаз, только чувствовал) и сказала тихо:

– Что ты молчишь? Рассказывай.

– Что?

– Как что? Не знаю. Расскажи про свой товар.

Я что-то замямлил – в целом было понятно, что я не готов вот так вдруг начать что-то рассказывать.

– Ну что же ты. Тогда давай я. Садись.

Я облегченно вздохнул и сел рядом с ней – на рулон, по которому она провела ладонью. Тюки, рулоны, отрезы, образцы, конторка и гобелены на стенах были залиты мягким золотистым светом, пахло сухой и теплой пылью. Она откинула голову назад и начала протяжно:

– Когда-то, когда Собора еще не было... – по ее рассказу выходило, что святой (тот самый, который гонялся за девой, или нет – не знаю, не спросил) решил построить на красивом месте у реки храм, и начал строить один, а потом ему стали помогать звери – медведи приносили деревья, лисы и волки прикатывали камни, зайцы таскали мох, и работа пошла у него так быстро, что очень скоро над лесом поднялся купол, и его стало видно из соседних деревень, и люди пришли посмотреть, увидели святого и зверей, но решили, что он колдун, раз ему повинуются хищники, напали на него и убили. И только когда к телу его сошлись звери и слетелись птицы, и оно стало благоухать и мироточить, люди поняли, что это святой, похоронили его под алтарем и стали строить дальше храм сами, а заодно и поселились вокруг храма.

Я смотрел на ее профиль, на то, как двигались ее губы и подбородок, слушал и никак не мог понять, выдумывает она или нет. Поэтому когда она закончила, я спросил:

– Это что, все правда?

Она повернулась ко мне, подняла ладонь и провела по моей щеке.

– Ты всегда такой глупый или только со мной вместе? – спросила она со смехом.

Я был ошарашен ее прикосновением, к тому же мне стало вдруг страшно жарко, как будто бы меня вскипятили, – словом, я оцепенел и не мог пошевельнуться, а она придвинулась ко мне, наши носы чуть не касались, я видел только ее огромные глаза, в них, казалось, что-то очень медленно ворочается (сейчас я думаю, что это было отражение крутившейся в лучах солнца пыли), а она зашептала:

– В крипте лежат гробы со всеми епископами, служившими в Соборе. Они ждут ангела, который вострубит, лежат в полном облачении, чтобы как только Господь воскресит их, явиться пред Его очи в подобающем виде и воссесть рядом с Ним.

Наверное, я очень глупо смотрелся со стороны: она хохотала, глядя на меня, и чем слаще она заливалась, тем глупее я себя чувствовал – даже не потому, что я чего-то не понял, а потому что мне было приятно, что она надо мной смеется, я готов был сидеть и сидеть, сердце ныло от счастья.

Два дня я думал, прикидывал варианты, взвешивал решение: к вечеру субботы я понял, что единственное, что мне остается, – спуститься в крипту Собора. Судите сами: откуда мне взять две сотни? Заработать? ха-ха. Грабить? я не умею. Просить? не у кого. В то же время, если под полом Собора и в самом деле лежит десяток гробов, и в каждом – епископ в полном облачении, то ничего не стоит выковырять пару камешков из любой митры, а потом у городских ворот отдать их какому-нибудь купцу – да, за цену вдесятеро меньшую настоящей, но больше мне и не нужно. Решительно: у меня не было ни одного другого варианта. Я успокоился, когда понял это.

Следующим утром на службе я проскользнул в южный неф и рассмотрел вход в склеп: это были четыре высокие ступени вниз и там, в тени, низкая дверь с тяжелым замком. Снизу поднимался тошнотворный сырой запах. Когда запели «Sursum Corda», я ушел из Собора: мне предстояло придумать, как открыть замок. Поскольку все уже было решено, ждать не имело смысла – я хотел как можно скорее совершить задуманное.

На площади у Собора я увидел Мартина; занимался он тем, что складывал из камешков некое подобие домика, потом решительным жестом рушил домик и тут же возводил его заново – ясно было, что он ждет, чтобы открылся кабак. Я сел рядом с ним. Он в очередной раз водрузил камешки друг на друга и махнул рукой:

– Р-р-р-раз! Эх, дьявол. Ну что, все поют?

Я сказал, что поют. Мартин поднял голову к башне и протянул к ней руку (я понял, что он

каким-то образом уже пьян):

– Вот так вот бы взять тебя – р-р-р-раз! – Потом он повернулся ко мне: – Выпьем?

Я сказал, что сегодня не могу, и Мартин сразу потерял ко мне интерес. Уходя, я видел, как он с остервенением лупит камнем по своему очередному сооружению.

Мне так и не пришло в голову, как можно открыть замок на тяжелой двери в склеп, однако случилось вот что. На следующий день в лавке я увидел, как старуха Борода (так ее называют за – почему-то – усы, которые растут у нее на верхней губе) тащит к себе под подол отрез муслина. Хозяин в это время вел расчет с поставщиком, а я в тени переворачивал рулоны. Увидев, что происходит, я мгновенно, но очень тихо подскочил к старухе и схватил ее за костлявую лапу. Борода аж зашипела. Первым моим порывом было кликнуть хозяина, чтобы сдать ему старуху, которую ненавидел весь квартал, однако потом я вспомнил, что говорят про нее, – ведьма. Тогда я зашептал ей в ухо, что отпущу ее, если она научит меня открывать любые замки. Борода извивалась, кряхтела, но я держал ее тем крепче, чем яснее понимал, что это – мой единственный шанс. Наконец она повернула ко мне свое волосатое лицо, из ее маленьких глазок – настолько глубоко посаженных, что, казалось, они сидят у нее прямо внутри головы, – сочилась ненависть, я скривился от отвращения, но и она, должно быть, увидела на моем лице решительность, потому что, мгновение поразмыслив, вглядываясь в меня, она проскрипела, еле приоткрыв мохнатую щель рта, чтобы я отпустил ее, а вечером приходил к ней:

– И на один полный оборот Солнца не будет ни одного замка в мире, который устоял бы перед тобой, – сказала она, и я понял, что моя взяла. И то сказать: что ей оставалось? Если бы трое свидетелей уличили ее в воровстве (а ведь в лавке, кроме нее, как раз и было трое), ей в следующую же субботу на площади отрубили бы руку.

Я потребовал, чтобы она поклялась, что не обманет, и она поклялась Святой Девой. Потом Борода высвободила руку, растянула рот и выскользнула из лавки. Муслин остался у нее, но уже было поздно.

Я с нетерпением ждал вечера и, закрыв лавку, во весь дух побежал к Бороде. Дверь к ней была закрыта, и я стал стучать поднятым с земли камнем. Стучать пришлось долго, причем я уверен, что все это время с той стороны двери я слышал сопение и смешки. Наконец дверь отворилась, я сделал шаг вперед и провалился во тьму. Дверь за мной захлопнулась. Я не двигался, глаза мои привыкали к темноте и постепенно я стал различать очертания комнаты – сундук, пучки трав под потолком, мешки в углу, горшки на полу, лавка, – впереди прямо передо мной стояла старуха, которая вдруг протянула ко мне ладонь и сказала:

– Руку!

Я не раздумывая вложил свою ладонь в ее руку. Она цепко ухватилась за мои пальцы и развернула мою кисть вверх. Пока я недоумевал, зачем это нужно, пока моргал, стараясь заставить свои глаза быстрее привыкнуть к тьме, сверху к моей руке мелькнула какая-то большая треугольная тень, и страшная боль разорвала мою ладонь. Я закричал. Борода сделала шаг ко мне и зажала мне рот свободной рукой.

– Молчи, дурак.

Я не обиделся на дурака, но замолчал – очень уж противно было чувствовать ее руку на своем лице. Тогда она потащила меня вглубь дома, там, в комнате с горящим очагом и столом посередине, она насыпала на мою ладонь (я увидел, наконец, три рваных раны и толчками вытекающую кровь) какой-то смеси из стоявшего на столе горшка и стала растирать, что-то бормоча и нашептывая. Может быть, она даже плевала на мою ладонь – не могу точно вспомнить, потому что в тот момент я был сосредоточен только на нечеловеческой боли, которую испытывал. Сколько это продолжалось – тоже не могу сказать; может быть, долго. Последнее, что сделала Борода, – она взяла ленту чистой ткани и перемотала мне ладонь, строго запретив снимать до утра.

Потом она стала выталкивать меня из дома, ругая дураком и говоря, чтоб я забыл к ней дорогу. В передней комнате (глаза мои уже хорошо привыкли к темноте) я увидел висящую над входной дверью летучую мышь; мне даже показалось, что ее глаза мерцали багровым светом.

Когда утром я размотал руку, то увидел три чуть заметных полосы поперек ладони, больше ничего.

Я вынужден рассказывать все быстрее и быстрее – пропуская множество подробностей, таких как погода (она все портилась и портилась с каждым днем, становилось все холоднее, но дождя пока не было, только ледяной ветер носил по улицам тучи колкой пыли), мои отношения с хозяином и хозяйкой (по правде говоря, они сократились до минимума, эти отношения; с хозяином я вел разговоры только по делу, а от хозяйки старался прятаться) или то, как именно падал оранжевый солнечный свет утром, когда я бежал отнести очередной заказ, – все это, я знаю, имеет исключительную важность лишь для меня, к тому же, обменивая все эти вещи на слова, я боюсь спугнуть их. В конце концов, правда заключается в том, что у меня почти не осталось времени, так что пооглядываться по сторонам не получается – успеть бы добежать до конца истории, пока еще можно.

Я не вижу солнца, его от меня заслоняет Собор, да и слишком высоко мое окно, но апсида начала уже выделяться на фоне неба, приглядевшись, можно увидеть, какого цвета крыша (впрочем, это, может быть, только если заранее знать, что красного – но кто же этого не знает?), и то и дело мне кажется, что луч солнца вот-вот вспыхнет на трех ржавых прутьях в окне. Главное же – меняется запах: запах ночной крысиной сырости уходит, и – как знать, не кажется ли мне? – сюда, вниз, проваливается запах из пекарни, в печах которой уже подрумяниваются хлеба и слоеные булочки. Меня все чаще трясет, и время от времени я проваливаюсь в забытье – сном это не назовешь, потому что едва я окунаюсь в темноту, как из нее навстречу мне выпрыгивают существа столь ужасные, что я, вопреки небывалому своему желанию спать, все-таки заставляю себя открыть глаза. Должно быть, от того, что я постоянно тру их кулаками, из них все время сочится влага – вкус у нее, впрочем, не соленый, а горький.

На следующий день – во вторник, стало быть, три дня назад... нет, уже четыре, – я работал в лавке как обычно, до закрытия, и даже вечером пришел домой перекусить (есть мне совсем не хотелось, но я решил, что важно показаться на глаза и не вызывать подозрений своим долгим отсутствием). Кое-как затолкав в себя тушеную капусту, я сделал вид, что страшно хочу спать, скользнул под лестницу и лишь через четверть часа втихаря пробрался за дверь. Если что, такое приключение можно было бы объяснить подъюбочными делами – шел к девице. В конце концов, не такой уж это было бы неправдой – в частности и потому, что придя на площадь, я нашел там ее.

Было темно, но в свете костра, который горел с краю на площади, я видел ее профиль – она сидела, высоко задрав голову, – а когда я подошел и сел рядом с ней, то разглядел и красный отблеск в глазах (в глазах, говорю я, хотя видел только один). Я был странно спокоен – как будто шел что-то купить по мелочи, а не грабить могилы, – но она, казалось мне, была сама не своя: стоило мне сесть рядом, как она резко обернулась ко мне – глаза ее были темнее обыкновенного и, видимо, из-за костра, создавалось впечатление, будто глубоко внутри ее глаз что-то медленно-медленно ворочается, – а потом так же порывисто схватила мою руку (не ту, другую) и сжала ее. Несмотря на то, что у меня тут же закружилась голова и тело мое почувствовало себя так, будто стало куда-то падать, падать, – несмотря на это я все-таки хорошо помню, что нежная узкая ее ладонь была холодна, как камень.

Потом она потянулась губами к моему уху и прошептала:

– Сегодня будет дождь, – я не знал, что сказать: ну будет и будет.

Помолчав, она снова повернула лицо ко мне, и я мог долго не отрываясь смотреть на нее. Потом она взяла мои пальцы и поднесла их к своей щеке – я тут же отдернул их, так это было неожиданно. Глядя на нее, всматриваясь в ее глаза, следуя взглядом за линиями ее губ, я сам, кажется, пропадал куда-то, – а это ее прикосновение как будто напомнило мне обо мне. Тогда она отпустила мою ладонь и поднялась на ноги. Волосы ее раздуло порывом ветра, и опять мне показалось, будто язык зеленого пламени лизнул их. В этот момент я вдруг сам схватил ее за запястье – очень мягко, впрочем, почти не касаясь.

– Подожди меня здесь, – прошептал я, – или приходи сюда ближе к утру.

Она высвободила руку, едва заметно сжав на мгновение подушечки моих пальцев, и шагнула в темноту – туда, где я уже не мог ее видеть.

Оставалось самое главное.

Из костра на краю площади я взял обугленную ветку, подул на нее: краснеет, – хорошо. В круге около костра Собора не было видно – вообще ничего не было видно; тьма хоть глаз коли, – но стоило отойти от огня и немного подождать, как становилась ощутима его каменная громада, а в небе проступало какое-то бурление. Воздух был холодный, порывы ветра резкие, как пощечины, и приносили мокрый освежающий запах. На противоположном конце площади, у кабака, слышно было, как допивают пьяницы. Я подошел к Собору, положил руку на стену рядом с порталом и осторожно, но как можно быстрее направился к северной стене – там я рассчитывал открыть маленькую, прятавшуюся в тени аркбутанов дверцу.

Нащупав дверь в Собор (низенькая, она была едва мне по плечи), я чуть подул на ветку и увидел внушительный засов. Видно, впрочем, было плохо: я стал ощупывать засов, пытаясь понять, как он снимается, и вдруг обнаружил, что он сломан. Я обрадовался, решив, что это знак моей грядущей удачи, юркнул внутрь и затянул дверь. Теперь, внутри гулкой каменной громады, я мог слышать, как бьется мое сердце.

Хотя внутри Собора никого не было и быть не могло, я все-таки старался не шуметь. Чуть-чуть подраздув ветку, я стал пробираться к алтарю, а потом обходить его: дверь в склеп была с южной стороны. По дороге я чуть было не уронил тяжелый канделябр, еле удержал его и невольно выругался, тут же перекрестившись, а потом больно запнулся о скамейку, стиснул зубы, но не закричал. Подойдя к ступеням, ведущим в склеп, я достал из мешка палку с просмоленным концом – таких у меня было с собой несколько, – и поджег ее от ветки. Разгоревшись, она стала светить хоть неярко, но ровно. В тусклом этом свете я вновь увидел огромный замок на двери – до сих пор я не задумывался, как именно открою его: раз уж Борода не дала мне никаких инструкций, думал я, вопрос должен решиться как-то сам собой. И в самом деле: когда я недолго думая спустился по ступеням вниз (каждая ступенька была холоднее предыдущей, а на последней уже чувствовалась скользкая сырость) и раненой рукой провел по замку, внутри него вдруг что-то как будто коротко простонало. Я слегка потеребил замок, и он легко, как сухое печенье, развалился пополам. Только теперь я понял, что и засов на уличной двери был цел, пока я не касался его.

В первую секунду я подумал, что не смогу дышать в склепе, такая удушливая вонь полилась оттуда, стоило мне отодвинуть дверь. Однако пока я собирался с духом, запах стал менее ощутимым (теперь я думаю, что это просто я так быстро привык к нему), и уже ничто не мешало мне шагнуть вперед. Я посветил в дверной проем факелом и пошел. Ноги мои оказались в воде.

Воды было немного – по щиколотку, не больше; страшнее всего был плеск, который я невольно вызвал, – звук заметался меж каменных стен, попрыгал по поверхности воды, и вдруг стало ясно, сколь велика зала, в которую я попал. Впрочем, не только: шум воды вызвал к жизни и другие звуки – шорох, шепот, топот. Я стал медленно, рассекая голенищами сапог поверхность воды, двигаться вперед; света от факела хватало, чтобы видеть на пару шагов во все стороны – за пределами этого светового пузыря клубилась жирная, маслянистая темень. Разлитая в воздухе затхлая вонь была ужасна, но, наверное, я бы даже не понял этого, если бы не чадил своим таким обычным запахом горящей смолы факел в моей руке. Сколько бы я ни старался идти бесшумно, это, конечно, не получалось (вплоть до того, что факел потрескивал при горении), и скоро мне стало казаться, что меня окружает, за мной следует целая толпа каких-то сопящих, сморкающихся и хрюкающих существ. Теперь я думаю, что это был обман слуха – как, бывает иногда, в абсолютной тишине слышишь как будто какой-то посвист.

Мне пришлось пройти шагов двадцать, прежде чем я увидел перед собой камень. Я не сразу понял, что это могила – но что здесь еще могло быть? – высокий, мне по пояс постамент, на котором лежал большой каменный гроб, накрытый тяжелой плитой. На камне были выбиты какие-то слова, но я и так-то не силен читать, а тут еще стоя по щиколотку в воде, при тусклом свете факе-

ла... Тем более что факел не освещал всю поверхность плиты одинаково, и мне почудилось, будто с дальнего конца могилы шмыгнула прочь какая-то скользкая тень. В любом случае, я не хотел открывать первую попавшуюся могилу – бог знает, сколько могло понадобиться на это времени; я вообще хотел обойтись одним гробом, а для этого нужно было найти самый богатый.

Словом, я обошел постамент с гробом и стал двигаться дальше. Через десяток шагов я снова наткнулся на постамент, точно такой же, как первый. Потом еще раз и еще. Я шел все время только прямо и прямо, но в какой-то момент я засомневался, а не кружу ли я от могилы к могиле, принимая две за десяток. Мне казалось, я прошел уже так далеко, что под землей должен был выйти даже за пределы Собора. Ясно, что так мне казалось из-за того, что я очень медленно шел. Вокруг меня все продолжало скрестись, булькать, похихикивать; стоило мне остановиться, все затихало, тишина становилась такой, что даже слышно было, как задувает где-то сквозняк, а где-то капает с потолка, – но стоило мне сделать шаг, как гомон вокруг меня взрывался с новой силой.

Наконец, холодея и еле поднимая потяжелевшие ноги, я дошел до той могилы, которую искал. Я сразу понял это: постамент был выше предыдущих, а вместо простой плоской плиты с буквами сверху лежал настоящий резной камень, изображающий сцену Страшного Суда: мертвые поднимались из земли и выстраивались в очередь к Христу, который одних отправлял наверх, к ангелам, а других, б льшую часть, – вниз, где их поджидали черти с вилами и горели костры. Факел мой уже почти дотлевал, я положил его сверху на могилу, достал из мешка крепкую палку, которую накануне специально для этого заточил, и стал вгонять ее в щель под резной крышкой. Удары камня о палку получались такие громкие, что эхо от них, кажется, отдавалось даже наверху, в Соборе; между ударами проступала звенящая тишина. Меня лихорадило, но я заставлял себя бить реже и крепче. Когда рычаг мой оказался наполовину вогнан, я положил камень обратно в мешок, уперся плечом в палку и стал поднимать ее.

Мне удалось сдвинуть плиту на локоть, и я решил, что этого достаточно – иначе она не дай бог упадет. Сдерживая дрожь в руках, я достал новый факел. Теперь я увидел, что лежит под плитой. Я увидел истлевшие кости, на которых лежало расползшееся рванье, бывшее, очевидно, когда-то епископским облачением. Мгновения, пока я рассматривал инкрустированные митру и посох, перстни на пальцах, камни, обвалившиеся с одежды и лежащие просто вперемешку с костями, – было тихо, но понял я это только после того, как снова раздались щелкающие, скрежещущие, топочущие звуки. Они как будто подстегнули меня; я отбросил робость и запустил руку в гроб.

Внутри кости и камни лежали в чуть жидкой грязи. Вытягивая пальцы, я вылавливал из нее мелкие красные и зеленые искорки. Шум не прекращался, факел чадил и мигал, тьма вокруг двигалась, перекатывалась сгустками и все время грозилась сомкнуться над моей головой. Мне стало казаться, что из темноты проступают фигуры – то это были осторожные трехпалые лапы, то раздувающиеся огромные ноздри, то извивающиеся острые хвосты, – все они двигались на периферии взгляда: стоило повернуть голову, они тут же замирали и сливались с темнотой. Я стал слышать стоны и крики, полные скорби и отчаяния – как будто кто-то хотел докричаться до меня с другой стороны мира, разжалобить меня или внушить ужас. Я подцепил ногтем большой камень из навершия посоха, потом приступил к митре и почувствовал на себе взгляд мертвеца. Череп был абсолютно пустой, и стоило сосредоточить взгляд на неровных провалах глазниц, видна была только пустота. Но когда я возвращался к камням, я вновь чувствовал, что череп подглядывает за мной, еле сдерживая смех.

Мои руки прыгали от одного камня к другому, я неловко дергал пальцами, камни закатывались куда-то вглубь гроба, и я уже не доставал их; я решил не смотреть ему в глаза, терпеть, пусть, в конце концов, смотрит, какая разница. К треску, ударам, крикам теперь прибавилось моя собственная кровь, которая стучала в ушах, как молот по наковальне. Последнее, что я решил взять, – кожаный мешочек, лежавший на ребрах. Вытряхнув его, я увидел гладкий, но неровной формы красный камень – он был тяжелый, и внутри него как будто что-то вспыхивало. Я зажал камень в кулаке, и нечеловеческий крик вырвался из моей груди: на моем запястье сомкнулись костяные, увешанные золотыми перстнями пальцы. Я рванулся было назад, но непреодолимая

сила потащила меня внутрь гроба и притянула мое лицо к черепу мертвого. Я продолжал кричать, а мертвый хитро смотрел на меня и в голос хохотал. Смех его был злорадный, издевающийся. Наконец та же рука с болтающимися на костях перстнями с бешеной мощью подняла меня в воздух, оттолкнула прочь, и я отлетел на несколько шагов назад, больно ударившись головой о край соседнего постамента.

Через несколько мгновений (так мне показалось, что прошло несколько мгновений, но точно я не знаю, конечно) я очнулся в темноте, весь мокрый; ладонь моя продолжала судорожно сжимать неровной формы камень. Я опустил его в карман, к другим собранным в гробу камням, и тут почувствовал, какое тяжелое у меня платье. Встав на четвереньки, я пошарил руками вокруг: факела нигде не было, мешка тоже. Опираясь о могилу, я встал: с меня стекала вода, ноги подкашивались от слабости, руки дрожали. Темнота вокруг была чуть заметно окрашена багровым. Обернувшись, я увидел выход: за дверью, которую я оставил открытой, что-то светилось. Шум, который слышал я все это время, сделался отчетливым и громким. В ужасе я двинулся в сторону двери. Первые несколько шагов дались мне с трудом, зато потом я почти побежал, и все отчетливее видел, какое возмущение воды поднимают мои ноги, все больше различал в окружающей темноте каменные гробы и рассыпающиеся по ним крысиные тени. Добежав до двери, вцепившись в нее, я выскочил на ведущие вверх ступени (вода, отпуская мои ступни, с сожалением хлюпнула) и застыл в ужасе: то, что в подземелье я принимал за шепоты и почесывания, топотания и подхихикивания вырвавшихся из заточения жителей ада, было совсем не то – вокруг меня стоял оглушительный грохот пожара.

Горели хоры с северной стороны и часть трансепта: леса казались раскаленным докрасна металлом, хрустели колонны трифория, стропила, рассыпая целые облака искр, падали с высоты на тяжелые скамьи, разламывая их, как прутики, дым ураганом уносился куда-то вверх и оттуда стекал по стенам, за окнами, было видно (они светились, хоть и не как днем, но все же ярко, только другим, зловещим и грязным светом), полыхало еще хлеще; из оцепенения меня вывел взрыв лопающегося стекла – водопадом рухнул в пламя витраж – ангел, встречающий Марию у пустого гроба, – причем я почему-то почувствовал злорадство, вспомнив, как в прошлом году епископ всем уши прожужжал о щедрости графа.

Путь к двери, через которую я пробрался в Собор, был отрезан, и я рванул к западному порталу – а что мне было еще делать? Я бежал, утопая в плотном дымном киселе, чувствуя, как дым начинает забираться мне в нос и в рот. Больше всего я боялся споткнуться и упасть, и все-таки не мог заставить себя бежать помедленнее. Створки ворот вырастали надо мной, как грозовая туча, – я бежал к ним, слыша, как с той стороны бьют чем-то тяжелым, еще не зная, что буду делать, когда добегу, бежал, беспомощно выставив руки перед собой.

Что было дальше, я помню смутно. Я добежал до двери, навалился почему-то всем телом на засов, в тот же момент, кажется снаружи раздался удар, засов с хлестким звуком треснул пополам, створки распахнулись и одной из них меня отнесло в сторону, в тень, а внутрь Собора ввалилась толпа с огромным бревном-тараном: бревно увлекло их вперед, причем тех, кто был впереди, оно прижало к полу, и от боли люди истошно заорали. Впрочем, может быть, и не было никакого звука удара снаружи.

В людской суете – кто-то поднимал бревно, кто-то тянул людей из-под него, кто-то кричал «воды! воды!», люди бросались в клокочущее дымное жерло притвора и отпрыгивали обратно, слышны были повелительные окрики, но понять, что именно приказывалось, было невозможно – я на четвереньках выполз на паперть и стал жадно глотать свежий, влажный от моросящего дождя воздух.

Стоило мне сделать три вдоха полной грудью, меня догнало понимание того, что я остался жив – выжил, хотя еще несколько минут назад не дал бы за собственную жизнь ни гроша. Слезы хлынули из моих глаз: я понял, что плакал все это время – от дыма, – но теперь – с новой силой – это были слезы восторга и торжества. Тут же я сжал в ладони карман, полный цветных камней: сознание выигранной битвы душило меня, мне хотелось прыгать, кричать, хохотать и трясти людей

за руки, – но я просто, глупо улыбаясь, поднял голову. В толпе – множество людей нервно бегали по площади, кто-то бежал к Собору, другие бежали от него, кто-то нес воду, вельможи гарцевали на лошадях и стегали простолюдинов, солдаты кричали, пытаясь организовать полубезумный людской рой, мелькали лопаты, ведра, искаженные лица, лошадиные крупы, палки, охваченный пламенем Собор выл, все это сливалось в апокалипсическую картину, как будто Страшный Суд уже случился, и это не солдаты графа, а черти палками гнали воскресшие души в адову пропасть, однако чуть поодаль, у края площади, еще большая толпа просто стояла и неподвижно, разинув рты, глядела на Собор и суету вокруг него, – и вот там, в этой как будто неестественно спокойной толпе, я увидел ее. Она стояла и смотрела прямо на меня.

Я поднялся с колен, отряхнулся, я был – взгляда мельком было достаточно, чтобы понять это, – весь в копоти, как копченая селедка, но, плюнув на это, я двинулся к ней – сначала пошел, а потом, поняв, что только так можно тут не выделяться, побежал. Я встал рядом с ней: она смотрела на горящий Собор, а я смотрел на нее. Сейчас я могу пальцем в воздухе очертить профиль ее лица: прямой высокий лоб, небольшой ровный нос, взлет верхней губы и горделивый переход нижней в узкий подбородок, – все это я воспроизвожу безошибочно, так хорошо я помню тот момент. Я спросил ее:

– Ты ждала меня?

И она, повернув ко мне лицо, сказала:

– Ждала.

Тогда я украдкой, чтобы никто не видел, показал ей свою добычу. Она скосила взгляд вниз, улыбнулась и, смотря мне прямо в глаза, запустила ладонь в мой грязный карман. Я оцепенел; она еще не смотрела на меня так, и больше всего в тот момент я боялся, как бы она не поцеловала меня.

Через мгновение она вынула руку. Я опустил взгляд вниз: на ладони у нее лежал – и казался в отсветах пламени живым – маленький красный, почти коричневый бугристый камешек. Ее улыбка стала как будто немного лукавой, она сжала ладонь, простым движением, как будто это был хлебный мякиш, отправила камень в рот и все с такой же улыбкой, без видимых усилий проглотила его.

В одно мгновение я почувствовал, как навалилась на меня вдруг нечеловеческая, как будто за все эти недели, усталость, я весь обмяк, я еле стоял, в голове шумело, я с трудом отдавал себе отчет, что происходит вокруг меня, главное, на чем я был сосредоточен, – лишь бы не свалиться на землю. Она продолжала смотреть на меня, в глазах ее горело отражение Собора, а волосы были зеленые, как речная тина. Она прижалась ко мне всем телом, приникла губами к моему уху и шепнула:

– Подожди здесь, – и скользнула вглубь толпы.

Было темно, отсветы и тени плясали на лицах и фигурах людей, причудливо искажая их, к тому же толпа, которая издалека казалась неподвижной, на самом деле оказалась текучей, шевелящейся, неровной – так что я вовсе не уверен в том, что действительно видел, как от Регины осталась вдруг короткая тень, и эта тень порхнула куда-то вверх и в сторону. Я остался ждать, как она и сказала мне.

Ждал я недолго: стоило мне повернуться обратно к Собору, как я почувствовал на своем плече тяжелую ладонь, и голос Мартина захрипел мне в ухо:

– А, ты здесь! – от него разило многодневным запоем. – Молодец! Красотища, правда?

Я посмотрел в его глаза: хотя он, конечно, был пьян, но эйфория и сдержанное торжество сильно трезвили его, он балансировал на высшей точке опьянения, оставаясь в сознании только благодаря тому мощному напряжению души, которое испытывал. Напряжение это искало выхода и снаружи тела – он сжал меня так, что у меня хрустнули кости, – впрочем, не держи он меня, я, вероятно, упал бы.

– Гляди, суконщик! Гляди повнимательнее, ты никогда больше не увидишь подобного великолепия! Сотни людей, десятки лет и целые сундуки золота, красота и строгость – все ради одной

этой ночи, понимаешь ты меня, а, дьявол тебя ети! Ради этого стоит строить, суконщик!

Он хрипел, махал рукой в сторону Собора – северный портал полыхал уже целиком, огонь поднимался до неба, освещая, казалось, полгорода, – у меня перед глазами все плыло, и я не заметил, в какой момент это началось, то есть когда я это заметил, все уже происходило: на меня показывали пальцами, неразборчиво кричали, люди медленно отходили от меня, крестились, другие валились на колени и отползали, корябая пальцами по земле, все больше взглядов устремлялось на меня, Мартин с изменившимся трусливым лицом пятился в темноту, я посмотрел вниз – из моего кармана – видно, пьяница-цементщик так по-медвежьи яростно сжимал меня, что разошлась и поехала предательница-ткань, – из моего кармана один за другим, то струйкой, то капельками, вытекали на каменную мостовую цветные – желтые, зеленые и так далее – искорки.

Кажется, я уже почти потерял сознание, но меня схватили. Рванул, будто сорвавшись с цепи, ветер, и дождь полил как из ведра.

Пока я торопливо заканчивал свой рассказ, солнце поднялось уже совсем высоко, так что даже я уже из своего крысиного подвала вижу и крышу апсиды (с этой стороны она только чуть-чуть тронута гарью), и ноги прохожих – один из них снова кинул мне медный обол, как будто я обречен на это издевательство, – и устланную сеном телегу, которая, скрипя и стуча, прокатилась мимо моего окна и остановилась в нескольких шагах. Я уверен, что эта телега предназначена для меня. До площади, где разложен и полит смолой костер, идти всего ничего – два раза «Отче наш» прочитать, – но ритуал требует, чтобы преступник был привезен на телеге, так что меня привезут на телеге, и связанного.

Мне предложат покаяться и поцеловать крест – конечно, я покаюсь и поцелую. Сильные руки затащат меня на постамент из сухих бревен и привяжут к столбу. На несколько мгновений я окажусь выше всей безбрежной толпы: справа от меня будут восседать красношапочники, передо мной живой цепью будет стоять гвардия графа, сам граф с семьей будет смотреть слева, с крыльца ратуши, а вся площадь до самого обугленного, обломанного, с выбитыми дверьми и обрушившимся северным трансептом Собора будет заполнена зеваками – мужчинами, женщинами, взрослыми и детьми. Там, в толпе, я увижу красную морду своего хозяина (на лице его будет сострадание, но глубоко, чтобы хозяйка не видела, запрятанное), увижу Мартина с серым трезвым лицом, на котором теперь навечно припечатана трусливая гримаса, увижу хромого турка, который потом пойдет варить ту вкусную кашицу, названия которой я так и не запомнил, мэтра Тома с искаженным от ненависти длинным лицом, старуху по кличке Борода, которая будет бубнить волосатой губой «дурак, дурак», Самсона-ростовщика, ребят, с которыми я гонял лапту или в кота на дереве, – да и все остальные сотни жующих, зевающих, болтающих, ухмыляющихся лиц будут мне смутно знакомы.

С ратуши опять раздастся клекот. Больно мне не будет, это я знаю точно; ведь на костре задыхаются – огню достается уже бесчувственное тело; я, измученный бессонницей, голодом и лихорадкой, потеряю сознание от первого же глотка густого ядовитого дыма.

Когда я перестану видеть площадь, толпу, Собор, я останусь наконец наедине с ней. Теперь я точно могу сказать, чего я хочу и как все будет. Я прижму ее к себе и осторожно поцелую. Она ответит мне и положит свои ладони мне на спину. Я буду пальцами повторять изгибы ее тонкого тела, гладить жаркую внутренность ее бедер, ловить губами ее соски, целовать шею и кусать мочки ее ушей, гладить волосы и смотреть, смотреть, смотреть в ее темные смеющиеся немного свысока глаза. И когда мы соединимся в одно счастливое неразрывное тело, нам будет и жарко, и сладко, и мокро – но слезы будут слезами умиления.

2011

Редколлегия журнала сердечно поздравляет Сергея Григорьевича Боровикова с 65-летием. Успехов, благополучия, новых книг!

Сергей БОРОВИКОВ

В РУССКОМ ЖАНРЕ–43

***

Давно не перечитывал «Тараса Бульбу». Повесть как-то зависла в моем непрестанно обновляемом чтением других произведений представлении о Гоголе. Причина, думаю, в том, что самый текст в памяти невольно заслонялся с детства знакомым сюжетом, – вплоть до оброненной люльки. И напрасно не перечитывал. А может быть и к лучшему – в других произведениях все реже удается неожиданно вздрогнуть от поразительных и потрясающих слов.

Сейчас же я о другом, о чем конечно же и до меня писали, – но не могу же я попытаться в связи с этим небольшим наблюдением приблизиться к Эвересту, нет, лучше сказать к Казбеку того, что написано о «Тарасе Бульбе». В первых строках первой главы сказано о сыновьях: «Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которых не касалась бритва».

И вот прошла лишь ночь, и наутро собирающиеся с отцом в Сечу бурсаки преобразились – здесь шаровары шириною в Черное море, но даже и вот: «Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их...»

Гоголь ошибся?

Но Гоголь никогда не ошибался. Он просто вообразил вчерашних бурсаков уже козаками, а уж если шаровары в Черное море, так и черные усы вмиг вырастут.

Еще раз прошу извинения за то, что кто-то это уже давно заметил и до меня напечатал.

***

Я владею письмом по старой орфографии. Не благодаря филфаку, где был спецкурс старославянского, его-то я как раз не знаю. А по той старой, упраздненной в 1918 году орфографии, отмену которой не могли простить большевикам Бунин и Репин. В период увлечения поэзией «серебряного века» я переписывал в тетрадки целые сборники стихов, которые удавалось добыть на короткий срок. Помню богатое издание «Будем как солнце» Бальмонта и квадратные, в бумажных обложках сборники Игоря Северянина.

***

Бунин в период жизни с Цакни в Одессе не раз жалуется в письмах на живущего в их доме нахального греческого мальчишку Юрия Морфесси – будущего «баяна» кабацко-цыганского репертуара. Вера Николаевна в «Жизни Бунина» пишет, что в эмиграции они встречались. Трудно вообразить эту встречу.

***

Журнал «Урал» анонсирует: «В первом номере публикуется роман шестнадцати авторов “Шестнадцать карт” – произведение почти уникальное. Почти – потому что подобный прецедент в отечественной литературе все же был – опубликованный в 1927 году в “Огоньке” роман “Большие пожары”, авторами которого были И. Бабель, А. Грин, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Леонов, А. Новиков-Прибой, А.Толстой и другие известные писатели. <...> Григорий Аросев, инициатор сего амбициозного проекта, пишет: “Осмелимся предположить, что роман “Шестнадцать карт” получился не хуже “Пожаров”. По меньшей мере, он гораздо складнее, и в нем нет таких смешных

несоответствий, какие наблюдаются у старшего брата. Хотя, конечно, авторитет Бабеля, Грина и прочих никто сомнению не подвергает"».

Хорошо. Только уральские коллеги явно не ведают, что прецедент «Больших пожаров» был не раз продолжен.

В 1964 в приложении к «Известиям» «Неделя» был опубликован коллективный роман под названием «Смеется тот, кто смеется». Затеял его Валентин Катаев, который и написал первую главу. А вот остальные авторы по порядку: Анатолий Гладилин, Юрий Казаков, Лев Славин, Василий Аксенов, Илья Зверев, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Георгий Владимов.

А еще группа фантастов опубликовала в 60-е годы в ленинградском журнале «Костер» роман-буриме «Летающие кочевники». Тогда первую главу написали братья Стругацкие.

А еще спустя 40 лет главный редактор газеты «Новые времена в Саратове» С. Боровиков вспомнил о хорошо забытом старом и предложил коллегам сочинить коллективный роман. Написать первую главу согласился один из авторов романа «Смеется тот, кто смеется» Владимир Войнович. Он же придумал и название «Долг платежом зелен». За ним последовали Алексей Слаповский, Роман Арбитман, несколько саратовских журналистов, но идея мало кого увлекла, издатель затею не одобрял, сюжет меж тем запутывался... Однако Слаповский все-таки сумел его закруглить в последней главе.

***

« – Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве можно это делать!»

Булгаков. «Мастер и Маргарита».

« – У тебя есть талант! Только ты не тово... не налегай на портвейн. После водки этот сиволдай – смерть!»

Чехов. «Юбилей».

«Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром».

Булгаков. «Собачье сердце».

«Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно-бледным».

Чехов. «Гриша».

***

Сцена в «Собачьем сердце», где проф. Преображенский берет Шарика, написаны не без влияния «Каштанки», которую подбирает клоун.

***

В булгаковских «Записках покойника» мне очень нравится следующее место:

«...полный человек в пенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.

– В вашем рассказе чувствуется подмигивание, – сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением».

Но вот не какой-то советский редактор, а Корней Чуковский записывает в дневнике 18 марта 1922 года:

«У Замятина есть рассказ «Пещера» – о страшной гибели интеллигентов в Петербурге. Рассказ сгущенный, с фальшивым концом, и, как всегда, подмигивающий – но все же хороший».

Что же, значит, было тогда в ходу это выражение, обозначающее политическую двусмысленность?

***

Смотрел в ТВ какой-то советский детектив, где главным криминалом – была валюта. И начал вспоминать...

Мы в детстве собирали монеты и бумажные деньги. Были у меня и огромные екатерининские пятаки, и изящные серебряные гривенники времен Александра II, двадцатипятирублевки с портретом Александра III, и даже огромные «Катеньки» – сторублевки с портретом Екатерины II, и крохотные несерьезные керенки. Были невесомые алюминиевые марки ГДР, монгольские монетки с дыркой, китайские бумажки, болгарские монетки, польские бумажные злотые с портретами вельможных панов. Тайком показывали мы, у кого были, рейсхмарки. А кое-кто и золотой пятирублевик с бородатым Николашкой.

Потом, уж не помню когда, все чаще в разговорах взрослых стало звучать страшное слово «доллар». От одного его названия уже веяло шпионажем и государственной изменой. А тут еще подоспел широко озвученный по радио и ТВ, в киножурналах и прессе расстрел по приказу Хруща валютчика Яна Рокотова.

Я не помню, когда впервые увидел окаянную бумажку, но хорошо запомнил случай, когда мы с первой женой решили заглянуть в Сочи в магазин «Березка», торговавший на валюту. Тогда в 1965 году, как и во времена Торгсина, любую валюту у советских граждан принимали свободно. Это затем началась продажа на пресловутые чеки трех расцветок. Дальнейшее напомнило известную сцену из романа «Мастер и Маргарита».

Никакой валюты у нас не было, просто решили поглазеть, и тут меня ожидало жестокое унижение. Моя жена, одевавшаяся очень ярко и модно, легко вошла внутрь магазина мимо массивного швейцара. Я же замешкался, притом нес в дырчатой авоське разнообразные продукты питания, к тому же носил вытянутые на коленках китайские штаны «Дружба» и потертые сандалии на босу ногу.

И мордатая сволочь преградила мне путь, требуя предъявить валюту! Раздавленный, полный патриотического гнева, я остался на улице. То, что спутница моя не разделила моего унижения, а долго еще путешествовала в музейно-сказочных залах «Березки», моей любви к ней не прибавило.

***

На пляже в Коктебеле в начале 70-х длинноволосый парень пел под гитару:

Пускай работает рабочий
Иль не рабочий если хочет
Пускай работает кто хочет
А я работать не хочу

Хочу лежать с любимой рядом
Всегда вдвоем с любимой рядом
И день и ночь с любимой рядом
А на войну я не пойду... –

Неподалеку наливался кровью и без того не бледный Иван Стаднюк. Наконец, не выдержал, вскочил и стал прогонять парня с пляжа. Плечо к плечу с ним встала его жена, которая обратилась уже не к парню, а к пляжному писательскому сообществу с интерпретацией текста Хвоста:

– Хочет на своей Гале (Хале) лежать! Работать не хочет. И на войну не пойдет!

Парень не ушёл, но больше не пел. Неразгаданным осталось, почему m-m Стаднюк называла какую-то Галю, к тому же переместила поющего «с любимой рядом» – прямиком на любимую.

***

Неотъемлемая писательская привычка – разглядывая незнакомого человека, фантазировать, воображая его происхождение, биографию, характер. Меня от неё отучили в молодости Хемингуэй, а позже эпизод собственной биографии.

В романе «Иметь и не иметь», который я в пору увлечения Хемингуэем полагал лучшим из его романов, читатель близко знакомится с жизнью контрабандиста Гарри Моргана, в которой главное его семья, дочери и негаснущая любовь к жене, Марии. Затем возникает писатель Ричард Гордон, ведущий безобразную развратную жизнь циника и пьяницы. И вот как-то встречается ему местная женщина. «Посмотреть только на эту коровищу, – подумал он, – интересно, какая она может быть в постели? Что должен чувствовать муж к жене, которая так безобразно расплылась? С кем интересно он путается тут, в городе?» И далее Гордон все фантазирует про некрасивую толстуху и ненавидящего ее воображаемого мужа, намереваясь вставить их в сочиняемый роман.

Читатель уже готов поверить Гордону, когда глава резко, словно ударом, заканчивается фразой: «Женщина, которую он встретил, была Мария, жена Гарри Моргана...»

Случай из моей практики, естественно, юмористического свойства.

Я ехал в Москву (конец 70-х) на заседание т.н. «Большого» совета СП СССР по критике, чтобы предстать среди прочих зав. отделами критики толстых журналов, пред неподвижным тяжелым взглядом всемогущего секретаря СП Виталия Озерова. Был бы я поразумнее, доклад о работе своего отдела заранее, не спеша и вдумчиво написал бы дома, но, подстрекаемый беспутными друзьями и тягой к спиртному, загулял, и теперь, в поезде, спешно сочинял выступление, перекладывая исписанные листочки, терзаясь похмельем и грядущим на ул. Воровского, 52 действом.

В купе кроме меня ехали две средних лет женщины. Они сидели напротив, и через какое-то время одна спросила: «Вы, наверное, профессор?» – «Почему?» – «А вот все пишете, работаете, мы и решили, что Вы ученый...» После паузы вторая добавила: «Жена у Вас счастливая». Ну, если сходство с профессором я еще мог перенести, то предположение о счастливом браке меня озадачило. «Это почему же?» – «А Вас сразу видно: непьющий!»

***

Тогда каждое лето в Саратове гастролировали московские и ленинградские театры. Их афиши унижали мое провинциальное достоинство. Не те, где сообщалось о репертуаре, а состоящие из фото артистов с примечаниями, кто в каких фильмах снимался. Дескать, вы тут в своей деревне только на киноартистов можете клюнуть.

***

Сейчас забывается, что такое дубляж кинофильмов, а ведь то было целое искусство. Импортные звезды говорили голосами русских актеров, для которых порой – при не слишком удачной судьбе в кинематографе, дубляж делался основной профессией, как, например, у талантливого актера и обладателя невероятно красивого и выразительного голоса Владимира Дружникова. А нежный, *чающий* голос Виктории Чаевой, отданный ею Софи Лорен, Джине Лолобриджиде, Сильване Мангано и т.д. А Луи де Фюнеса никогда не настиг бы столь бешеный успех у советского зрителя, если бы не особый несравненно-насмешливый голос Владимира Кенигсона. Самое может быть удивительное попадание это озвучивание Жана Маре в воистину культовом фильме «Граф Монте-Кристо» Виктором Хохряковым при полном несовпадении мужественно вырезанного лица красавца француза и простецкой русской расплывшейся физиономии артиста Малого театра. А что такое Остап Бендер Арчила Гомиашвили без голоса Юрия Саранцева?

Особ статья – озвучивание мультфильмов. Последнее из всем памятного это дуэт Волка-Папанова и Зайца-Румяновой, но сколько великих творений голосом подарила советская анимация,

про которую один из пап римских сказал, что на ней нужно воспитывать христиан. Почти все крупные тогдашние актеры участвовали в озвучивании, и потому особенно дико то, что сейчас производится переозвучивание с заменой их голосов. Восстанавливая старые мультфильмы, освежая цвет, заодно изгоняют из старых фильмов голоса Анастасии Зуевой и Михаила Яншина, Рины Зеленой и Алексея Грибова, Эраста Гарина и Сергея Мартинсона, Бориса Чиркова и Георгия Вицина. Это вопиющее злодейство производится даже и над теми лентами, где внешность рисованных персонажей была списана с актеров, как сапожник-Чирков и клоун-Грибов в «Каштанке» или старуха-Зуева и старик-Чирков в «Сказке про золотую рыбку». Слыша это, хочется подобно персонажу Шукшина произвести по телеэкрану удар валеным сапогом.

***

У Петра Лещенко было знаменитое танго «Татьяна»:

Встретились мы в баре ресторана,
Как мне знакомы твои черты...

На пляже один из загорающих мужиков запел вслед проходящим купальщицам:

Встретились мы в бане возле крана,
Как мне знакомы твои черты...

Вообще все эти самодеятельные переделки бывает прелестны. У меня среди бумаг обнаружилась без авторских подписей тетрадка замечательных a la Лебядкин стихов, и среди них:

Весна. Крестьянин в половодье
На лодке обновляет путь,
И весла, словно бы поводья,
Об волны трутся как-нибудь.

(Стих настолько славный, что я его весь приведу):

Крестьянин зайцев подбирает.
Ах, господи, ты ль, дед Мазай,
Река, разлившись, отражает
Небес синеющую даль.

Ничтожные картины эти
Я отчего-то написал,
Но вот милее всех на свете
Мне родины и сон, и шквал.

И пусть меня за слог бичуют,
За то, что нет единства форм,
Я, может, сам себя линчую,
Хоть каждый день в потоках волн

Топлю, как праздновал Герасим,
Да обвязав своё Му-му,
Но только подвиг сей напрасен,
Ведь слог я Ваш и так ценю.

***

Любопытно отразилось тогдашнее отношение к Есенину в популярном кинофильме 50-х годов «Дело Румянцева». Строки Есенина возникают там дважды.

«Все пройдет, как с белых яблонь дым», – с блатными интонациями цитирует вор-рецидивист, а студентки, трогательно обнявшись, нежно поют «Выткался на озере алый свет зари».

Ну, а бандит для полной картины еще поет Вертинского: «В бананово-лимонном Сингапуре».

***

«– *Вы плачете, Иветта... что ваша песня спета... что это лето где-то унеслось в...* – Демичев пел непечатное слово. Он был из Марьиной рощи, а там это всегда любили». Михаил Анчаров. «Золотой дождь».

Но дело в том, что не только марьинорощинский парень вместо «в мечту» употребил весьма неприличное слово, а в том, что на самой известной записи на пластинку знаменитого танго «Магнолия» (не более поздние записи с советских концертов, под рояль, а студийная, эмигрантская, под оркестр, где голос Вертинского еще звонок) отчетливо произносится то самое неприличное слово на букву «п».

Известный питерский коллекционер Н.Н. Калмыков писал мне об этом: «"Магнолия" (запись 1929 г. – вслушайтесь, эта запись сделана АН на пари с "похабочкой")».

А была певица в Америке москвичка Юлия Запольская, та и вовсе пела «во мглу».

Впрочем, каждый может сам послушать и решить.

***

«...сновидение есть не что иное, как бессонница воображения...» А.Ф. Вельтман. «Странник».

Борис ХЕРСОНСКИЙ

КАБЫ НЕ РАДУГА

***

Радуется, ликует пророк Господень Исайя,
ходит по краю облака, восклицая:
«Яко отроча родися нам, сын явися нам».
Замолкает по временам, оглядывается по сторонам.

Ангелы вопиют: «Рождество Твое, Христе Боже!»
Всюду мороз, на улице и по коже,
все как прежде, всюду – одно и то же,
то на Брейгеля, то на Ван Эйка похоже.
Мария – тонка, прозрачна, Ирод – отечен и толст.
Жаль, что некому это перенести на холст.

Пенье на хорах и клиросе. Звон – со всех колоколен.
Кто-то умер, а кто-то опасно болен.
Кто-то пред смертью каялся, а кто-то только потел.
Кто-то кого-то взорвал. А кто-то – только хотел.
Странно, что Град Господень не опустел!

Кто рыдает в отчаянии. Кто восклицает в гневе.
А Исайя ликует, ибо Дева име во чреве,
и пришла в Вифлеем, и родила сыночка,
а подруги ей говорили, что будет дочка.
вот выйдет замуж, внуков тебе принесет,
всех порадует, никого не спасет.

А она знала, что сына родит, Эммануила-Иисуса.
Род людской восклицает: Вот теперь-то я и спасуся!
Вот теперь свобода, живу – делаю, что хочу,
а потом тело в землю, душой ко Господу полечу.
Если нужно денег, то я заплачу.
Есть прощение жертве и ее палачу.

Борис Херсонский родился в 1950 году в Черновцах, окончил Одесский медицинский институт, заведует кафедрой клинической психологии Одесского национального университета. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Звезда», «Крещатик», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Семейный архив» (2006), «Вне ограды» (2008), «Площадка под застройку» (2008), «Мраморный лист» (2009), «Спиричуэлс» (2009), «Псалмы и Оды Соломона» (2009), «Пока не стемнело» (2010), «Хасидские изречения» (2011). Стипендиат фонда им. Иосифа Бродского (2008), лауреат премии «Anthologia» (2008), премии Literaris (Австрия) за немецкий перевод книги «Семейный архив» (2011), Русской Премии (2011), шорт-лист премии им. Андрея Белого (2007).

Особенно жертве – жертва всегда виновата.
Облака для тепла, как между рам сдвоенных вата,
присыпана блестками и осколками от игрушек,
шариков, домиков, шишек или зверушек,
все что разбито в прошлом году, на прошлом веку.
Кукушка в ходиках хлопает крыльями, говорит: ку-ку.

А Мария думает: Что мне цари, с ужасными их дарами,
что январь с детскими праздниками, рождественскими пирами,
что мне Небесный Отец с бесчисленными мирами.

Лишь звезда сияет, и будет сиять до зари,
и, звезде навстречу, Младенец светится изнутри.

***

Мама ведет сыночка за ручку из комнаты страха в комнату смеха.
Потому что всяко бывает, и страху смех не помеха.
Жизнь научит, смеясь, бояться, что кто-то услышит твой смех.
Мальчик в цигейковой шубке – обычный плюшевый мех.
Четырехлетний уродец для мамочки лучше всех:
жизнь положит на то, чтобы сын добился успеха.

И мальчик добьется, вырвет кусок зубами своими
из тощего мяса эпохи, или вцепится в тощее вымя
голодной коровы-истории, он впишет детское имя
крошащимся мелом на скользкой черной доске,
на мемориальной, но надгробной тоске,
на прощанье вымолвив, Господи-Боже-спаси мя.

И Бог спасет его, ибо Он умер, чтоб мальчик спасся,
но до того – трясся от страха, от смеха трясся,
дрожал над тетрадкой, рвал страничку из дневника,
чтобы мать не увидела позорного трояка,
и входил сияющей мордочкой первого ученика,
или ягненка, который на травке пасся.

А пока мама тащит его по парку отдыха и культуры.
От культуры тут комната смеха и гипсовые скульптуры.
Для отдыха есть пивная, но в январе она
закрыта на зиму, а, кажется, что на все времена.
Тем более – пьянству объявлена очередная война,
в которой выиграет сущность мужской натуры.

Но это – ближе к весне, а сейчас – холода.
Комната страха, комната смеха, закоулок стыда,
кладовка муки, скуки парадный зал,
башня слоновой кости, как о Деве Марии сказал
автор литании. Амфилада
пустых помещений до самого черного ада:
сиди и думай, как ты попал туда.

***

Хороши зеленые кашемировые пиджаки. Все же
серые плотные плащи были покраше.
К ним прилагались шляпы из фетра. О коже
тогда не слыхали. Одевались исключительно в «наше».

Они и были наши – до атласной подкладки,
до черного пиджака, до книжечки красной.
На брюках были стрелки и – ни единой складки.
И государственность наша была безопасной.

Водка с одиннадцати до семи. Закуска – когда придется.
Башенки из консервов в витрине убогой.
Если водка льется, то человек смеется,
и безопасность страны бывает не слишком строгой.

Я помню эти шляпы, плащи, служебные «Волги».
Серый дом на Бебеля (ныне – Еврейская. Так-то!)
Иногда за мной приезжали, и сборы были недолги.
И допросы велись с соблюдением служебного рвенья и такта.

Я видел их позже – в зеленых из кашемира.
У каждого был свой бизнес и иномарка.
Они, как и я, сбежали из советского мира,
они, как и я, не ждали такого подарка.

Все прекрасно играли в шахматы. Так мне сказал Миша,
заседавший с этими восемь лет в одном горсовете.
А чем им еще заниматься? От скуки ехала крыша.
Кто-то думал о пуле в служебном своем пистолете.

Я видел лицо одного – на черном граните,
понятно, на кладбище. И мне тогда показалось –
от плиты ко мне потянулись незримые нити,
и сзади чья-то рука плеча моего касалась.

***

Остатки дня светового
как вертикальная щель
в ставнях. Ослабим немного
тяжесть этих недель.

Мальчик замерз не на шутку:
с ребенка снимают шарф,
шапку-ушанку, шубку,
аккуратно вешают в шкаф.

На дверце красного дерева
зеркало – в полный рост.
На кухне – постное варево,
поскольку – Филиппов пост.

Зябко. Есть неохота.
Но все садятся к столу.
Месяц до Нового года,
но елки – на каждом углу.

Ждет тиран в окруженьи свиты
известий с иных планет.
Космонавт, вернувшись с орбиты,
рапортует, что Бога нет.

***

вечереет сгущается сумрак обиды
человек просто Божия тварь но видавшая виды
тварь ходившая строем представлена к многим наградам
на вражину глядела войной на генсека военным парадом
тварь на белом коне и на танке вечнозеленом
поглощенная сукой победой ее ненасытным лоном

а потом были чешские горки румынские стенки
да морковка на терке да золотистые гренки
десять спичечных коробков в одной упаковке
два часа забвения в купленной поллитровке
до потери пульса сознания называется кома
и цветы из бумаги венки от месткома

Божьи твари гуляют поныне по Божьему миру
кушают до упора а после бесятся с жиру
а у тети глаши напротив бешенство матки
говорят во дворе у нее с детства такие задатки

в общем жизнь удалась хоть не так как раньше хотели
деды кровь проливали папы просто потели
в домовых комитетах за столом сидят домовые
смотрят на Божьих тварей как будто впервые
потому что зря они ходят мелькают перед очами
шаркают стопами пожимают плечами
морщат лбы кое-кто шевелит ушами если способен
на такое тоже нужен зачаток внутриутробен
говорят что гены это великая сила
словно внучке пальто носить что бабка носила

***

Кабы не радуга, давно бы новый потоп
покрыл бы землю. Но вместо ковчега
несколько авианосцев метались бы в поисках брега.
Но тем и плоха вода, что нет в ней проторенных троп.

И не голубь с вороном, а самолет-разведчик,
в котором, сжавшись в комок, маленький человечек
смотрел бы вниз – хоть какая вершина из-под воды!
Хотя бы верблюжья двугорбого Арарата,
к которой Ной причалил когда-то. Дата
неизвестна, а волны смывают следы.

Подводные лодки с ненужным оружием проплывали б
над городами, и иногда задевали б
днищем шпили соборов, открывалась бы течь,
но у атомных лодок плавучесть, живучесть,
автономность, короче, у подводников – лучшая участь.
Но после потопа все мы – подводники, и не об этом речь.

Важно, что никакая беда не постигнет военных,
летчиков, моряков, плененных и убиенных,
глядящих в бинокли, выставляющих перископ.
Тем более, Бог постоянно милость являет:
расходятся облака и радуга в небе сияет,
обещая все что угодно, но не новый потоп.

***

на кресле-каталке приехал на аэродром
старик пифагор со своим золотым бедром
с оформленной справкой на вывоз металла
погода не задалась где зевес там весенний гром
гремел и геба ветрено молнии в землю метала

полет отложили на две с половиной тысячи лет
на кресле-каталке сидит благородный скелет
глядит пустотой и сияет бедренной костью
а кость из золота невиданной чистоты
из такого дантист в тридцатые годы делал мосты
для беззубых диктаторов подавившихся собственной злостью
два раза на век смерть навещала старца из пустоты
и он встречал ее как желанную гостью

аэродром паутиной затянут на летном поле леса
там леший бродит и ходит там прочие чудеса
как в спящей красавице помнится акт последний
занятно что в паутине ни одного паука
и муха единая не попала туда пока
и где та красавица где этот принц наследный
и где пограничный контроль желтой краской черта
и надо бы подойти развернуть показать паспорта
вечность в комнате заперта
мы толчемся в передней

***

Трамвай тормозит на площади, у кольца.
Вожатый выходит, чтобы стрелку перевести.
Декабрьский дождь не говорит от своего лица.
Его устами сама зима шелестит: Прости!
Прости мне этот промозглый холод, прохожий-проезжий люд,
прости лязг трамвайных колес на стыках рельс площадных,
прости за столовку с убогим перечнем блюд,
прости за гитару в подъезде, за аккорды песен блатных.
Прости за отсутствие снега – тут все-таки юг, паренек,
просто – юг, не субтропики, где пальм и колонн не счесть.
Проживи, как можешь, декабрьский темный денек,
темный, декабрьский, короткий, такой, как есть.

Александр КОРАМЫСЛОВ

Памяти мамы,
Колотовой Евдокии Григорьевны (1928–2011)

***

...и с пилами вошли мы в лес, решимы –
вон сколько на дровишки нам сухар-то –
устроить здесь подобие режимов
диктаторов трухильо и сухарто.

но из лесу выходим мы смиренны –
сердца полны опилок ли, трухи ли:
хусейн-каддафи там лежат деревья
в обнимочку с сухарто и трухильо...

***

уронил себя мишка пониже, чем на пол
оторвал себе мишка похуже, чем лапу
всё равно, говорит Господь, Я его не брошу
потому что кто-то из нас должен быть хорошим

***

каждый советский мальчик мечтал стать космонавтом
каждый бывший советский мальчик,
осознавший себя
православным христианином –
становится космонавтом по умолчанию

их не удивишь летающими дискосами и прочими чудесами

ибо учёные установили:
96% Вселенной занимает Царствие Небесное

Александр Корамыслов родился и живет в Воткинске. В 2000–2010 гг. – сотрудник Музея истории и культуры г. Воткинска, администратор его официального сайта, организатор литературных вечеров в музее. В настоящее время – сотрудник Благовещенского собора в Воткинске. Публиковался в журналах «Арион», «Волга», «Воздух», «Дети Ра», «День и ночь», «Крещатик» и др., в альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон» (Москва), «Черновик» (Нью-Джерси), газетах «Гуманитарный Фонд», «Русский курьер», «НГ-Exlibris», «Культура» (Москва), а также в Интернете.

концентрация чистого спирта, Святаго Духа –
как в любом православном храме

бросьте свои конуры байконуры,
зайдите в ближайшую церковь,
почувствуйте себя космонавтом

молитвы – сгустки антигравитации –
и пост – помогут ощутить невесомость
и вместо летающих дискосов
с настоящими пришельцами –
увидеть
воспаряющие потиры
с Плотью и Кровью
будущего Второпришельца

поехали

из цикла «Стихи о работе»

***

заходя в трапезную
понимая
что здесь как-то нелепо желать
приятного аппетита
желаю
ангела за трапезой
и краешком наблюдаю
невидим предстоит

***

заплатить за Свет Твоего Лица,
за Воду с Твоего Лица,
за услуги связи с Твоим Лицом.
А иначе бесы отключат нам стояк Отца,
провода отрежут, соединяющие с Отцом...

Ну, а мы – к колодцу Сына, к вай-фаю Его, ветряку –
по глотку, по строчке при лампочке ИЛИча,*
и ещё по глотку и по строчке, по строчке и по глотку,
отдавая целую немощь за Силы Часть...

* *Под ИЛИчом подразумевается Сын Божий*

без напряжения

«Мы стояли на плоскости с переменным углом отражения,
наблюдая закон, приводящий пейзажи в движение...»
Б. Гребенщиков

плоские люди – как будто иконные доски
со стёртым осознанно образом Божьим,
с тоскою 2D и с юмором плоским
на битом планшете, меж рёбер положенном

с ехидцею пишущие
про чужую «собачью старость»,
позвякивая цепочкой
сучьей своей (не)зрелости –
словно самим иная
(лучшая) доля досталась,
кроме выкусывания блох
и вылизывания подхвостовых опрелостей

жалкая участь выспренних трупоносцев –
весь-то объём их равен одной могиле,
ни секунды не терпящих, *егда поносят*
их, но восклицающих всуе: «*Или*!»

что мне их осуждать, играющих в злые кубики,
заполняющих этим сдувшийся шар любви,
желающих дешёвой славы – не в жизни, так на Ютубе,
не с лицом, так с хорьковою мордочкою – в не-своей крови?

я давно простил их. но в порядке эксперимента
(бывший друг, новый враг, а вообще – не знаком) –
постою ещё на их *плоскости с переменным*
углом отражения, наблюдая закон

***

солнце русской поэзии,
«Воздух» русской поэзии
вода русской поэзии –
наши лучшие друзья

особенно когда сидишь в зашторенной комнате,
читая стихи с кондиционером
и аквафильтром

***

человек, ракета класса «душа-душа»,
не томись всю жизнь в одиночной шахте,

вылетай иногда прогуляться, с любовью и не спеша –
чтобы цель твоя поразилась при встрече: ах, ты!

если вы поцелуетесь, протяжно и горячо –
значит, не зря ты зажёгся и не напрасно летела
твоя ракета, огибая Землю и возлюбленное плечо,
превращаясь на время в тактическую класса «тело-тело»...

***

твоё печальное
возложение ног
на плечи памятника
любви моих родителей
обещает сладкую минуту молчания

***

как ни рули, колеся в судьбе –
съедешь в утиль тормозной порой:
и мерседесу приходит бенц,
даже и роллсу приходит ройс...

сколько ни мучай карданных хорд,
как ни дави на инертный газ –
и кадиллаку приходит форд,
даже и ЗиЛу приходит ЗАЗ...

только всё мчат по путям хрено
вым, по хреновым дорогам в ад
вольные в вольво, рабы в рено,
и в жигулях голубой фиат...

Евгения ИЗВАРИНА

***

У чисто выметенных плах,
у обездвиженных кружал
стояли лодки на столах,
и в каждой кто-нибудь лежал,

и в каждой кто-нибудь один
у обесточенных колёс
живое время проводил
сквозь механический наркоз.

Вода верёвочкой вилась
сквозь лодок лунные тела,
и вот одна
приподнялась
и поплыла...

***

для кого белее мела
лунный свет по парусам
если мама не велела
то что доктор прописал?

если каждому со всеми
всё равно с какой ноги
для кого мужские серьги
и тюленьи сапоги?

боги знают но не помнят
люди ждут но не хотят
от лесов в подземных поймах
скоро щепки полетят

и сольются океаны
и сквозь облачный редут
караваны из нирваны
в наши гавани войдут!

Елена Изварина родилась в г. Озерске Челябинской области, окончила библиотечный факультет Челябинского государственного института культуры. Редактор отдела газеты Уральского отделения РАН «Наука Урала», живет в Екатеринбурге. Автор шести книг стихов, нескольких публикаций в уральских и московских антологиях, коллективных сборниках, литературных журналах. Член Союза писателей России.

***

По совести, письмо – поверженная Троя:
колёсики, крючки...

Огромное кино без доброго героя
заклеило зрачки.

И мечется впотьмах щепотка алой пыли –
продлёнка,
вторсырьё,

Поскольку видит Бог – слепые победили
сомнение своё.

***

на вторую половину жизни
всё равно что сторону луны
заплывает остров камышовый
золотой как небо до войны
голубой как деньги на закате
как дежурный свет в шестой палате
если санитары не пьяны
и дают братве умалишённой
телевизор вырубив пинком
поглядеть на остров камышовый
в дырочку от шприца с коньяком

***

всё будет хорошо ли плохо ли
и снова кто-нибудь бывалый
нам скажет пороха не нюхали
с земли воды не пили талой

но господи какая разница
мы ожидали или жили
девиз державы кто позарится
крутя в ускоренном режиме

не подходите к ней без пряника
кнута и маковой соломки
она лежит на дне «Титаника»
вцепившись в бусы незнакомки

ей щучье по сердцу веление
падучих звёзд медвежий ковшик
и детское недоумение
на лицах первенцев утопших

***

...выяснилось:
никто не владеет
языком непрелюбодеев,

неубийц,
нестяжателей,
неворов –

и советом директоров
принято решение
аннулировать соглашение
(тем более – не впервой),

и когда с небес,
как винт буровой,
сквозь пентхаузы хлынет конница –

окопаться,
но не беспокоиться...

***

в неземной бездонный окрик
рельсы сходятся вдали

отъезжающие смотрят
мимо неба и земли
различая побережье
где довольными умрём

подстаканники по-прежне-
му с колхозом и кремлём

***

однажды ночью выйдя покурить
утопленники реки повернули
куда не надо
молодость прошла
у половины населенья шара
выходит выиграли те кто жил на кубе
игру в «замри» и третью мировую
и мачтой вниз
речной круиз

***

даём тебе время берём тебя в долю
ведём тебя в поле под белые руки
туда по ночам спотыкаясь о звуки
выходит скрипач торговать канифолью
там фогель и шпигель и мебель в рассрочку
для шибко крылатых и рьяно ползучих
кладём тебя в небо ничем не озвучив
как в белый футляр золотую цепочку
плыви себе дальше живи ненароком
как скрипка и зеркало птица и память
чтоб соли земли в канифоль переплавить
на вдохе глубоком

Денис КУДЕРИН

ЧЕЛОВЕК УСКОЛЬЗАЮЩИЙ

Рассказ

1.

Август выдался дождливый и тусклый. Мир выглядел захиревшим, безнадежно больным. Весь месяц я чувствовал уныние и существовал как бы частично, автоматически, на инерционном холостом ходу. В душе моей возникали разломы и провалы, через которые с той стороны ползла пустота, а климатическая мерзость усугубляла разрушительные процессы. Я больше не принадлежал самому себе. Черная желчь текла по моим венам вместо крови. Или так: дом, в котором я жил, оказался картонным и в одночасье развалился под напором стихий; ошалевший, я заметался по пересеченной местности. Безымянная и бестолковая ватная дрянь, считающаяся реальностью, окружала меня теперь со всех сторон, и я в ней ничегошеньки не понимал, словно был чужеродным элементом. Я не находил себе места: мне казалось, что в суете утеряно нечто важное и необходимое, но где его искать и что это было – вещь? чувство? имя? – этого я не ведал, однако самой идеей поиска – на бессознательном, глубинном уровне – был вполне одержим.

Сия подспудная идея управляла изнутри моими действиями и мыслями. Я все время испытывал потребность отворять какие-то двери и дверцы, зачастую совершенно посторонние, обнаруживая за ними пыльные чуланы, туалетные комнаты, дурную бесконечность, угрюмые лица чужаков, зеркала со своим отражением, иную чепуху, все что угодно, кроме того, что могло вернуть мне покой. Я постоянно шарил по карманам – нарочно, хотя и не отдавая себе трезвого в том отчета, носил одежду с множеством карманов, в которые рассовывал всяческий мелкий хлам. Раскрывал книги, в которых было зараз по пятьсот и более страниц с мелко напечатанными на тех страницах буковками, и, не поднимая взора, прочитывал текст от самого начала до самого конца, включая комментарии, послесловия и междустрочия, а после, в недоумении пожав плечом, толстые тома захлопывал и сам вздрагивал от резкого звука: мой случай в книгах записан не был. Я смотрел из окон на тоскливые урбанистические пейзажи с бесчисленными мельтешащими туда-сюда человечками и самодвижущимися экипажами, улавливая в сих картинках намеки и знаки, но не умея эти послания расшифровать. Перед тем, как завернуть за угол, я останавливался, глубоко вдыхал и считал до трех с половиной. По десять раз на дню проверял ящики для почты, которых у меня было два – металлический и эфирный – и которые оба оказывались уныло пустыми. Поминутно смотрел на темный телефонный экранчик. Я проделывал все эти вещи с тревожным затаенным чувством – будто бы вот-вот, будто прямо сейчас, будто на этот раз точно... – но абсолютно ничего не происходило. Действия мои не имели исхода. Это нервировало, изнуряло, морочило меня, и походило на отчаянные попытки пробудиться от вязкого, больше отвратительного, чем кошмарного, сна, который, к тому же, сном не был. Ко всему прочему у меня появилось стойкое ощущение, что за мною следят. Неважно кто: недоброжелатели. Человек, совсем недавно мнивший себя высокоразвитой, близкой к просветлению биоэнергетической единицей, я утратил аппетит и стал терять в весе. В голову лезли мысли о каком-нибудь быстром и незамысловатом способе самоликвидации, вроде прыжка под мчащийся из тоннеля метро состав.

Но август миновал, и однажды утром, как будто кто-то сменил в проекторе слайд, мир про-

---

Денис Кудерин родился в Казахстане в 1975 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, по специальности биолог. Публиковался в сетевом журнале «Топос», в «Волге». Живет в Новосибирске.

яснился, и все вокруг сделалось если не осмысленным, то не безысходным: настало бабье лето. Пошли чередой сухие, теплые и драгоценные деньки, как будто кто-то нанизывал на шелковую нить разноцветные, очень приятные на ощупь легкие деревянные бусины.

И стал я пробуждаться понемногу от сонной душевной одури. Тогда же завел привычку совершать ежедневные прогулки в заброшенную промышленную зону на окраине города, в совершенно безлюдные, тихие и обособленные места, недоступные элементарным смертным и как бы даже несуществующие в картине воображаемой ими действительности. Вдоль, поперек и наискось были исхожены мной замысловатые ландшафты.

Все там было знакомо мне и радовало взор: эта медленно, но неумолимо теряющая гармонию геометрия зданий, эта избыточность, щедрость никому не нужного пространства, это упоительное гудящее безмолвие. Там испытывал я давно позабытые ощущения уместности и уюта.

На рассвете я выходил из бессмысленного города в южном направлении, шел по шоссе и в нужной точке сворачивал на заросшую травой тропинку к заброшенному химкомбинату. Здесь имелся запретительный знак и была натянута из края в конец колючая проволока, но я игнорировал знак и змейкой проползал под проволокой в месте разрыва.

2.

Я пересекал черту и оказывался на другой стороне. Ветер бросал мне в лицо горсть сухой травы: духи приветствовали меня уже как старого знакомого. Я брел через пограничную полосу – пустошь, кое-где переходящую в свалку экзотического мусора. Тут высились аккуратные пирамиды из отслуживших свой век промышленных холодильников и аппаратов для газированной воды, холмики из почерневших от времени ножных протезов, аккуратные штабеля истлевших противогазов. Попадалось и гнусное: какие-то банки с эмбрионами в формалине. Не задавая себе лишних вопросов, я внимательно, как птица, смотрел по сторонам и руками не трогал. Узкие длиннющие ленты из какой-то промасленной, пахнущей креозотом, что ли, блестящей фольги рассекали местность во всех направлениях, с легким шелестом развеваясь на ветру. Опасаясь слежки, я выделывал по пути через пустырь замысловатые петли. А потом отыскивал в бетонном заборе дыру и бесшумным индейцем Джо проникал, наконец, на территорию бывшего химического комбината.

Здесь преобладали три цвета: серый – строений и их останков, ржавый – металлических конструкций, золотой – листвы. Это был целый город, чье население уже успешно достигло того, чего должно достичь рано или поздно все человечество – исчезновения с поверхности, отсутствия. Спокойный, влюбленный в себя мир существовал сам по себе, вне людской суеты. В этом городе были улицы, дома, уютные скверики, лабиринты и подземелья, не было только бессмысленных топтунов. Таким я с самого детства и представлял себе рай – место без посторонних.

Некоторые корпуса были демонтированы до основания, некоторые – наполовину, иные вовсе пребывали в целости и сохранности и высились среди руин, как новенькие, блестя на солнце металлической прошивкой. «Опасность токсического поражения!» – предостерегали меня многочисленные надписи на металлических табличках, но не было в мире другой для меня опасности, кроме скуки и пустоты человеческого бытия: от них и уходил я сюда с рюкзачком за спиною и в соломенной шляпе на голове.

Своя жизнь, хотя и почти невидимая, происходила и здесь. Иногда я даже слышал какие-то ритмичные механические звуки из-под земли: мне казалось, что на некоторых участках комбината продолжают трудиться всеми позабытые роботы и что-то немыслимое производят там, в глубине, а готовую продукцию отправляют грузовым лифтом прямо в ядро земное, в тартар. Людей я здесь наблюдал крайне редко. Немногочисленные местные обитатели были существами если не враждебного, то очень замкнутого нрава, в контактах с кем-либо ни в коей мере не заинтересованные. Хорошо, если они не пытались при встрече вцепиться в тебе в глотку.

Я видел здесь старые телефонные автоматы на стенах корпусов, иногда я слышал издали, как они верещат, но когда подбегал и брал трубку, слышал лишь смутные шорохи. Я не знал, что здесь

творилось с наступлением темноты, ибо всегда старался покинуть зону еще в светлое время суток, однако, будучи наблюдательным ходоком, каждый день обнаруживал в картине здешнего мира некоторые в сравнении со вчерашним изменения, находил следы чьего-то недавнего присутствия – загадочные, неуловимо тревожные следы, вроде аккуратных зашифрованных надписей на кирпичных стенах или вонзенных в почву на определенном расстоянии друг от друга маленьких разноцветных флажков. Особенно озадачивал меня ржавый чугунный шар, диаметром, наверное, около метра и весом, я прикинул, около полутонны – каждое утро он оказывался в ином месте, весьма отдаленном от прежнего, будто какие-то колоссальные существа играли тут по ночам в футбол. В ближайшем будущем, может быть прямо сегодня вечером, я намеревался отыскать какой-нибудь подходящий бункер, затаиться в нем после захода солнца и ближе к полуночи предпринять пару осторожных вылазок хотя бы в хорошо изведанные мною сектора. Уверен, можно будет увидеть или услышать много любопытного, если не убьют сразу.

А пока я приходил ранним утром, ясным и прозрачным, как голова будды. Было зашибись побродить на рассвете по одичавшим аллейкам и паркам, вдыхая дурманящие мозг запахи. Я поедал горькие рябиновые ягоды, мягкий, возможно слегка ядовитый от химии ранет, крошил в руках сухую листву, ложился на спину и закапывался в эту листву, как сентиментальный зомби. Я смотрел на желтый шар на синем небе и говорил: здравствуй, осень!

И главное: теперь я точно знал, чего, точнее, кого я ищу. Бабье лето дало толчок – навязчивая идея абстрактного поиска, выжимавшая из меня жизненную силу, конкретизировалась и обросла плотью. Я пришел к простому выводу, что объектом моих бесплодных исканий является не отвлеченная вещь, но реальный объект – собственный отец мой, родитель. Да, да именно его, много лет назад ушедшего из нашей семьи и фактически исчезнувшего, я, оказывается, и пытался неосознанно найти все это время в шкафах, карманах, книгах и мусорных пакетах, которые я, перед тем, как выбросить, с тщательностью безумца просматривал, проверяя, не попала ли туда по ошибке нужная вещь. Мне, правда, мнилось, что проблема отцовского отсутствия давно, еще в подростковом возрасте, изжита была самим временем в моем сознании, но нет, ни хрена она оказалась не изжита, а просто затаилась в подвале, чтобы, улучив подходящий момент, курвой выскочить оттуда наружу.

Папа ушел от нас, когда мне было семь, куда ушел и зачем, мне тогда не объяснили. И только потом, ближе к совершеннолетию моему, в ответ на мои расспросы, мать, кривя почему-то губы в нехорошей улыбке и дергая плечом, поведала мне, что причиной папиного уходы было собственное его сумасшествие, только и всего. Твой отец, говорила она, всегда был слегка вольтанутый, не от мира сего, даром что научный, хотя и невысокого ранга, работник, естественник. Так вот, в последние перед уходом дни он стал совсем га-га, ку-ку, аля-улю. Говорил о каком-то «сворачивании проекта» и связанным с ним «прибытием» – то ли инопланетных существ, то ли ангелов. Вот и побежал прятаться. А то наоборот, встречать долгожданных. Бывает.

Объяснение меня не удовлетворило. Мать говорила так нарочно, утрируя реальные факты. Затаила на сбежавшего мужа обиду и пыталась доброе имя отца очернить. Детской своей цепкой памятью я выуживаю из прошлого отрывки из папиных вовсе не безумно-апокалипсических, а напротив – необычайно стройных и мирных речей, каковые он любил произносить за семейными обедами. Говорил он больше о вещах довольно сугубых, чисто философских, научных, и никакого явного безумия там не было. Особенно мне стало ясно это теперь, когда я сам стал по уши образован и уже могу наделить надлежащим смыслом запросто употребляемые отцом специальные термины. Сейчас я бы с удовольствием вступил с ним в беседу, подискутировал. А тогда, искренно в папу влюбленный, я просто слушал его голос с затаенным дыханием. Мне нравилось, как ловко и без запинки выскакивают у него изо рта непонятные, но красивые словечки. Мать же, наоборот, закрывала руками уши и демонстративно вставала из-за стола. Мне кажется, она и не любила его никогда, недалекая женщина.

В тот день папа, этот всегда чему-то улыбающийся долгоносый человек, на которого, как говорят, я становлюсь по мере взросления все более похожим, просто вышел из дому, кажется, за

сигаретами, да так и не вернулся. Долго искали, но тщетно. Нет, он не умер – некоторые наши знакомые видели его спустя месяцы, а потом даже и годы после исчезновения где-то на глухих окраинах города, позже и за его чертой, в пригородных поселках, в поле, на реке. Как будто он удалялся от дома все дальше и дальше, описывая вокруг него расходящиеся концентрические круги. По свидетельствам этих встречавшихся с ним людей, на их вопросы он категорически не отвечал, делал непонимающее отстраненное лицо, мол, впервые видит, не имеет чести знать, и быстро-быстро, бочком так, уходил прочь, а при попытках задержать вырывался и пускался в бегство. Говорили еще, что глаза его при этом вроде как горели безумным огнем.

Я не очень-то верил рассказам доброхотов-очевидцев, пока однажды (мне было лет уже этак двенадцать) не узрел отца сам, когда мы с другом болтались в поисках драгоценного металла как раз именно в окрестностях вот этого самого, откуда я сейчас транслирую передачу, комбината, уже тогда не функционирующего. Стоял такой же, как сейчас, пригожий и задушевный, но с червоточинкой, осенний денек. Отец бодро, как жужелица, взбирался на высокий холм из отслуживших свой век стеклянных изоляторов, какие используют на столбах высоковольтных электролиний. Слегка прозрачные зеленоватые штуковины эти блестели на солнышке, папа Эдуард шагал по ним с рюкзачком за спиною, в шляпе и в темных очках. Изоляторы приятно, бутылочно дребезжали, обваливаясь под его ногами, зачем-то обутыми, я разглядел, в охотничьи болотные сапоги. Тогда я даже не успел к нему приблизиться, увидел снизу, да еще сквозь щели в заборе, а пока обходил препятствие – кричать я не хотел, боясь спугнуть – отец рассеялся в дрожащем от испарений воздухе. Корифан мой человека на холме не заметил и словам моим выказал насмешливое недоверие. Я со слезами на глазах принялся его убеждать. Мы тогда поссорились с дружком Вовчиком, и кажется, даже подрались; помню чью-то расквашенную носопатку.

С тех пор я долго здесь не был. Словно забыл про ту встречу. Вытеснил волнующее воспоминание на периферию сознания, и думать об отце себе запретил. Но оказывается, нельзя без последствий проделывать с сознанием, даже таким высокоразвитым, как у меня, подобные трюки.

И вот я брожу по этим извилистым, как мозговое вещество, тропинкам. Не то чтобы я на полном серьезе верю в удачный исход своих поисков. Искать сбежавшего отца в заброшенной промышленной зоне спустя десять лет после того сомнительного эпизода станет только человек с напрочь перевернутым рассудком. Я, впрочем, может, и подхожу под такое определение. То есть, где-то в глубине я все-таки верю в удачу. Другое дело, что эти прогулки сами по себе нужным образом форматируют мои жесткие диски. Здесь я чувствую, как наполняюсь новой жизненной силой, и драгоценный кристалл внутри моей головы оживает и начинает вращаться, блистая гранями.

Даже не любовь к родителю, которая за столь долгий срок выродилась в смутный миф, а сильное любопытство – вот что, пожалуй, движет мною. Мне безумно хочется узнать отцовскую тайну. Что же все-таки погнало его прочь – так неожиданно и бесповоротно? Иногда мне представляется, что какая-то *очень простая, но жуткая мысль*, однажды вдруг возникшая в его голове – возможно, этому предшествовали годы долгих и мучительных размышлений – поразила его и заставила поступить именно так, как он поступил: уйти, в чем был, из одного, понятного и безопасного, мира в совершенно другой, противоположный – неизвестный и опасный.

Или такой вариант: папу побудили к бегству обстоятельства *действительно* фантастические и чрезвычайные – не такие, конечно, о каких говорила с ухмылкой мать, а невообразимо иные, которые разгадав, проникну я в заповедные, волшебные области мира. В медицинское сумасшествие отца я, повторюсь, не верю, не хочу верить. С точки зрения обывателей, каковые всю жизнь, собственно, и окружали папу, он, возможно, и был эксцентричным чудаком, но я выбираю другой его образ – трезвого, честного в своих устремлениях мыслителя-практика, где-то даже мистика. Мне кажется, нам будет, о чем поговорить, когда мы, наконец, встретимся.

3.

A propos, вы ведь меня совсем не знаете, так я вам сейчас про себя расскажу.

Зовут меня Рувимов. Человек я, прямо скажу, плохой: злой, неприятный, желчный, но это

все оттого, что слишком умный и знаю об этом мире многие горькие правды. Людей я не выношу и правильно делаю, за что мне их любить? Люди – марионетки, тупицы, эгоисты, завистливые твари, узколобые приматы, возомнившие о себе невесть что. И главное – их чрезвычайно, неоправданно много. Количество людей, я считаю, надо каким-то радикальным образом уменьшать: пусть снова станет Земля моя садом, каким когда-то была. Сейчас она больше похожа на отхожее место. Все современные общественные институты я полагаю несостоятельными, отжившими свое. Структуры эти были необходимы на начальной стадии развития цивилизации, теперь же от них мы имеем лишь вред. Ибо по сути человек не является социальным существом, но есть глубоко индивидуальная биологическая система, стремящаяся к счастью, оргазму (в широком смысле слова) жизни. Мы рождены ради праздника бытия, а не унылого громождения всякого рода бессмыслиц. К примеру, труд и создание семейной ячейки не входят в цели человеческого существования, это наносное, навязанное извне. Так же не вписываются в истинную картину мироздания религиозные, государственные, нравственные законы социума. Вероятно, кому-то выгодно рабское, со всех сторон, включая верх и низ, ограниченное положение индивидуума. Впрочем, сами люди воспринимают свой статус раба как должное и о высшей участи даже не помышляют. И за одно только это – смиренное копошение в навозе быта с пожизненно склоненной головой – их необходимо подвергнуть дезинтеграции. Широк человек – я бы сузил, говорил Митя Карамазов, а я скажу: упразднить человека надобно. Совсем. Не нужен он эволюции, космосу, Богу, в конце концов, в том виде, в каком пребывает на планете в настоящий исторический момент.

А так вообще я мужчина спокойный. Молчаливый и теневой. Моя неприязнь к человечеству носит чисто мировоззренческий характер. Правда и то, что друзей у меня нет. Но я и не нуждаюсь. Наоборот, все время бегу прочь, подальше от людских глаз – за двери, за стены, за шторы. Готов на все, только бы меня оставили в покое, в тотальном уединении. Недавно я бросил, к чертовой матери, занятия в университете, посчитав, что все нужные знания, которые там могли мне дать, я уже получил, а остальные, буде в таковых появится нужда, добуду самостоятельно. Главному – дисциплине мышления и критическому подходу ко всякой вещи – я научился. А диплом меня никогда не интересовал. Я и не собирался становиться полезным членом стада. Системе не удастся прибрать меня к рукам. Я выскользну из ловушки. Уже почти и выскользнул. Не участвую, не сочувствую, не присутствую. Человек-невидимка.

Мой доход соответствует моим потребностям, а потребности мои невелики – «ром, свиная грудинка, яичница». Работаю я на дому, используя всемирную электронную сеть, зарабатываю ровно столько, чтобы не умереть от голода и холода. Большего мне не треба. Я живу теперь один в квартирке на окраине, принадлежавшей моей бабушке, ныне покойной. Добрая была старушка, жалела меня, единственного внука. Мать, превратившуюся в сумрачную алкоголичку, я давно не посещаю. Имелась у меня и жена, но, спасибо, быстро расстались. Красивая была девушка, я звал ее Рыжая, сама она называла себя, когда представлялась незнакомому человеку, протяжно и томно: Натаа-алия; при этом обязательно уточняла с доверительной интригующей интонацией: пишется через «и».

Брак. Какое все же мерзкое слово. Поражаюсь, как быстро убогий и ползучий бытовой кошмарик нашего совместного существования превратился в норму жизни. Я стал угрюмым мужем, который должен был «думать о будущем», но вместо этого «довольствовался крохами», «плыл по течению», она превратилась в сварливую, пилящую меня с утра до вечера мегеру. Ее операционная система целиком состояла из мусорных потребительских файлов, а в рыжих, всегда открытых настежь глазах сквозила холодная пустота. Пока гипнотическая сила не овладела мной окончательно, лишив рассудка и воли, пока театр человеческой комедии полностью не заменил собою реальность, я разрушил чары, прекратил балаган, вернул отданную в залог жизнь свою обратно. А ведь некоторые так и живут в этом аду до гроба, бедняги. Чувство присутствия рядом со мной постороннего, чужого человека стало изводить меня, пугать до паники. Я косился на нее из своего угла и не понимал, что это существо делает в моей квартире. Наша связь, изначально основанная на чисто биологических факторах, утратила содержание и какой бы то ни было смысл.

Ошибку юношеских лет необходимо было исправить, и отношения разорвать. Что я и проделал со свойственной мне решительностью. Как хирург. Мы разошлись почти даже и друзьями. Чтоб ты сдох, Рувимов, пожелала мне она. Я мудро промолчал. Не было в моем сердце злобы. Было лишь чувство правоты – если и жил на Земле женского пола человек, с которым я мог бы обрести любовь и взаимопонимание, то это точно была не она, не Рыжая. Хотя поначалу казалось, что наоборот: молодость – время иллюзий. Благо, я быстро вырос из коротких штанов человеческих заблуждений.

Сейчас мне двадцать два года, и я готов совершить убийство. Чисто психологически готов, ну, если вдруг понадобится для дела. Еще готов к прыжку в пропасть, к сумасшествию, к самосожжению, к вечному одиночеству, к бессмертию. Ко всему готов, лишь бы был достойный повод. Я человек отчаянный, но, повторю, довольно спокойный. Осознав еще в ранней юности, что коммунизм – я имею в виду тот, настоящий, коммунизм из романов Ивана Ефремова – уже никогда не наступит, что мы (долбаное человечество) прошли точку невозвращения, и впереди у нас теперь единственная дорога – к регрессу, гниению и хаосу, ко злу, к козлу, я занимаюсь теперь только своим собственным путешествием. Другие – этот сартровский ад – более не занимают моего сосредоточенного внимания. Я – одиночка. Не проблема, что пока я и сам не знаю, что мне нужно, куда я направляюсь и кто я, вообще, такой есть. Я доверяю интуиции, я доверяю инстинкту познания, я доверяю наблюдателю, сидящему внутри моей головы.

Это повесть о моем взрослении. Такой, какой я есть в настоящем, я уже не похож на себя прошедшего. Потому, если буду в дальнейшем вспоминать о минувших днях, стану говорить о себе в третьем лице – «Рувимов», «он», «этот малый» и т. д. Что еще? Спотыкающийся стиль свой я не объясняю никак, разве что перепадами настроения и отсутствием мастерства в многотрудном деле производства стройных текстов. Или так: мир, который, как известно, существует только для того, чтобы стать описанием, несовершенен. Следовательно... впрочем, тема может нас далеко завести, посему прекращу.

Внешность свою я вам, уважаемые товарищи потомки, призраки, полицейские, соглядатаи, соседи по палате, инопланетяне, случайные люди (нужное подчеркнуть) описывать не стану, чай не Достоевский. И так получается слишком длинно. Хотя, извольте: молодой, высокий и красивый. Достаточно.

4.

Я иду по полуразрушенному – без потолка – коридору, в котором бывать очень люблю, но в который, к сожалению, забредаю довольно редко: сюда ведет бетонный лабиринт, а я все время путаю правые повороты с левыми и оказываюсь то в тупике, то в непролазных зарослях мутировавшей, пахнущей ацетоном жимолости, а то и там, откуда начинал. Коридор имеет по обеим сторонам множество дверных проемов, но все они выходят в опустошенные отсеки с обваливающимися стенами. Эти пустые полуразрушенные комнаты напоминают мне человеческие души, в том смысле, что нет смысла заглядывать ни в те, ни в другие – интересного не найдешь: пыль да труха. Дошедшего же до конца этого длиннющего извилистого, как коровья кишка, пути ждет приятный сюрприз: рукотворный водоем под открытым небом с дождевой или, может, какой-то другой водой, черной и неподвижной. По воде плавают желтые и красные листья.

Водоем, скрытый от посторонних глаз за высокими стенами, похожими на крепостные, обширен и имеет форму восьмигранника, к каждой грани которого подходит узкий желоб. По этим желобам вода притекает сюда бог знает из каких мест. Это похоже на переставшее биться, мертвое сердце химкомбината. В прошлом все сооружение было, вероятно, скрыто где-то внутри производственного корпуса и выполняло функцию резервуара для отходов. Я знаю, что водоем глубок и где-то там, около дна, на одной из восьми граней есть маленькая дверца. Не спрашивайте, откуда мне это известно. Интуиция.

У меня есть намерение, набравшись смелости, как-нибудь взять да нырнуть в глубину, до-

плыть до дна и, открыв дверцу, проникнуть в подземелья пока еще совершенно неведомого мне третьего подземного уровня. На первом и втором уровнях я бывал – как в какой-нибудь виртуальной игре, они легко отыскиваются и вполне проходимы. Знание о существовании потайного третьего я также получил благодаря внезапному озарению.

Я сажусь на край длинной, испещренной клинописью плиты, высоко нависающей над водою. Бездонная тишина вокруг, не слышно даже птиц: пернатые не любят эти места и облетают их стороною. Легкий ветерок осторожно перемещает листву по периметру восьмигранника. Я закрываю глаза и вдыхаю едва уловимый запах увядания. Зыбкое оцепенение, так хорошо знакомое всем практикующим медитацию чань, охватывает мое почти невесомое тело. Солнце трогает мое лицо лучами, как слепой – пальцами. Я нажимаю на паузу, мир делает остановку.

5.

Профессор Любезнов, импозантный пожилой мужчина в круглых очках-велосипедах, с аккуратно постриженной седой бородкой и хохолком пепельных волос на макушке, делающим его похожим на удода, молчал, строго пождав губы. Он был одет в старомодный твидовый в крупную клетку пиджак, из нагрудного кармана которого торчал уголок ярко-синего платка. На безымянном пальце профессора загадочно поблескивал крупный восточного вида перстень с черным камнем, возможно, агатом. Сам Любезнов утверждал, что это обработанный кусок найденного им лично в монгольских степях метеорита.

«Культивирует образ эксцентричного чудака, – подумал снисходительно Рувимов, разглядывая своего преподавателя. – Что ж, может себе позволить – ученый с мировым именем, дока, ведущий специалист».

– Знаете, Рувимов, – неожиданно заговорил, шумно пошевелившись в кресле и заставив студента вздрогнуть, профессор, – мне очень понравилась ваша работа. Как там она называется, – он приподнял со стола папку с бумагами, открыл и прочел:– «Психофизиологические основы мышления человека. Диалектика, анализ и синтез как технические ошибки мыслительного процесса. Философия как псевдонаука».

Профессор сделал губы трубкой и поднял брови, что обозначало, насколько разбирался в ужимках преподавателя Рувимов, неоднозначное, но все же одобрение.

– Любопытные мысли и доходчиво изложены. Вы приходите к выводу, что вся система современных мировоззренческих понятий человечества основана на изначально ошибочном и даже патологическом способе людского мышления. И что познание *реального* мира в принципе невозможно.

Рувимов пожевал губу и согласно кивнул.

– Вроде того. Только способ мышления не изначально, но приобретенно неверный. Где-то там, в прошлом, в древние времена мы пошли по ложной дороге. И скорее всего, нас подтолкнули к этому некие посторонние силы.

– Какие же? – с нескрываемой иронией спросил профессор и снял очки. – Дьявольские?

– Отчего же сразу дьявольские? Хотя можно и так сказать. В любом случае – враждебные. Нас намеренно направили по замкнутому в кольцо пути, по которому мы ходим уже многие тысячелетия. Современная философия – под словом «современная» я имею в виду обширный период, начинающийся с древних греков и продолжающийся до сей поры – уделяла основное место в деле познания окружающего мира разуму и слову, так? Но я считаю, что, во-первых, разум и слово – слишком грубые механизмы, а во-вторых, они были хитрым образом в определенный исторический период в развитии человечества модифицированы теми враждебными существами в соответствии с их личными целями. В результате мы вынуждены пользоваться некорректным инструментом. Это как если бы художник решил нарисовать картину с помощью... ну я не знаю – радиоприемника. Или нет – как если б ребенок с рождения учился ходить на руках, а не ногах. Ну, что-то типа того.

Профессор усмехнулся, потрогал щепотью клинышек бородки.

– Это все очень, ей-богу, занятно,– качая головой, проговорил он. И совсем другим тоном – доверительным – спросил: – А хотите кофе, Рувимов? Я сварю. Хороший, мне коллеги из-за рубежа подарили.

– Хочу, пожалуй, – согласился Рувимов.

Профессор стал варить кофе, действуя при этом с изящной методичностью. Извлек из шкафчика антикварного вида кофемолку чуть ли не с инкрустацией. Похрустел зерном, энергично крутя ручку с золотым набалдашником. Высыпал полученный ароматный порошок в кофеварку. Врубил. Затем достал из того же шкафа маленькие фарфоровые чашки с лаконичными рисунками птичек. Ложечки серебряные не забыл.

Рувимов знал, что кофейком мсье Любезнов потчует посетителей только в редких случаях: сие есть признак того, что тебя определили в касту избранных.

Они отпили по глоточку, профессор достал из ящика стола коробку с сигарами, закурил сам и предложил Рувимову. Тот не отказался.

Дым. Изысканный аромат. Рассеянный предвечерний свет сквозь приспущенные (не как брюки пациента, а по-другому) жалюзи.

– Я не хотел вас, дорогой коллега Рувимов, вот так вот прямо спрашивать о причинах, составляющих ваше намерение, оканчивая пятый курс, являясь любимчиком всего преподавательского состава и моим в том числе, прервать обучение в университете. Не хотел, но спрошу. Почему, собственно? Аспирантура, возможность публиковаться в серьезных изданиях, престиж, поездки в Европу, Америку, Антарктиду, да куда захотите – почему отказываетесь? Объясните старому дураку.

Рувимов, совершенно спокойный, вздохнул, отпил еще кофе. Профессор глядел на студента, тщась понять этого неразумного – не в интеллектуальном, конечно, но в житейском аспекте – юношу. «А ведь он мог бы далеко пойти, – думал Любезнов, – он смел, харизматичен, остер умом, прекрасный аналитик. Парень вполне мог стать кем-то вроде модного популяризатора новейших философских идей, этаким улучшенным Камю. Выступал бы по телевидению. Красивой формы голова, пронзительный взгляд, тело несколько более худощаво, чем нужно, но это аристократическая такая худоба, породистая. Мальчик довольно небрежно одет – вот это нехорошо, но в его возрасте, положим, простительно»... Профессор вдруг вспомнил, улыбнувшись, как сам в студенчестве, в голодное послевоенное время ходил по университету в каких-то совершенно невообразимых допотопных коровьих чунях и охотничьем тулупе.

– Вас, может, разочаровал уровень нашего заведения? – кокетливо спросил, глядя на молчащего студента, профессор. Заметив, однако, снисходительную тень на губах ученика, уже без жеманства добавил: – Он, между прочим, уровень-то, самый сильный в стране, а возможно, и в мире!

– Нет, нет, – покачал головой Рувимов, – дело не в этом...

– Ну так в чем же, в чем? – театрально взмахивая руками (как будто подбрасывал мяч) загорячился профессор.

– А в том, что академическая наука, и я как раз об этом писал в работе, представляется мне чем–то вроде... когнитивного тупика, типа того, в какой разум человека заходит, когда мы, например, начинаем серьезно думать о бесконечности или времени. Это самые наглядные примеры, но такой тупик на самом деле присущ человеческому мышлению вообще, изначально, на какой бы предмет оно, мышление, не было бы направлено. Даже когда я пытаюсь понять самую простую вещь, эта непроницаемая стена, дальше которой не проникнуть, хоть ты вывернись наизнанку, все равно присутствует, лишая познание объема и полноты. Разум делает как бы поверхностную копию того или иного явления и выдает нам ее за оригинал. То есть сам механизм познания не работает так, как должен в идеале. Я отрицаю саму возможность выхода из ситуации посредством каких бы то ни было научных изысканий. Нужно что-то еще. Другой путь. Я должен найти его, а времени у меня, как у любого человека, мало. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что бессмысленно продолжать поиск истины там, где до тебя тысячи других умников уже делали это

и ни черта, кроме головной боли, не нашли.

– Но каков критерий того, что ваш личный, уж не знаю, на что похожий, поиск истины будет вестись в правильном направлении?– спросил Любезнов, вдруг сделавшись раздраженным – до того, что начал на некоторых буквах свистеть и даже по-стариковски плеваться слюной.

– Возрастающее чувство физического счастья,– подумав, ответил Рувимов.

Профессор несколько более громко, чем предписывается этикетом, звякал ложечкой в чашке.

– То есть, вы хотите сказать, что я, например, совершенно напрасно растратил свою жизнь, посвятив ее академической философской науке? – У него даже немножечко вздыбилась бородка, что означало высшую степень взволнованности.

– Ну что вы, профессор, – Рувимов, смутившись, опустил глаза. – Я всего лишь говорю о том, что лично для меня подобный путь немного слишком неприемлем, потому что... другого склада я человек, вот.

– Вы – вежливый, и это не может не радовать старика... – Профессор слегка успокоился. – Впрочем, я вас понимаю, Рувимов, и я вам даже завидую, да-да, завидую! Мне в молодости, и не только в молодости, а, пожалуй, всегда, не хватало смелости, обыкновенной человеческой смелости. Правда, и эпоха была неподходящей, но сетовать на эпоху и погоду, как говорят китайцы, грех для мудреца... Может, вы и правы, юноша. Я, грешным делом, собирался сегодня уговаривать вас, соблазнять всякого рода... ништяками, а теперь уже не хочу. Вы так хорошо молчите и так искренно говорите, что я не считаю себя вправе сдерживать порывы вашей души... Благословляю вас, если хотите, на вашем нелегком поприще.

– За это спасибо, учитель, – чуть поклонился Рувимов с чашечкой в руке.

– Я хочу пожелать вам великих приключений в неизвестном! – разошелся в благодушии Любезнов. – Ведь если я вас правильно понял, молодой человек, вы этакий научный авантюрист, эзотерик, искатель приключений.

– Возможно и так. Тайна мироздания вдохновляет меня, бросает мне вызов.

Сделали по глотку. Напиток действительно был прекрасен.

– Смерть! – проговорил вдруг визгливо профессор, вытаращив глаза и подняв вверх указательный палец. – Вот что всегда мешало человеку проникнуть в главные тайны!

И он, как будто опьянев от кофе, ударил кулаком по столу, правда, несильно.

– Ну, это вы, профессор, находитесь во власти иллюзий, извините,– стал возражать, встав с кресла и начав прохаживаться по клеткам паркета, Рувимов, тоже ведя себя несколько развязно. – Смерть личности это, извините меня, ерунда, а смерть тела тем более. А то, другое, которое является как нашей основой, так и основой самой вселенной, не может умереть, не умеет, да-с, не умеет.

Любезнов с чашкой кофе застыл, приподняв опять козлиную бородку вверх, сощурив глаза и сделавшись похожим на свой собственный портрет, висевший на стене почета в вестибюле заведения: таким и запомнился он навсегда Рувимову. (К слову, они никогда не виделись после этой встречи – профессор месяца через два скоропалительно скончался от мозговой опухоли.)

– Ха, ха, вы правы... вы правы... – профессор задумался, и вдруг встрепенулся, будто до этого спал, а теперь был пробужден. Он вскочил, посмотрел внимательно в глаза Рувимову, схватил его за предплечье и стал говорить быстро и запинаясь, приблизив губы к уху студента. – Знаешь, сынок, ты прав и в том и в другом, и в третьем, во всем прав. Как-то мы забыли о том, что вся эта наша наука была всего лишь одним из способов постижения этой волшебной реальности. Мы возвели свой жалкий предмет в культ, умертвили, размножили и убили... Ты, сынок, все правильно делаешь, беги из этого склепа, а я старик, мне уже все равно... Прошу об одном – навещай меня изредка, говори со мной... А философия – вздор, чепуха, правда твоя, Рувимов...

В завершение разговора случилась неожиданная и будто нарочно разыгранная профессором и учеником сценка. Рувимов, ничего не говоря, поставил чашку на стол, загасил в хитрой, препятствующей образованию дыма пепельнице сигарный окурок и пошел к выходу. За ним так же молча двинулся профессор. Некоторое время они шли по кабинету параллельным курсом. Рувимов

мов приблизился к двери и почему-то остановился, глядя на серое лицо Любезнова, видя каждую пору на коже. Хозяин рывком широко распахнул дверь, положил руку на загривок Рувимова и, сказав смачно «пшшшел», довольно ощутимым толчком в шею выставил студента вон из помещения.

6.

В бытность Рувимова человеком семейным, он, скорее, не желая вступать с супругой в бессмысленную полемику, чем действительно разделяя ее опасения насчет своего душевного здоровья, посетил кабинет университетского психоаналитика.

Психоаналитиком оказалась молодая да бойкая, на пике формы и в соку девица приятного облика с глазами чуть навыкате, будто все вокруг слегка изумляло ее самим фактом своей бытийности, и бюстом, тоже заметно выдающимся за среднестатистические нормативы. Она просила Рувимова обращаться к ней просто по имени – Алина, без всяких отчеств, и не испытывать никакого стеснения. «Хирурга же мы не стесняемся, обнажаемся перед ним, почему надо стесняться специалиста, работающего с психикой, не менее важной, чем, например, половые органы, частью сложнейшего конгломерата под названием "человек"?» Рувимов не имел, что возразить. Он понуро сидел в удобном кожаном кресле и курил, она разрешила.

– Итак, у вас есть проблема? – голос у девушки был довольно приятный, доверительный. Рувимову захотелось, чтобы она рассказала ему этим голосом какую-нибудь сказку, желательно для взрослых.

– Жена считает, что есть.

– А вы не считаете так же, как жена?

Рувимов недоуменно пожал, шмыгнул и поковырял.

– И что же за проблема, по мнению вашей жены, у вас имеется?

– Она говорит, что я социофоб или социопат, извините за выражения. И что у меня снижен, цитирую, адаптационный порог, необходимый для нормальной жизни в человеческом обществе.

– Так, – удовлетворенно кивнула Алина, и пальцы ее рук, поставленных локтями на стол, переплелись, – вот мы уже существенно приблизились к возможности четкой формулировки причины, заставившей вас прийти в этот кабинет... А вы действительно плохо ладите с людьми, как вы думаете? – Она прищурила глаза, наклонила головку и этак по-простецки, как школьная подружка, посмотрела на Рувимова.

– Пожалуй, – согласился тот.

– А в чем это проявляется?

– Видите ли, поступки людей кажутся мне безумными.

– Вы боитесь людей?

– Скорее испытываю к ним нечто вроде презрения... И вообще, все это кажется мне абсурдным, не имеющим смысла и не стоящим выеденного яйца.

– Что именно?

– Понимаете, я убежден, что все эти игры внутри общества – детский сад человечества, пережиток, доставшийся нам от обезьяньего стада. Современный мир – в лице меня! – идет прочь из уютной вонючей пещеры социума на морозный простор одинокого противостояния бесконечности. Красиво я сказал, доктор? Маски, которые вы хотите научить меня надевать и носить, представляются мне слишком неадекватной энергетической тратой. Я не намерен расплачиваться жизнью за мнимые ценности, дорогие движущемуся по кругу человеческому большинству. Для меня это фуфло, а не ценности. Я составляю сам список приоритетов. А мой визит можно считать чистой формальностью, шахматной уступкой в разыгрываемой нами с женой безнадежной, обреченной на вечный цугцванг партии. Я всего лишь оттягиваю момент, когда надо будет сметать фигуры с доски.

Алина выдержала паузу, внимательно глядя на Рувимова – бледного, загадочного и довольно уверенного в себе юношу. Рувимов, в свою очередь, пялился на психоаналитические буфера.

– Не разбираюсь, к сожалению, в шахматах, – сказала Алина. – А скажите, дорогой, глядя на мою грудь, какие желания вы испытываете – обнажить ее полностью, схватить руками, взять сосок в рот или может... провести между моими дыньками своим членом?

Рувимов вскинул брови – не особо, впрочем, удивившись: он с детства был довольно невозмутимым существом.

– Я бы выбрал все пункты с первого по четвертый последовательно. Но разве это входит в перечень терапевтических процедур? По-моему, ваше поведение несколько... непрофессионально.

– У меня свой метод, – прошептала вкрадчиво Алина и провела языком по губам, – идите сюда, пациент...

Рувимов, не будь дураком, послушно придвинулся к тете-доктору.

– Разыграем классический сюжет порнофильма? – спросил он, проворно просовывая руки под блузку мадам Алины и находя, находя ладонями эти два отвердевших теплых соска, да.

– Если мы станем друзьями, нам будет легче друг другу доверять, – она ловко расстегнула ремень на брюках Рувимова, сдвинула вниз замок на ширинке, приспустила его трусы и высвободила пленника. – И вообще, мне кажется, тебе не нужен психоаналитик, но нужен друг – в широком смысле слова. Хочешь, я им буду?

– Не могу ответить отказом. Налаживание дружественных связей между психотерапевтом и больным – основа успешного лечения.

Они перешли на кушетку, за ширму. Там она, одним движением сняв с себя юбку, под которой ничего не было, повернулась к Рувимову задом и наклонилась вперед. С этого ракурса детородный орган докторши был похож на слегка взломанный, соком истекающий аппетитный персик. Пациент незамедлительно приступил. В отношениях пищи и секса Рувимов был человеком прямого действия, ненужные человеческие рефлексии, ужимки и игры старался игнорировать, а потребности с минимальной затратой сил – удовлетворять.

Алина оказалась похотливой и ненасытной сучкой, изобретательной и веселой. Пожалуй да, такой подход к психоанализу нравился Рувимову больше, чем дурацкие унылые беседы о трудном детстве, перверсиях и страхах.

Он стал регулярно посещать кабинет. Это было радикально, забавно, и продлилось дней десять. Рувимов – наверное, просто по контрасту со своей душной брачной жизнью, просто отдыхал с Алиной телом и сознанием. Иногда, впрочем, она вспоминала о своих обязанностях врача и начинала изводить Рувимова вопросами: правда, что и вопросы ее были занятны и слегка странны – может, действительно, у девушки был какой-то свой, суперсовременный метод?

– Допустим, ты решил прыгнуть с крыши небоскреба, – своим вкрадчивыми грудным голосом раскачивала она психику Рувимова, когда они после секса лежали в расслаблении на кушетке, – какой будет, если, конечно, она будет, твоя последняя фраза перед прыжком?

– Здравствуй, мир!

– Назови точную сумму имеющихся у тебя сейчас в наличии денег!

– Пятьдесят один рубль.

– Какую игрушку в детстве тебе так и не купили?

– Заводного повара, который жарил пластмассовую яичницу.

– Зачем Дьявол придумал Бога?

– Я спрошу у профессора.

– Какую бы планету ты выбрал для жизни – Венеру, Луну или Марс?

– Марс, безусловно, Марс.

Ну а потом начал подозревать Рувимов, что девушка эта и вовсе не является настоящим психоаналитиком, но является психоаналитиком липовым, подосланным, подставным. Более он в том кабинете не появился. А потом неожиданно узнал, что человека по имени Алина Акулова никогда и не значилось в штатном списке работников, а заодно и студентов университета. Должность специалиста по психологической помощи испокон веков исполнял старый университетский врач Казимиров, лысый толстенький коротыш. Какая Алина? Вы о чем говорите, молодой

человек? Рувимов припомнил последнюю встречу с девушкой: как-то особенно въедливо и всерьез расспрашивала она его о взаимоотношениях с отцом, что и насторожило. Времени выяснять детали, истинные причины и настоящие имена у Рувимова не было: вокруг него начал тогда интенсивно сгущаться мрак, как будто кто-то невидимый и злобный медленно закрывал на окнах его души шторы. Рувимов поспешно обрывал все нити, связывающие его с миром людей, и пытался решить внутренние и внешние головоломки сам, ни в чьей помощи не нуждаясь, никому не веря, всех подозревая.

7.

Я бросил в воду свой телефон (давно хотел сделать это), и он глухо булькнул, не выдав никаких брызг, будто бы субстанция, наполнявшая восьмигранный водоем, обладала плотностью масла. День только еще начинался и представлялся мне в умозрительной перспективе разветвляющимся на сотни разноцветных, похожих на змеек бесконечностей. Было тепло и очень по-осеннему пахло дымом – где-то далеко жгли опавшую листву.

Солнце, излучая тихое безумие, сияло в бледно-синем небе над серыми параллелепипедами зданий. Пустота и покой смотрели на меня из оконных проемов с отсутствующими стеклами. Я спрыгнул с плиты, легким бегом побежал по коридору обратно, вернулся на кленовую аллейку и по ней пошел к низеньким, стоящим рядком строениям. Там было одно тайное местечко, что-то вроде сокрытого в тени высоких деревьев уголка для отдыха, где имелись: голая панцирная кровать, навес, металлические стол и стулья. В этом укромном уголке я намеревался пообедать и часок-другой подремать.

Подходя, с удивлением обнаружил, что место занято: двое – мужчина и женщина – уже сидели за моим столом. Сначала я подумал, что это бродяги, которые изредка заходили на территорию из дальних резерваций, но приблизившись, свое предположение обнулил. Это были вполне цивильно выглядевшие граждане, молодые люди лет под тридцать. Парень носил длинные волосы, собранные в аккуратный, но дистрофичный хвост, девушка, наоборот, имела короткую стрижку – жесткий ежик голубоватых волос топорщился на ее слегка чрезмерной голове. Парень был одет в кожаный жилет и кожаные брюки, подошвы его ботинок были подкованы, а на голове чернела туго завязанная бандана. На девушке был футуристический ядовитых цветов прикид. Космополиты, подумал я иронически. На столе лежали в импровизированной чашке фрукты и стояла бутылка приличного на вид коньяка, к которой, пока я приближался к ним медленным уверенным шагом, надвинув низко на глаза соломенную шляпу свою, они поочередно приложились.

– Добрый день! – поприветствовал гостей я. – Эксьюз ми, если помешал вашему ланчу.

– Отнюдь не помешали, добрый человек! – ответствовала, широко улыбнувшись, девица.

– Милости просим к столу! – громко проговорил парень, вскочив и с показным радушием бросаясь мне навстречу.

Подбежал и стал жать мне ладонь сразу двумя руками и даже кланялся мелко, с энтузиазмом, и все смеялся дурашливо. Глаза «молодого чемодана» приветливо и радушно искрились, но зубы в широко улыбающемся рту очень не понравились мне – они были зеленоватого колера и росли как бы через одного.

– Как хорошо, что вы зашли! – щебетал кожаный жилет. – Мы тут немного заблудились в этих лабиринтах... всю ночь искали выход, так и не нашли, и решили немного передохнуть, – парень говорил со странной интонацией, будто в обычные слова он заключал какой-то еще один, неявный и зашифрованный, смысл.

–Что ж, – отвечал спокойно я, – это бывает. Места здесь того... аномальные, мягко говоря. Хорошо еще, что живыми остались. Тут, знаете ли, всяческие подземные шахты, в темноте и не разглядишь их, навернешься – и кранты. И никто не узнает, где могилка твоя.

– Вот именно! Как это вы точно подметили!– подхватил с восторгом человек, словно перспектива погибнуть в старом колодце его несказанно радовала.

Он усадил меня на стул, металлическое сиденье которого заботливо накрыл кусками плот-

ного картона. Налил мне в стакан добрую порцию коньяку. Я понюхал и с наслаждением выпил. Молодой человек, улыбнувшись так, что лицо его покрылось глубокими морщинами, потер руки от удовольствия. Приглядевшись, я увидел, что тип этот не такой уж и молодой, каким казался издали, а даже наоборот – старый, лет около сорока пяти. Выглядел он как типичный рокер семидесятых, вышедший в тираж, в отставку, за скобки современности.

–Ну-с, давайте знакомиться!– воскликнул он. – Меня Герман зовут, а ее – Маргарита!

– Рувимов,– с достоинством представился я, приподняв головной убор.

– Вы здесь живете, Рувимов? У вас вид аборигена.

– Живу,– кивнул угрюмо я, – но не постоянно, а так – время от времени.

– Вы прямо Тоширо Мифуне, сумрачный самурай! – засмеялась девушка.

Я даже не улыбнулся в ответ.

– А как называется это место? – Герман широким жестом обвел вокруг.

Голоса наши звучали в пространстве зоны странно – звонко и неуместно; редко, редко слышали эти деревья и здания человеческую речь.

– Химкомбинат «Юго-западный», а впрочем, никак, – ответил я на его довольно странный вопрос. – Как же вы сюда забрели?

– Случайно! – произнесла радостно девушка Маргарита. И, видимо разглядев на моем лице недоверие, принялась объяснять. – Понимаете, искали тут в округе один подпольный концертный зал и затерялись. Впрочем, мы не жалеем о случившемся. Здесь так мило!

Я припомнил, что да, где-то в 20 километрах в другом направлении от трассы, в бывшем лагере для политзаключенных иногда проходят концерты самодеятельной группы «Тоталитарная секта». Но идти туда, а забрести сюда... Маловероятно. Что-то в облике пришельцев заставляло меня сомневаться в каждом произносимом ими слове. Мои антенны вибрировали, улавливая тревогу.

– Да, очень мило и больше того! – подтвердил Герман слова подруги. – Даже не хочется покидать! Вы не возражаете, если мы, немного подкрепившись, погуляем по этой прелестной территории в вашем сопровождении в качестве гида и проводника – вы тут, наверное, все знаете?

Я пожал плечами:

– Я не сказал бы, что являюсь знатоком. Местность столь обширна, что я и сам иногда теряю здесь всякий ориентир. Но против компании не возражаю. Сегодня не возражаю. В другой день бы, наверное, послал вас ко всем чертям, даже не подошел бы, но сегодня я в сентиментальном настроении...

– Вы, наверное, что-то особенное ищете здесь? – с дешевой мечтательной интонацией спросила Маргарита.

– Да, ищу. Только не «что-то», а «кое-кого»... Но больше, предупреждаю вас, на эту тему ни слова.

Герман сощурил глаза и кивнул мне в преувеличенном выражении понимания.

– Давайте продолжим трапезу, после чего отправимся в путь! – предложила Маргарита, кокетливо и легонько толкнув меня в плечо.

Я, пропустив ее жест, как пропускают глупую реплику, вытащил из рюкзачка припасы, и мы закусили перед дорогой.

8.

Мы шли по цеху одного из корпусов, шумно ступая по металлическому полу. Какие-то адские котлы с ярко-оранжевым налетом на стенках стояли рядком вдоль стены. Уже довольно долго держалась меж нами натянутая бессловесная пауза, инициатором которой выступил я, проигнорировав несколько раз заданные ими вопросы. Уж больно много они болтали, а я не люблю, когда трещат. И вообще, спутники мои мне все больше не нравились: я подозревал их.

– Здесь что-то нехорошее варили, – нарушил молчание Герман, заглянув в один из котлов. – Какой странный запах.

– Не советую нюхать, – сказал я.

Гулкое эхо повторяло наши слова. Мы нырнули в проем, и я повел их вверх по змеевидной лестнице. Металл ступенек звенел под копытами старого рокера. Мы вышли на крышу. Вид открывался отсюда впечатляющий. Столбы электролиний, каркасы зданий, металлические резервуары, цистерны, трубы горизонтальные изогнутые в серебристой обмотке, трубы вертикальные бетонные и потрясающий горизонт.

– Ого! – только и смог выговорить Герман.

Лицо волосатика в ярком свете солнца производило вовсе неприятное впечатление – оно казалось как бы раскрашенным в различные оттенки серого и зеленого, как у мертвеца.

– How lovely! – воскликнула Маргарита.

Она слегка пластмассово улыбалась и тоже выглядела хреново: проступила наружу некоторая хищность черт. Было ощущение, что привыкшие жить во тьме, существа эти чувствовали себя в солнечном свете неуютно, но старались сие обстоятельство скрыть, хорохорясь и изображая энтузиазм.

Мы долго стояли на крыше, куря сигареты и попивая из емкости. Потом я повел их к шахте недействующего лифта, и мы спустились по отвесной лестнице на этаж ниже. Там я завел их в ангар, где стояли в полной стратегической готовности вагонетки на рельсах, рельсы под углом шли вниз, проходя через этот и многие другие корпуса; по оным рельсам можно было уехать далеко-далеко, на край света.

– Карета подана, господа, – произнес я, приглашая парочку на колесную прогулку.

Мы сели в одну из вагонеток, и я дернул рычаг.

Механизм заработал, и мы поехали, медленно набирая скорость. Начальный участок дороги проходил под самым потолком высоченного цеха. Я-то уже много раз испытывал эти непередаваемые словом (жестом, пожалуй, можно передать) ощущения, возникающие при скольжении над бездной, а эти двое глядели вниз с ужасом: дух, и вправду, захватывало и долго не отпускало. Затем мы въехали длинный темный тоннель и, выехав из него, стали небыстро катиться через производственные помещения. Это было нечто вроде экскурсионного маршрута. Тут были склады с пластиковыми, наглухо запечатанными синими контейнерами, стоящими вдоль стен многоярусными рядами, тут были лабораторные комнаты, пол которых был на несколько сантиметров усыпан битым стеклом, тут были открытые пространства под бледно-синим небом.

– Не, а вот интересно, чо за херотень здесь производили? – спросил вдруг меня Герман развязным тоном, выпадающим из общей стилистики нашего общения, будто он, забывшись, вышел из роли.

– Не имею понятия, – сухо ответил я. – Есть вещи, о которых лучше не знать. Слышал только, что объект был сверхсекретным и официально не существовал.

Я сказал ему правду; проведя некоторое время назад архивно-библиотечное расследование, я столкнулся на первоначальном же этапе с забавным феноменом: все данные о деятельности комбината были засекречены специальным матрешечным способом, и добраться до сердцевины постороннему человеку не представлялось возможным. Мне даже не удалось выяснить хотя бы примерные даты, когда комбинат был пущен в действие и когда и по какой причине остановлен. И какое время продолжалась работа, я тоже не знал. Туман и нагромождение мистификаций.

Герман покивал, ухмыляясь.

– А не попадалась ли тебе здесь, друг, одна дверца с опознавательным номером 999 и литерой «Z»? – опять спросил с вывихнутой какой-то интонацией этот субъект, во время резкого разворота вагонетки схватив меня за плечо и больно плечо сжав.

– Нет, – ответил я односложно и довольно грубо вырвал руку. Его вопрос мне не понравился еще больше, чем предыдущий. Я опять всмотрелся в инфернальные лица новых знакомцев. Нет, они явно не были теми, за кого себя выдавали – заблудившимися меломанами.

– А старика по прозвищу Палочник никогда здесь не встречал?– это спросила синеволосая Маргарита, наивно глядя на меня неестественно зелеными (должно быть, контактные линзы)

глазами.

Это было последней каплей.

– Не приходилось, – угрюмо процедил я, глядя на проплывающую мимо стену, испещренную иероглифическим барельефом.

Я знал заочно Палочника, теневого обитателя здешних мест, но им о его существовании знать было совершенно не положено, тем паче в начале беседы они якобы даже не имели понятия, что это вообще за местность.

–А вмазаться не хочешь, друг? У нас есть!– с мерзостно сияющей от поддельного восторга физиономией проскрипел Герман.

Я поспешил отказаться от такого угощения. Все стало ясно. Надо было со шпионами кончать. Дождавшись нужного поворота, где вагонетка проходила аккурат к перекрестку, я спрыгнул на дребезжащую и шаткую поверхность мостка. Схватившись за ржавую стрелу, я перетащил ее в сторону, в полу открылся тоннель, и повозка, перенаправленная на новый, опасный и непредсказуемый путь, устремилась в глубокий мрак.

– Эй, эй! – стал кричать из темноты волосатый. – Ты что–то не то подумал, чувачан! Мы свои, мы с тобой одной крови, брат! А про всю здешнюю кухню нам один местный перец вчера рассказал! Да ты его, наверное, знаешь... такой невзрачный, вроде как без лица!

– Нет, не знаю. Прощайте, товарищ майор! – успел крикнуть я и скрылся за изгибом стены.

Вагонетка сделала резкий скачок на уровень вниз и с высокой скоростью помчалась далее – в преисподнюю.

– Стой, дурак! Мы тут не при чем! Нас подставили! Мы пошутили! – донесся до меня голос Германа.

– Я тоже пошутил, – пробормотал я, улыбаясь: покинуть железную дорогу без опасности для здоровья они теперь смогут очень нескоро, вагонетка будет долго мчаться по наклонной вниз, через подвальные помещения, а потом покатится, опять же, под уклон и на возрастающей скорости, по подвесному мосту вдоль подземной зловонной речки, во как. В конце пути они попадут в ангар, из которого есть только один выход – по лестнице через бесконечную вертикальную шахту за пределы зоны.

Ловко я от них избавился. Однако, это тревожный звонок, которого я ждал и боялся. Комбинат стали посещать посторонние, и не просто посторонние, а нехорошие и опасные посторонние. И тут я принял спонтанное решение: отыскать, в самом деле, Палочника (это, кстати, было и не прозвище вовсе, а самая что ни на есть фамилия симпатичного старика) и с ним поговорить. Давно собирался вступить со знающими людьми в контакт. Тем более, время идет, а враги не дремлют. Да только теперь они меня здесь не скоро найдут: отныне буду ходить запасными тропинками.

Чутье подсказывало мне, что в моей жизни грядут новые, пуще прежних, изменения.

9.

Отец Рувимова выпивал редко, только по случаю, но каждый раз, будучи во хмелю, он совершал один и тот же в отношении сына поступок – дарил ему свои часы, сымая их со своей руки и надевая на евойную. Часы забавно смотрелись на тонком детском запястье, они были огромные и тяжелые, но красивые – с темно-зеленым циферблатом, на котором был изображен симпатичный олимпийский медведь; сын таскал часы весь вечер, пока шла пьянка-гулянка, в них и засыпал безмятежным детским сном.

Рувимов был малыш понимающий и утром всегда отдавал часы папе, поскольку тому, человеку труда, были они нужней. Отец разводил руками и конфузился, хлопал себя по начинающей лысеть голове. Говорил сынку, что, дескать «пока они все равно для тебя велики, но вот потом, когда стукнет тебе лет хотя бы тринадцать...». У отца ничего сугубо личного, кроме этих часов, в общем-то, и не было, и его поступком руководила любовь к сыну, желание отдать последнее, самое дорогое. Рувимов думал так до последнего времени, но недавно закралась ему в голову другая

мысль – а не стояло ли за жестом отца нечто еще, кроме чисто родительского чувства. Рувимову стало казаться, что таким образом папа пытался дать ему какой-то знак, намек на будущие события, снабдить артефактом, могущим пригодиться на высших уровнях жизненной игры. Уйдя из дому, отец оставил-таки часы на его прикроватной тумбе. В классе седьмом Рувимов некоторое время носил их, потом перестал и посчитал потерянными, а с недавних пор, отыскав в бабушкином шкафу, стал носить их опять. Как символ внутренних изменений.

Подобно любому ребеноку, он постоянно задавал отцу вопросы обо всем на свете. Отец всегда отвечал ему обстоятельно и как взрослому, то ли в силу чудаковатости своей забывая, что говорит с ребенком, то ли пользуясь редкой для него возможностью выговориться, не увидев на лице слушающего снисходительной или жалостливой улыбки. «Онтологические противоречия», «логические парадоксы», «сингулярность» – проскальзывало и такое. Особенно любили поговорить папа с сыном о космосе.

Рувимов четко, как въяве, видел в иные минуты жизни навсегда запомнившуюся картину: поздняя летняя ночь, может быть даже раннее утро, они стоят с отцом где-то в поле и смотрят на звездное небо. Одно из небесных светил выглядит гораздо больше остальных и имеет красноватое свечение. Сын спрашивает отца, что это за звезда.

– Это планета Марс, сынок! – отвечает отец почему-то торжественно. – Кстати, вполне возможно, что ты попадешь туда в будущем.

– А на Луну? Я хочу на Луну!

– Луна, сын, гнилая планета. Ее жители – злобные и безжалостные твари. А Марс – планета дружбы. Марс и Венера – будущее человечества. Земляне и жители этих двух миров когда-нибудь обязательно найдут способ увидеть друг друга. Если селениты (лунатики) снова не вмешаются... Понимаешь, сынок, однажды они уже сбили нас с пути, внедрив в наш разум свои вирусы, замаскированные под собственные наши мысли...

Жаль, память Рувимова не сохранила рассказы об этих космических делах целиком – только отрывки. Он помнил только, что это была увлекательная, стройная и совершенно фантастическая модель мироздания. Мать презрительно называла эти разговоры «мудацкой космогонией». Маленький Рувимчик (так его называл шутливо папа) слушал, конечно, с разинутым ртом.

Что еще? Недавно отчетливо вспомнился ему один странный, почему-то ранее его сознание нимало не занимавший случай. Однажды они сидели дома с отцом одни (мать была на дежурстве), было поздно, и вдруг в дверь постучали.

Стук был деликатен, но одновременно и требователен, так стучит человек, который не тварь, а имеет право, и в праве этом уверен; так стучит человек, который точно знает, что он войдет, даже если ему никто не откроет. Но отец открыл – нараспашку и не спрашивая, кого принесло. Отец ничего и никого в этом мире не боялся: святая простота.

В квартиру вошел мужчина, одетый в строгий костюм, он был сер и неприметен, как кусок грунта, но в то же время излучал неуловимую мыслью значительность: рядом с ним у любого человека возникало желание осторожно молчать и смотреть куда-нибудь в сторону. Лицо его не имело не то чтобы особых, но и вообще каких-либо примет, лицо его было типичным и среднестатистическим, как на плакатах, которые висят на стенах государственных учреждений. Можно сказать, что лица у него не было вовсе. Такие люди, приходя, не могут принести с собою благо.

– Добрый вечер, Эдуард Михайлович, – произнес он бесцветным, как воздух, голосом.

Отец, заметно затуманившись взором, кивнул, и они прошли на кухню. Рувимов прошмыгнул было за ними, но его живо из кухни выставили, как убитую шахматную фигуру. Пришлось подслушивать. Он тогда мало что разобрал в их приглушенном «бубубу», но по тону было понятно, что разговор у взрослых происходит не дружеский. Вроде бы этот серый человек сначала отговаривал отца от чего-то, а потом стал даже и угрожать. Упоминалась работа отца – он трудился в каком-то захолустном институте преподавателем, будучи там совсем не ведущим, но самым младшим сотрудником (маленький Рувимов тогда представлял остальных сотрудников на работе у отца совсем стариками, раз уж батя, с залысинами и бородатый, считался там молодым). С ра-

боты, кстати, отец ушел вскоре после этого разговора, а потом, спустя, наверное, полгода, свалил и из семьи. Связать эти события между собою Рувимов додумался только теперь.

Тот безликий человек тогда, на кухне, кажется, бросился на отца: слышался звон посуды и душераздирающий скрип, какой бывает, когда по паркету неаккуратно двигают мебель. Они дрались там, причем совершенно молча. Затем кто-то взвизгнул – скорее, гость, потому что именно он выскочил из кухни, согнувшись и держась за лицо руками. В прихожей он, тем не менее, выпрямился и пошел уже нормальным шагом, перед дверью остановился, развернулся на каблуках, как механический болван, посмотрел внимательно на малыша, задрожал мелкой дрожью и растаял, как тень, в тусклом свете лампочки. У отца, когда Рувимчик заглянул к нему на кухню, было такое выражение, что сын не решился задавать ему вопросов. Отец сидел за столом, тяжело дыша и болезненно сглатывая.

– Спать! – тихо и зловеще приказал он, увидев сына, и мальчик бросился в свою комнату.

Когда он учился в первом классе (отец на тот момент уже отсутствовал) и его спрашивали о работе родителей, про мать он отвечал, как есть, а про папу говорил, что тот ученый и занимается вопросом колонизации Марса. В дальнейшие годы продолжал врать, но выдумки его были с каждым разом все более приземленные. То он у него становился археологом и уезжал в бесконечные экспедиции, то снимал кино. В классе восьмом, уже будучи хмурым и презирающим тупых одноклассников подростком, Рувимов коротко сообщал, что отец его уехал на остров Калимантан, сошел там с ума и покончил с собой, прыгнув в пропасть. А позже и вовсе ставил в этой графе своей биографии прочерки.

10.

В начале минувшего лета у него случился день рожденья, и Рувимов, никогда в жизни своих дней рождения не праздновавший, дал слабину и поддался на уговоры жены, вознамерившейся знаменательное событие публично отметить.

А то как-то не по-людски, говорила она. Все-таки 22 года. Магия дважды двойных цифр на Рувимова почему-то подействовала, и он сдуру дал согласие. Так как друзей у него не было, приглашены были люди из окружения Рыжей – ее подружки, одногруппники (она училась в престижном юридическом заведении), бог знает кто еще, пыль какая-то человеческая.

Была закуплена снедь и накрыт стол, как в лучшее время. Гости в количестве десяти штук явились, формально поздравили Рувимова, который был им в общем-то до дверцы, одарили его какой-то символической чепухой, совершенно ему ненужной, и с удовольствием принялись жрать, пить и балагурить. Некоторое время Рувимов даже улыбался им, имитируя полноценное участие в празднестве, после первой выпитой рюмки начал необратимо мрачнеть и терять благодушный настрой.

Шустрые, рослые и румяные друзья и подружки жены были очень шумны и вели себя, что называется, непосредственно. Мир безоговорочно принадлежал им и не вызывал у них никаких вопросов. Сомнения были чужды этим толстомордым середнячкам, статистам момента. Бука Рувимов выбрал из числа приглашенных существ двоих, особенно типичных, и принялся наблюдать за ними с хмурым пристрастием, словно изучал неприятный вид живых организмов, каких-нибудь гигантских мокриц, которые дышат шевелящимися ножками. Эти две особи были парой. Девка, блондинистая, плечистая и высокая кобыла с синими бессмысленными гляделками, все время смеялась, широко разевая рот, подробно показывая идеальные зубы. Мужлан, тоже блондин с красной мордой, на которой застыло тупое выражение мнимого превосходства, был рассудительно немногословен и уверенно за столом взял на себя должность этакого распорядителя. Рувимова раздражал каждый жест этих двоих, каждая реплика. Завязалась за столом какая-то многоэтажная, подноготная беседа, смысл которой был понятен всем, но не Рувимову. Про каких-то общих знакомых, которые женились или наоборот, что-то там было смешное в этой истории – каждая новая фраза, произнесенная тем или иным участником разговора, вызывала у остальных взрывы отвратительно громкого смеха, похожего на тот, который звучит за кадром в несмешных

телевизионных комедиях. Блондинка (звали ее, пожалуй, Вика) реагировала особенно живо, она хватала присутствующих за руки, как бы удерживаясь от падения на пол вследствие веселого обморока. Дурак-бойфренд ее, глухо гогоча, закатывал глаза и колотил по столу рукой с короткими и толстыми розоватыми пальцами.

Рувимов, переводя взгляд то на одно, то на другое животное, некоторое время держался, но потом резко встал и ушел на кухню, якобы покурить. И курил там долго, прислушиваясь с болезненным вниманием. Обсуждение одной и той же темы длилось бесконечно. Рувимов курил и выпивал на кухне, достав из холодильника одну из запасных бутылок. Несколько раз к нему забегала Рыжая и произносила глупую фразу «ну ты чо как неродной?» и убегала опять. Рувимов не удостаивал жену ответом. Потом заходил блондин и о чем-то пытался поговорить с Рувимовым. Кажется, рассказывал о своей работе в банке. Был он в банке этом начальник отдела, что ли. Кажется, он предлагал Рувимову помощь в поиске места под солнцем, и вообще – покровительство. Рувимов с неприкрытой ненавистью глядел на блондина (возможно, его звали Толян) и до диалога с банковским работником не снизошел. Толян, хмыкнув и хлопнув Рувимова по плечу, исчез из кухни. Не пьянея, Рувимов продолжал пить.

Потом заиграла музыка. Рувимову стали видны скачущие по комнате силуэты. Как раз те двое – плечистая, как хоккеист, Вика и красномордый Толян танцевали почти у дверного проема. Танец распалил их, и они, изогнувшись в дверях, чуть ли не занимались там актом совокупления. В глубине комнаты к наголо бритому улыбчивому однокласснику льнула телом жена. Нет, какая там ревность – такие чувства Рувимов перестал питать душевной энергией много лет назад. Он просто наблюдал, жалея об утрате времени, ругая себя за слабость, в результате которой это абсолютно посторонний ему народ топтался сейчас в его квартире, и желая все разом прекратить. Гостям было хорошо, удобно, вольготно. Ему же – наоборот: тошно и душно. Вечеринка только начиналась, предстояли следующие, не менее волнующие стадии. Рувимов вздохнул и решительно прошел в ванную. Взял пластмассовое ведро и набрал в него холодной воды. Вошел с ведром в комнату, задал хороший размах и вылил воду в толпу гостей.

Крики, визги. Мокрые недоумки застыли с ошеломленными глупыми лицами.

– Ты ебнулся, братан? – угрожающе спросил Толян.

– Вон отсюда все, живо! – тихо проговорил Рувимов. – Всех попишу, суки! – и схватил со стола нож.

– Да ты успокойся, родной, – попятился Толян, выставив руку. С белых бровей его капала вода.

– Я два раза не повторяю. Она знает, – Рувимов кивнул на Рыжую и та, застывшая в углу с гримасой отвращения на лице, кивнула в знак согласия. – Пошли все вон! – еще раз четко и медленно и спокойно проговорил Рувимов.

Гости, двигаясь гуськом вдоль стены, стали покидать помещение.

– Ты тоже, Наташ, – сказал Рувимов жене, вознамерившейся было упасть как бы в бессилии в кресло.

Рыжая вскочила, хотела броситься на Рувимова, но тот руку с ножом угрожающе приподнял.

– Я не шучу.

– Ты совсем с катушек съехал?– только и смогла выговорить, размазывая по щекам тушь.

– Считай, что так.

Недовольно бурча, гости вышли сначала в прихожую, потом на лестничную клетку.

– Лечиться надо, шизоид! – успела крикнуть уже в дверях кобыла Вика.

Рувимов сделал в сторону уходящих ложное движение. Дверь с хлопком захлопнулась.

Рувимов, теперь уже с наслаждением выпил налитую до краев рюмку. Дело было сделано. Посторонние элементы из поля зрения удалились. Рувимов лег спать. Жена явилась ночью. Разбудила его, потребовала объяснений. Не получила таковых, но выбила из мужа обещание, что больше никогда. Никогда, никогда. Они расстались примерно через неделю.

II.

Палочник жил в трансформаторной будке на окраине зоны. Путь туда был долог и небезопасен. В одном месте нужно было пересекать обширное болото по каменным кочкам, из которых половина была ложная, в другом месте пришлось ползти через узкую трубу, благо, я человек тонкокостный и не застрял, а только испачкал покровы. Еще там был узенький хлипкий мостик через котлован. Я преодолел все препятствия. Отворил чугунную калитку и ступил во дворик. На трансформаторной будке сидела, обозревая даль красными, истекающими слезой глазами, огромная собака размером с молодого бычка. Я подошел к дому, пес меланхолично посмотрел на меня с высоты и что-то презрительное промолвил. Дверь со скрипом открылась, навстречу мне вышел белобородый стройный старик. Глаза его, очень живые и очень синие, изучали меня пытливо и пристрастно. Подойдя ко мне, он даже дернул меня за нос, желая, видимо, убедиться, что я состою не из туманной субстанции. Старик был одет в серебристый праздничный фантастический комбинезон, а не в свой обыденный стилизованный под лохмотья, но тем не менее добротный и крепкий костюм, в котором костюме я его как раз и наблюдал издалека несколько раз скачущим по холмам, не решаясь приблизиться и осуществить ритуал знакомства. Вообще-то стариком назвать этого дядю можно было только с натяжкой, скорее, он производил впечатление загримированного под типического дедушку молодого человека: морщины как бы просто обозначались на его лице, борода казалась прикрепленной, а движения были порывисты и легки. Энергия просто сочилась из всех его пор, он даже подпрыгивал на месте от ее избытка. Должно быть, употреблял какие-то мощные стимуляторы.

Звали его Потап Панкратович Палочник. Одна рука у него была механическая, но функционировала получше чьей-нибудь настоящей. Не исключено, что механическими были и иные части тела его – Палочник был кудесник. Закралось у меня подозрение, что каким-то образом он черпает энергию для своей жизни из старых генераторов-трансформаторов: вставляет себе в затылок разъем и врубает ток. Потому всегда такой бодрый и немного как бы поддатый.

– Ты кто таков будешь, оборванец? Зачем пришел, дурак? – резко, но в то же время и ласково спросил меня Потап Панкратович.

– Рувимов моё фамилие, – отвечал я в простонародной манере, желая угодить. – А пришел я к вам, дедушка, просто так, заради беседы душевной.

– Говорю я с человеческим хламом редко. Не знаю, буду ли с тобой говорить. От настроения зависит, – старик насупил приклеенные брови.

– У меня вот тут коньячок есть. По поводу знакомства, – я достал из рюкзака и продемонстрировал. Не тот, который мы пили со шпионами, тот был прикончен, а уже мой, личный, для таких вот встреч нарочно приготовленный.

–Ну-ка, дай-ка позырить, – протянул механическую конечность старик.

Я дал. Старик просканировал бутылку взглядом, откупорил и отпил добрую четверть.

– Неплохой, – кивнул одобрительно.

Я тоже хлебнул.

– Ну-с, болван китайский, пройдемся. Я на одном месте долго стоять не люблю. Пес дом посторожит, – он повернулся, улыбаясь, к собаке. – Капитоша, посторожишь?

Пес меланхолично кивнул.

– Капитон у меня охранником работает. На полставки. Человека, ежели что, пополам, как кость, перегрызть могёт.

Мы пошли по узкой тропинке между глухих без окон и дверей низких строений. Поначалу мне было сложно подстроиться под подпрыгивающий полубег Палочника, я отставал и семенил, но потом вошел в ритм, и мы стали идти вровень.

– Так зачем же ты бродишь по зоне как неприкаянный бабуин? – спросил меня Потап Панкратович, ударив несильно в грудь.

– Я, Потап Панкратыч, себя ищу.

– Нельзя найти того, кого не существует, ушлёпок.

– Эт-то я понимаю. Но вдруг сам процесс поиска и сформирует меня из небытия. Может такое быть?

– Ты не умствуй, червяк. – Дед выхватил бутылку и снова отпил – уже малый, символический глоток. – Философ?

– Был. Но сейчас бросил.

– Правильно, что бросил. Не то это, не то, – помотал бородой, как веником, застыл, задумался на короткое время, потом снова помотал. – Нет, не то...

Подпрыгнул старик на месте, побежал вперед и кричит мне, оборачиваясь на ходу:

– Давай-ка вот на эту горку взберемся, да поглядим окрест: все ли в порядке в нашем государстве, не шляется ли по закоулкам какая сволочь посторонняя!

Дед, как шимпанзе, запрыгал вверх по куче металлического лома. Гора эта из ржавых труб и каркасов была высоченной и смотрелась неустойчивой. Мне показалось, в любую минуту может произойти катастрофический развал. Но делать было нечего, я стал карабкаться вслед за Палочником. Он уже маячил чуть ли не наверху, а я только начинал восхождение. Что-то обидное и смешное кричал мне сверху резвый старик, питающийся электричеством. Несколько раз чуть не ухнув вниз (это была бы пронзительная, красивая смерть), все же добрался я до вершины. Да, весь окраинный сектор был виден как на ладони.

– Ну что там, задохлик, еще у тебя за душой – выкладывай! – Панкратыч снова стукнул меня, на этот раз по спине, да так неожиданно, что я поперхнулся, и перед глазами у меня поплыли разномастные кружки и треугольнички.

Я откашлялся, глотнул напитка и заговорил.

– И кроме того, ищу своего отца я. Батю родного, родителя. Видел его десять лет назад в этих местах и почему-то мне кажется, что...

– Кажется ему, малахольному...– перебил неугомонный старик. – Крестись, раз кажется! Или не веруешь?

– Не верую, – вздохнул я.

– Это тоже правильно. Вера – еще один род умствования, самый дурной.

– Ну так что на счет бати моего – не встречали здесь? Эдуард его имя. А прозвище, для тех, кто знал, Вольтанутый.

– Эдуард Вольтанутый? – Палочник ошарашено вытаращил. – Так ты сын ему? родной сын? не врешь?

– Не вру, дедушка. Мне его – вот так найти надо, – я показал как, проведя пальцем по горлу.

– А зачем он тебе, лишенцу? – старец продолжал удивленно смотреть на меня невыносимым немигающим синим взглядом.

– Дело у меня к нему. Космической важности. Время пришло, понимаете? Он жив? Вы это наверняка знаете?

– Скорее жив, чем мертв, хотя давненько я его не видел. Но вот такая штука – Эдик уже лет этак несколько как разговаривать перестал – словами, по крайней мере, все больше молчит да хмурится. И вообще перестал – всё перестал, ну или почти всё. Он, я слышал, к сурьезным переменам в жизни своей готовится. Не знаю, примет ли тебя...– Старик явно что-то недоговаривал. – Но, раз говоришь, сыном приходисся, так и быть, расскажу тебе, как до его дома добраться. Только опасное путешествие может выйти, ой опасное...– Палочник вздохнул, пригорюнился было, но тут же снова сверкнули глаза его заразительным безумием. – Сдохнуть готов, хер собачачий?

– Готов, Потап Панкратыч, давно готов!

– Тогда тебе – вниз. Все время вниз. Там, там батя твой обитает!

– На третьем уровне?

– На нем. Откуда знаешь?

– Не поверите – приснилось! А вход туда через восьмигранный бассейн? Дверца 999–Z?

– Ну да. Так ты сам все знаешь, говорун! А я тут перед тобой... – Палочник махнул рукой, будто бы обидевшись, и хотел было уже сигануть с горы прямо вниз, но я схватил его за бороду.

– Нет, нет, постойте! Дальше–то мне куда? И как я открою дверцу?

–А, ну дверцу откроешь вот этим ключом, – старик вынул из нагрудного кармана. – Это универсальный живчик-ключ, мое изобретение, открывает любые двери в этом городе. Попадешь в резервуар, там жди, пока схлынет, не барахтайся. Если система сработает нормально, не задохнешься, если не сработает, что вполне возможно, то пиздарики тебе, студент... – Обаятельно улыбнулся, собрав морщины и сияя глазами.

– А дальше?

– А там встретят тебя, кому надо. И куда надо отведут. Скажешь, что от меня. Покажешь вот, – он опять пошарил в кармане и вытащил механическую игрушку, вроде маленькой, тщательно сделанной мельнички, нажал, все вдруг заискрилось вокруг, замелькало, сильнейший ветер едва не сбил меня с ног; Палочник выключил, – чтоб поверили. Это есть ускоритель.

– Ускоритель чего?

– Ты давеча время упомянул. Вот его и ускоряем. Эта штучка схлопывает в голимое ничто ровнехонько один планковский миг.

– Это миллиардная или что-то вроде того часть секунды?

– Во-во. Я тоже, как твой батяня, научным ремеслом промышляю.

Я спрятал штучку и стал жать Панкратычу руку.

– Ну спасибо, дорогой, выручили! – сердечно благодарил его я. – Побегу я, до темноты нырнуть надо, а то не увижу потом ни хрена под водой. – И я бросился вниз, играючи перепрыгивая через опасные участки кручи.

– А третий глаз тебе на что, губошлеп? – услыхал я вдогонку. – Не разглядит он! Да и не вода там!

– А что? – крикнул я на бегу.

– Сам узнаешь! Прощевай, дефективный!

12.

В детстве, лет до десяти, Рувимову прочили будущее выдающегося шахматиста. В шахматном школьном кружке он был лучше всех, включая прыщавых и сутулых очкариков-старшеклассников. Руководитель кружка, сам похожий на шахматного коня, одобрительно кивал, когда наблюдал за игрой маленького Рувимова: тот двигал резные фигурки по доске смело и вдохновенно; быстрая и точная вычислительная работа мозга удачно дополнялась прекрасной фантазией. Школа гордилась Рувимовым, даже повара в столовой наливали ему за ясный ум дополнительное молоко. Но однажды в классе появился новый ученик – приехал с родителями из другого города, из Тамбова, что ли. Говорили, что вот он-то и есть настоящий «чудесный ребенок», феномен, и Рувимов будет теперь смещен с пьедестала. Звали новенького Коля Мещеряков. Феноменальной у него была прежде всего форма головы – перевернутой грушей или же лампочкой. А так – тихий и неприметный мальчонка. Однако по прошествии короткого адаптационного периода, новичок и впрямь обнаружил недюжинные математические способности и свою репутацию вундеркинда подтвердил. Выказывал он интерес и к шахматам – записался в кружок, пару дней понаблюдал за играми товарищей, тараща черные, навыкате, бусины глаз на клетчатые доски, а затем в течении недели обыграл всех школьных шахматистов, включая Рувимова, а заодно и похожего на деревянного коня преподавателя. Серьезный и молчаливый, сосредоточенный, как робот последнего поколения, новичок Николай раздражал расслабленного, пребывающего все еще в радужном и романтическом периоде жизни Рувимова, пробуждал в нем неприятное ему самому чувство зависти к таланту. Впрочем, тут скорее была не зависть, а видение в этом уникальном мальчике какой-то неправильности, дисгармонии. Рувимов с навязчивой настойчивостью наблюдал за Колей Мещеряковым, чувствуя, что по какой-то причине должен постоянно изучать его, следить за каждым его шагом. Механический же мальчик ни на что другое, кроме постоянно происходящего в его голове счетного процесса, внимания не обращал, живя как будто в плотном коконе. То есть он разговаривал с одноклассниками, иногда улыбался шуткам, но без души: какая-то важная часть его существа все-таки была словно замещена чрезмерно развившейся математической областью мозга.

Однажды в класс принесли малоизвестную детям головоломку, некогда придуманную венгерским инженером Рубиком. Никто не мог разгадать ее секрет. Бессмысленно вертелись, вкусно при этом хрустя, грани с перепутанными цветами. Не смог собрать головоломки и Рувимов. Коля Мещеряков, явно видевший игрушку впервые в жизни, взял ее в руки и осмотрел со всех сторон, изучая, впиваясь инопланетными буравчиками в грани кубика. Стал крутить. На его костяной голове надулись от напряжения мозга височные мышцы. Через минуты две кубик был собран. Пот выступил на лбу Мещерякова, из глаз и почему-то из носа у него потекло. Упражнение лишило мальчика всей имеющейся у него в наличии энергии. Рувимов посмотрел в совершенно безумные глаза гениального ребенка и испугался: ему больше не хотелось быть лучшим шахматистом школы. Тут еще подскочил к Мещерякову скотина Мамаев, крикнул в притворном перед вундеркиндом испуге «Франкенштейн!» и острым концом деревянной линейки-треугольника несколько раз врезал по феноменальному лбу. Тонкими струйками потекла по лицу Мещерякова кровь из ссадин. Он, сопя, смотрел на гориллу Мамаева, и его аппарат работал сейчас вхолостую, ибо никакие вычисления не могли помочь ему остановить распоясавшееся зло. Рувимову стало жалко парня, и Рувимов подал ему свой платок, а Мамаева, на которого имел влияние, угомонил.

С тех пор охладел Рувимов к вычислительным и аналитическим мозговым упражнениям. Не формулируя в мыслях, но бессознательно решил он механизмы мозга подобной чепухой не утруждать, а направлять силы разума на самоисследование. Это оказалось задачкой позаковыристей шахмат и головоломок. Ибо очень сложно заставить механизм изучать себя самого. Подобно тому, как глаз человеческий видит все, исключая лишь то, что, собственно и осуществляет сам процесс видения, мысли в голове могли иметь предметом исследования все что угодно, но не себя самих. С глазом все просто – нужно зеркало. С мышлением дело обстояло сложнее. Чтобы изучить мысли, надо было каким-то образом воспринять их из точки отсутствия таковых, из безмолвия и пустоты. Рувимов, не зная ничего о медитациях и упражнениях по взламыванию человеческой операционной системы, по достижении юношеской поры имел, тем не менее, много занятных сведений о работе своего сознанья. Дело было в практических занятиях с самим собой в качестве подопытного. Проводя иногда довольно жестокие и, на первый взгляд, бессмысленные эксперименты по разотождествлению себя и своей личности, он постепенно учился смещаться все дальше и дальше от объекта «я» к позиции, которая была вполне реальной, но которую он все же не мог никак зафиксировать и обозначить. Собственное эго было им достаточно подробно исследовано и приручено – но кем же? Ответ на этот вопрос был бы поворотным пунктом его исследований. Однако ответа пока не было. Рувимов знал лишь, что не один живет внутри собственной оболочки, и ему были забавны попытки поймать, ухватить свое второе я и все время видеть как бы скрывающуюся за поворотом спину. Его занятия были сумбурны, но шли в направлении верном.

Потом было чтение книг, новые вопросы. Тогда-то и решил поступать на философский. Поступил и занятия посещал исправно. Поначалу жадно впитывал. Казалось, что вот она – цель. А потом случился какой-то отрицательный перелом во всей его жизни. Пошли чередой разочарования и поражения. А еще позже возник полный тупик.

13.

Как-то в августе, том злополучном дождливом месяце, выдался у него особенно нелепый день. Начался этот день с того, что Рувимов, который всегда принципиально ходил пешком, решил вдруг воспользоваться подземным транспортом. Минутная слабость, порыв. Городское метро он посетил впервые за долгие годы, и поездкой оказался весьма впечатлен. Его поразил чудовищный избыток единовременно присутствующих под землею людей, большинство из которых были уродливы и явно нездоровы. Горбатые, безногие, с вывороченными носами, без ушей, с какими-то наростами на головах. Особенно его впечатлила одна увиденная им толстая, почти шарообразная девочка-подросток с близко посаженными глазами и длинными распущенными волосами до пояса. Девочка как бы катилась по вестибюлю метро, спеша на поезд. Она зачем-то посмотрела

в самые глаза Рувимова, чем нешуточно напугала его. Люди толкались, кричали, текли потоками в разных направлениях, но каждый из них оставался как бы заключен в свой отдельную непроницаемую сферу страданий и боли. И их, этих заведомо виновных во всем животных, было множество, чрезмерное, ничем не оправданное множество. Куда ты хочешь девать их, Господи! – хотелось крикнуть Рувимову. Жалость к этим людям и страх перед ними затуманили его сознание. Он вышел на поверхность сам не свой, шатаясь и бормоча, и пошел в произвольном направлении.

Он бродил по городу несколько часов, дезориентированный до такой степени, что стал совершать нетипичные для себя поступки. Увидев летнее кафе под навесом, он сел за столик и заказал кружку пива. Выпил и огляделся, будучи как в полусне. Здесь было не лучше, чем под землею. Угрюмые человеческие существа, совершенно без цели коротавшие за столами оставшееся до биологической смерти время, изображали, причем плохо, без огонька, беззаботно отдыхающих горожан. Мимо кафе шли по бульвару только что нарисованные на компьютере прохожие. Рувимов смотрел на людей так, будто они были голые. Их присутствие казалось ему почему-то немыслимым, фантастическим фактом. Только бы не начать опять испытывать жалость, подумал он, и тут же постыдное это чувство охватило его. Жалость была настолько интенсивна, что он чуть не заплакал навзрыд. Трезвая часть его ума продолжала анализировать, определив эти жалостливые приступы как производственный брак собственного, работающего на сверхнормальном уровне сознания, но поделать с собой он ничего не мог – ибо в тот период пребывал в апогее разлада. К тому же, что-то притягательное было в этом состоянии болезненного сочувствия. Он припомнил, что в книгах по буддизму часто упоминалось, что сам Лучезарный Учитель частенько впадал в периоды грусти и «бесконечного сострадания к перерождающимся существам». Рувимов теперь хорошо понимал Принца Света.

Немного успокоившись, он выпил напитка, выдохнул и, отведя взгляд от бульвара, стал смотреть на человека за соседним столиком. Это был мужик лет тридцати пяти. Кудрявый, низкорослый, темнолицый. Друзья наверняка звали его «Пушкиным», тем паче, что вниз по щекам его спускались с висков явно нарочно выращенные бакенбарды. Человек пил темное пиво, смакуя каждый глоток. Выпив половину кружки, закурил, с независимым видом откинувшись на спинку ярко-синего пластикового стула. На безымянном пальце левой руки (не ноги же, в самом деле) у мужика было толстое золотое кольцо. Куря, он картинно выдувал дым вверх, как это делают уверенные в себе люди (жена рассказывала Рувимову о связи между способом выдувания дыма и чертами характера, тьфу, бля; сам Рувимов пускал дымную струю куда-то себе в пах). Рувимов без усилий прочитывал все мысли человека за соседним столиком, будто череп этого «Пушкина» был стеклянным: сначала все у него в голове вертелось вокруг денег – он считал, что мало зарабатывает и тут же убеждал себя в обратном, играя с самим собой в поддавки. В качестве аргументов «за» он приводил хотя бы эти довольно дорогие сигареты, которых он может запросто позволить себе выкуривать по полторы пачки в день, или вот ирландское пиво, тоже недешевое. Потом вопрос денег был отложен и начались вожделеющие взгляды на официантку, вызревало желание заговорить с ней, пофлиртовать; Рувимов даже определил отрезок времени, спустя который мужчина вступит с девушкой (которая не носила бюстгальтера, но, жаль, надела-таки трусики под полупрозрачный лоскут юбки) в символический диалог половозрелых самца и самки. На исходе пятой минуты кудрявый человек поднял руку в направлении девочки и открыл рот; Рувимов удовлетворенно самому себе собирался кивнуть, но тут произошла несуразица, накладка.

Официантка запнулась об стул, упала с подносом, кружки с пивом с приятными для слуха хлопками соприкоснулись с каменным полом и, разбившись, как будто бы исчезли, растворились в воздухе. Мужик поспешил к девушке на помощь, но по дороге налетел на Рувимова и упал тоже, снеся свободный стол. Навернулся со стула и сам Рувимов, упал на спину, успев приподнять голову и тем самым избежав удара затылком. В эту же минуту – я не вру – на шоссе случилась авария, несколько машин столкнулось с визгом и металлическом скрежетом, закричали люди. Рувимов привстал, и в этот миг над ним просвистело нечто серебристое – это был, как оказалось, диск от колеса, он ударил пытающегося подняться на ноги мужика, похожего на Пушкина, и убил его,

раскроив ему череп. Все это, занявшее в описании целый абзац, свершилось за секунды. (Бывает, кстати, и наоборот: здесь мгновения, там – года.)

Рувимов, не обращая внимания на возникшую толкотню и суету вокруг, выбрался из кафе и пошел скорым шагом прочь, пока никто не попытался задержать его.

Подобные происшествия, бессмысленные и дурные, случались с ним почти каждый раз, когда он покидал уединение свое и выходил в открытый космос, хотя, конечно, смертельный исход наличествовал впервые. Это значило, что Рувимов зашел слишком далеко. Он и мир стали совершенно несовместимы. Нельзя было исключать и такой вариант, что весь этот бардак в кафе был кем-то зловеще спланирован, и мишенью являлся именно он, Рувимов, а не безвестный сторонний персонаж, послуживший герою невольным щитом.

Прибежав домой, Рувимов упал на матрац и сутки пролежал неподвижно. Оцепеневший снаружи, он испытывал изнутри жутчайшую лихорадку сознания, такую, что мысли его, пребывая в хаотическом коловращении, выворачивались задом наперед и сами себя поедали.

После нелепого этого случая совсем перестал выходить из дома, даже в окно не выглядывал, пищу получал через заказную сеть, тогда-то и стал подумывать о самоуничтожении. Возникало желание сдаться, шагнуть отсюда прочь, в спасительную тьму небытия-неведения. Реальность словно поставила Рувимову опаснейший шах. Благо, этот малый успел сделать единственно верный ход и ускользнуть от опасности сквозь щель в бетонном заборе.

14.

Солнце стремительно, как глаз эпилептика, закатывалось за край земли. Где-то позади меня, в одном из отсеков, зазвонил телефон-автомат: мне давали последнее предупреждение. Оставив на белой плите только рюкзак и шляпу, я прыгнул в восьмигранный водоем. Я не почувствовал ни тепла, ни холода – это действительно была не вода. Субстанция обладала всеми основными характеристиками жидкости: текучестью, прозрачностью, податливостью, кроме одной – она не была мокрой. Это было нечто вроде наэлектризованного плотного воздуха. Передвигаться в такой среде было непривычно и волнующе; подобные, только гораздо более приглушенные ощущения бывают, когда летишь во сне. Или может, так чувствуют себя космонавты в невесомости. Я поплыл вниз, на мерцающий красный огонек. Дышать было невозможно, а видимость была как в тумане средней плотности. Ко мне подплыла из полумглы огромная механическая рыба с глазами-фонариками. Мы посмотрели друг на друга, и она, раззявив на меня рот, все-таки передумала откусывать мне голову. Выглядело это так, будто я прошел фэйс-контроль. Я довольно быстро доплыл до дна (в ушах у меня лопались бесконечные пузыри, будто кто-то ногтем один за другим пронзал пупырышки на такой, знаете ли, предохранительной полиэтиленовой упаковке), увидел дверцу с нужными опознавательными знаками, достал из кармана ключик и попытался вставить его в почти невидимую скважину. Ключ-живчик выскочил у меня из рук и сам дело свое сделал. Неприступного вида металлическая пластина двери сдвинулась вниз.

Я вплыл в предбанник, дверь снова наглухо захлопнулась. Меня окружил полный мрак. К тому времени я уже начал задыхаться, но, слава богу, система сработала, и субстанция из переходного шлюза утекла. Каморка заполнилась отдающим химией, но все же пригодным для дыхания воздухом. Я открыл люк в полу и спрыгнул вниз, попав в длинный, ярко освещенный коридор со сводчатым потолком. Я был совершенно сухим, лишь лицо и руки покрывала невидимая наэлектризованная осклизлость. Пошел вперед, но не успел сделать и десяти шагов, как навстречу мне неведомо откуда выскочила длинная и тощая до карикатурности девочка лет двенадцати в коротеньком простом платье.

– А сюда нельзя, товарищ, здесь запретная зона! – условный, утрированно детский голосок ее в другой ситуации меня бы рассмешил, но нынче было мне не до веселья.

– И кто ж это мне запретит идти, куда я хочу, уж не ты ли?! – с внезапной, удивившей меня самого резкостью возразил я, имея намерение пройти мимо девочки, отодвинув ее в сторонку.

Я уже протянул было к ней руку, но ребенок изящным жестом отвел ее и без замаха врезал

мне кулаком под дых. Удар оказался умелым и весьма болезненным.

– За что? – глупо спросил я, дыша с немалым трудом.

Тут девочка, двигаясь с быстротой молнии, подпрыгнула и въехала мне ногой сначала по коленке, потом по локтю и в завершение, как бы ставя восклицательный знак, костлявым, как будто железным пальцем влепила мне в лоб щелбан: всю эту серию ударов она проделала, пока зависала в воздухе. Я рухнул на пол. Видя краем глаза, что она, занося растопыренную пятерню, собирается вырвать напоследок мне сердце, я заорал:

– Погоди! – торопясь и подвывая от боли, достал из кармана штучку, переданную Палочником. – Я от Потап Панкратыча!

Она прищурилась недоверчиво на меня, но забавную игрушку взяла и долго разглядывала.

– Надо было сразу показывать, – укоризненно пропищала она. – Вставай, пошли. Тут всякие ходят. Сегодня один уже хотел прорваться. На манекен похожий, гладкий такой весь. Сначала заболтал меня, а потом как выхватит из кармана пестик! Вот такенный! Я этому типу глаза выцарапала. Буквально. Где-то бродит теперь слепой по лабиринтам! – девчонка рассмеялась звонко, как стеклянные шарики по полу рассыпала.

Кого-то напомнил мне этот ее похожий на манекен человек. Я поднялся на ноги. Силы мои были на исходе: денек выдался суматошный.

– Ты страшный человек, – проговорил, отдуваясь, я. – Как зовут-то тебя?

– Ниточка. Или Дочь Номер Один. Иногда – Солнце.

– Ты давно живешь здесь? Как сюда попала?

– Я здесь живу с самого рождения. И никуда не выхожу. Как космонавт на космической станции «Мир»! Кстати, ты никогда не думал, насколько глупо и романтизировано отношение обывателей к космонавтам? – Девочка ткнула меня кулачком в живот (уже не больно, а по-дружески) и защебетала, почти не делая пауз и не давая мне вклиниться со своими вопросами. – Ветер вселенной, бездонные пространства! На самом деле космонавты заключены в скорлупки своих тесных кораблей, как рыбешки в консервные банки. Всюду железо, ничем не пахнущий воздух. Стерильность и функциональность. И им оттуда не сбежать, вокруг только черный вакуум и бесчеловечные звезды. Это же сплошная клаустрофобия, какие там космические просторы. Даже когда они выходят ненадолго наружу, на них надеты эти ужасные скафандры, в которых чувствуешь себя, как в гробу. Мука, бесконечная мука. Мне кажется, что все космонавты в короткий срок становятся неизлечимо больны. А знаешь, какие сны снятся в космосе? Совершенно адские! Вовсе не про траву у дома. Космонавтам еще хуже, чем подводникам, там-то, под водой, хоть гравитация есть.

– Да, да, все что ты говоришь, очень интересно, – отреагировал я.

Девочка выглядела типичным мутантом: тельце, как фитилек, худые ручки и ножки, глазищи на пол-лица, белесые прямые волосы. В ее подчеркнутой внешней ненормальности присутствовала даже своеобразная красота, будто она была созданным для компьютерной игры персонажем.

– Так чья ты дочка–то, я не понял?

– Папы Эдуарда и мамы Анны, естественно.

«Неужто сестричка? – подумал спокойно я. – Интересно было бы на эту маму Анну посмотреть». Но вслух пока ничего не сказал, мало ли что.

Мы шли по коридору. Ниточка продолжала без умолку болтать на совершенно посторонние темы. Я не препятствовал. Потом был еще один люк в полу, из которого, когда мы его открыли, повалил, как из парилки, влажный пар. Мы нырнули в клубящуюся неизвестность. Выбрались из облака и сразу попали в светлую оранжерею. Сад походил на сон безумца. Растения произрастали тут экзотические и незнакомые мне – кустики были скорее синеватые, чем зеленые, а цвели они мелкими ядовито-красными цветочками, которые источали весьма странный, больше химический, нежели растительный, но очень, очень приятный, пьянящий аромат.

Затем снова коридор с высоким потолком и наконец белая круглая дверь. Девочка сказала какое-то слово – я не расслышал, слово было на птичьем языке, и дверь открылась, как открываются двери внутри космических кораблей в научно-фантастическом кино – спирально выкру-

тившись. Эффектно.

Мы очутились в огромной ярко освещенной софитами лаборатории. Человек в зеленом халате и маске с респиратором стоял спиной к нам в дальнем углу, занятый чем-то важным, держа в руке на отлете пробирочку с ярко-оранжевым веществом. Вдоль стен располагалось несколькими ярусами полуфантастическое, на мой взгляд, оборудование. Полным ходом шли сложные лабораторные процессы. Колбы, реторты, центрифуги, водяные бани, змеевики с бурлящей жидкостью, металлические со стеклянными дверцами шкафы, какие-то кубические аквариумы, экраны компьютеров с бегающими на них графиками. И снова все это напомнило мне стилизацию под трехмерную игру или даже комикс. Не верю!– хотелось крикнуть мне, но не стал.

Человек, который мог оказаться моим исчезнувшим отцом, повернулся ко мне и стал снимать маску.

15.

В том же самом месяце августе, столь урожайном на знаки глумливого рока, Рувимов дошел в своих метаниях до того, что решил вдруг увидеться с матерью, с которой не общался уже несколько лет. Он пришел к ней, доверившись смутному чувству, хмурый и нервный – в те дни он жил в тревожном ожидании катастрофы, и во всем его существе присутствовала лихорадочная внутренняя дрожь.

Мать Рувимова, несмотря на алкоголизм и связанное с ним периодическое помутнение рассудка, оставалась еще женщиной бодрой и деятельной, к ней даже ходили мужчины – их было несколько, но Рувимов представлял себе этих бедолаг как бы слившимися в один персонаж – этакого серолицего, глумливо скалящегося «дядюпетю» в серой кепке на лысой голове и папироской между губ. Мать встретила Рувимова довольно приветливо; слава богу, она была одна. Радушие же ее объяснялось просто: в данный момент она пребывала в начальной, наилучшей стадии опьянения. Сигаретка меж пальцев, морковная помада на губах, букли на голове, какая-то нелепая, салонная, отнюдь не домашняя одежда. Она обняла сына, имел место даже влажный, неприятный Рувимову табачно-винный поцелуй. Однако, даже не успев проводить его в кухню, мать тут же начала читать ему свою куцую мораль, взятую целиком у чужих людей в пожизненное пользование. Сын поморщился и пожалел о дурацком порыве, заставившем его навестить эту давно не любимую им и никогда не любившую его некрасивую, с жадными озабоченными глазами женщину. Сделавшую, между прочим, до рождения Рувимчика два аборта и только благодаря решительному вмешательству бабушки сохранившую третьего зародыша. (Мужа она держала в неведении, так что тот, рассеянный и далекий от земных забот человек, о загубленных детках ничего не знал.)

Стиснув зубы, терпеливо выслушивал Рувимов назидательные речи родительницы, произносимые ей со снисходительно-ласковой, в контексте беседы совершенно неуместной интонацией. Впрочем, дело было даже не в матери – она была ничем не хуже других – Рувимов уже привык, что каждый раз, когда он вступал в контакт с представителями людского рода, ему тот час начинала навязываться чужая и априори злая воля, липкая и удушливая. Это было неизбежно – как отравленный воздух, как чавкающая под ногами грязь. Потому кивал и молчал. Предложила выпить чаю. Согласился. Пили чай, безвкусный и жидкий, хорошо, если вчерашний, а то может и трехдневной давности. Рувимову были предложены какие-то высушенные мучные вещи, но ответил отказом. Тогда может, бокал вина? Тоже отрицательно помотал головой.

– И ваши отношения надо зарегистрировать, – долбила мать.

– Угу.

– И работу тебе найти нормальную...

– Да.

– И перестать целыми днями дома сидеть...

– Согласен.

– Стать, в конце–то концов, полноценным членом общества...

Рувимов снова кивнул, посмотрел в окно, за которым беззвучно низвергались с неба потоки воды (дождь не прекращался уже вторую неделю, как будто кто-то там наверху сблындил окончательно и удалился прочь, оставив включенными все краны), и вдруг, сам того не желая, высказался:

– Я, кстати, понимаю, почему от нас папа сбежал, я бы на его месте...– оборвал себя и заткнулся, втянул в плечи голову, приготовившись защищаться: в последнее годы с матерью случались приступы неконтролируемой ярости.

Мамаша заглохла, переваривая информация, затем из груди ее вырвался неблагозвучный животный стон, она ухватилась за стол и перевернула его на сына. Чай, прокисшее варенье в блюдце, сухари – все полетело в него. Она схватила упавший на пол нож (тот случай, когда примета сработала в обратную сторону: через минуту мужчины здесь не будет) и бросилась на Рувимова, совершенно определенно метя ему в шею. Нервозно хохотнувший Рувимов увернулся, прыгнул в коридор, закрыл дверь в кухню.

– Стой, сучонок! – заорала мать.

Слышал, как она тяжело осела на пол, выронила оружие, залилась захлебывающимся плачем.

– Прощай, мама. И это... прости, – успел промолвить напоследок Рувимов, будучи на краю истерики: что-то происходило с ним, какая-то внутренняя, каркасная структура в нем претерпевала обрушение. Но сдержался, не заорал, упав в слезах на грязный половичок. Дрожащими руками открыл замок и навеки удалился из родного дома.

16.

Нет, человек, снявший маску, был не мой отец. И даже не мужчина – халат скрыл очертания фигуры и, готовый обмануться, я обманулся. Это оказалась женщина лет сорока с короткими светлыми волосами, довольно красивая, скуластая и пухлогубая. В глазах ее сначала вспыхнул ужас, потом, когда она взглянула на улыбающуюся девочку рядом со мной, отобразилось в них изумление. Мне почему-то подумалось, что она впервые видела в этих стенах живого постороннего человека.

– Алоха! – проговорил я как можно приветливей. Я боялся, что сейчас она выхватит из–под полы халата футуристический пистолет и поразит меня ионным зарядом.

– Мама, не бойся. Он от Панкратыча! – крикнула девочка, подпрыгнув на месте.

Лаборатория была просторной, и голоса забавно резонировали в сухом стерильном воздухе помещения.

– Подойди сюда, мальчик! – произнесла женщина величественным и мелодичным голосом, каким могла бы говорить, наверное, Аэлита, царица Марса, если бы тот фильм 1924 года был звуковым.

Я поднял вверх руки и медленно пошел к ней. Сверкнула пару раз синеватая молния где–то среди реторт и змеевиков. Девочка убежала вглубь лаборатории и стала там прыгать через скакалку, подлетая на немыслимую для обычного человека высоту. При этом она громко и заливисто хохотала. Понятно, теперь она хотела меня очаровать: вряд ли у малышки было много друзей в подземелье. Мать молча направила в сторону дочки палец, и дитя послушно затихло. Я продолжал скалить зубы.

– Садись, – сказала мне женщина уже спокойно, по–домашнему.

Я сел в вертящееся высокое кресло.

– Фамилия? – спросила меня она, усевшись напротив и закуривая тонкую сигарету.

Я пару секунд рассматривал ее: выглядела она хорошо, хотя, конечно, была немного бледновата – сказывался подземный образ жизни. Замечательные глаза – синие и спокойные. Она улыбнулась мне, и лицо ее словно бы просияло нежным светом. Так улыбаются люди, которым абсолютно неведом страх. Милая женщина.

– Рувимов, – отрекомендовался я, чуть наклонив голову, и добавил, подумав, – младший.

– Сын?

– Сын.

– Я так и подумала сразу. Вы немного похожи... Ну что сказать – твой папа предупреждал о возможности такого варианта развития событий.

– А где папа?

– В данный момент он отсутствует.

Я набрался храбрости и промолвил:

– Он жив?

– Скорее жив, чем мертв, – теми же словами, что и Палочник, ответствовала мне она.

Выдохнув, я поднял ладонь и твердо сказал ей:

– Я хочу услышать обстоятельный ясный рассказ, милая женщина. Я устал от намеков, недомолвок и догадок.

– Зови меня Анна. Не волнуйся, младший, я расскажу тебе все, что знаю.

И она, слегка хмурясь и оживленно жестикулируя рукой, в которой держала сигарету, действительно рассказала мне.

Вот ее история целиком, как я ее услышал и понял. Свои реплики, которые состояли большей частью из междометий и восклицаний, я пропускаю.

«В конце семидесятых годов прошлого века, когда советский космос был все еще на подъеме, правительство заинтересовалось идеей освоения ближайших планет, в частности, Марса. С Луной, как известно, у нас, русских, ничего не вышло. Не совсем вышло и у американцев. Их оттуда погнали, как собак. Они вынуждены были все свои далеко идущие проекты свернуть в трубочку и положить в долгий ящик. Советские ученые обратили свои взоры на Марс. Это была долгосрочная программа. Предполагалось не просто так, восторженными дурачками прилететь, побродить по поверхности, набрать камней и вернуться, но застолбить место для коммунистического будущего. Была разработана программа по изменению климата Марса с целью его дальнейшей колонизации, и целый секретный институт занялся этой проблемой. Ты, должно быть, в курсе, что Марс имеет атмосферу, почву и ледники на полюсах. При определенных условиях можно было сделать воздух красной планеты пригодным для дыхания. На первой стадии рассчитывалось модифицировать атмосферу на отдельных обширных участках, ограниченных куполами. Для этих целей в кратчайшие сроки возвели Химический Комбинат №0, на котором мы сейчас с тобой находимся. Группа ученых, в которую входил и молодой биохимик Эдуард Рувимов, успешно занималась разработкой специального субстрата, состоявшего из смеси водорослей, бактерий и удобрений. Замещение обширных площадей Марса этим субстратом должно было с течением времени привести как раз к цепной реакции, каковая нужным образом перепрофилировала бы состав атмосферы. Бактерии должны были начать размножаться, разлагаться, выделять кислород и т. д. Ты наверняка слышал об этой теории. Но вряд ли слышал, что попытка была осуществлена на практике. Так вот, для твоего отца, постепенно занявшего в специально созданной при комбинате лаборатории одно из ведущих мест, это было делом всей жизни. Вам он говорил, что трудится рядовым сотрудником в каком-то там захолустном институте, но это была вынужденная ложь: он был серьезный ученый, доцент, всю жизнь, правда, проработавший под строжайшим секретным грифом. Он лично разработал специальный состав для «марсианских брикетов», как они это называли. Спрессованные такие кирпичики из субстрата и законсервированных живых организмов, которые должны были в огромном количестве поставляться на Марс. Брикеты производились тоннами, производство шло на полную мощь.

Были построены специальные грузовые космические корабли, которые этими самыми брикетами набили под завязку. И вот в 1982 году три таких грузовых корабля отправились на Марс. Но их постигла неудача: один улетел мимо цели в открытый космос, два разбились при посадке. Неудача обескуражила советских, но ненадолго: год спустя была снаряжена целая эскадра кораблей с многотонным грузом на борту. Но отправиться в полет корабли не успели: как назло, настало время гнусных перемен, и в открытый космос ушла сама Империя.

Отец считал, что те первые корабли перепрограммировали селениты, обитатели Луны. И что

вообще, весь проект находился под их контролем. Но ему, естественно, никто не верил. Программа была глубоко засекречена (советское правительство хотело преподнести жителям страны и всей Земли сюрприз). Не вышло у них ни фига. Дорогостоящий проект собрались законсервировать, заморозить. Это означало конец исследованиям, конец планам доцента Рувимова. Он с самого начала участвовал в разработке проекта и не мог смириться с тем, что его дивная мечта – освоение Марса – накрылась тазом. У него даже была идея отправиться на Марс одной из последующих экспедиций, когда работа под куполами будет налажена. А тут такой облом. Что-то он там пытался доказать руководству, но, естественно, без толку. Наружные цеха комбината были демонтированы и брошены, а подземные лаборатории залили специальной смесью, которая со временем превращается в слизь и все к чертовой матери замораживает до второго пришествия. Но Эдик решил сохранить одну из основных лабораторий в рабочем состоянии и, пробравшись на тогда еще тщательно охраняемую территорию, тайно перекрыл шлюз. Поступок, достойный героя.

Доцент Рувимов ушел из науки и вообще из мира людей, решив выждать время. Правильно сделал, что скрылся. Практически все, кто участвовал в работе над проектом, в течение нескольких лет после погибли или исчезли при странных обстоятельствах. Ну, рабочие на комбинате-то и не знали, что, собственно, производят, их не тронули. А вот с другими обошлись сурово. Директора комбината, например, обезглавил на рыбалке сом. Заместитель выпил случайно стакан муравьиной кислоты вместо вина. Ученых из лаборатории тоже ликвидировали. Учителя Эдуарда профессора Амброзьева заразили неизвестным вирусом, сведшим его в могилу за неделю, главный химик был повешен на собственной даче. Эдик считал, что за всем стоят закулисные надправительственные силы. Он говорил, что они для этого и развалили Союз Советских Республик, чтобы остановить освоение марсианских территорий. Кому-то прогресс человечества был очень невыгоден. Ну а когда шумиха утихла, о проекте забыли, архивы уничтожили, разработки похерили, Эдуард вернулся в лабораторию, где была сосредоточена, как-никак, вся суть его души, и запустил ее, лабораторию, возобновив работу.

Кто я такая? Будучи студенткой, проходила практику в том самом секретном институте. О том, что он секретный, мы тогда не знали: просто работали лаборантами, подай-принеси, короче. У нас с твоим папой случился небольшой роман, скорее даже флирт. Но это с его стороны был флирт, а я-то влюбилась тогда в него по-настоящему. Страдала. Ну, потом мы долгое время не виделись, и вот двенадцать лет назад он нашел меня. Пришел ночью, в обстановке строжайшей тайны. Предложил навсегда уйти с ним под землю. И я согласилась, бросила все.

Стали мы жить в лаборатории. Жили, надо сказать, душа в душу. Любили друг друга и работали. Выводили оптимальные составы брикетов. Наименьший вес, наибольшая плотность, варьировали пропорции. Проводили различные эксперименты. Работали на будущее. Ты уже видел нашу продовольственную оранжерею? Здесь, под нами, есть еще одна, огромная, с марсианской гравитацией. Там мы зачали, родили и вырастили нашу дочку. Нам надо было знать, возможно ли воспроизводство людей в условиях модифицированного Марса. У нас получилось: Дочь Номер Один, Ниточка, выросла полноценным биологическим существом.

Но несколько лет назад твой отец, забредший в некоторый mental cul-de-sac, как он выразился, впал в неразговорчивое состояние. Как бы оцепенел для внешнего мира, перестал реагировать на раздражители. Он не то чтобы разуверился, что людям пригодятся его наработки, но посчитал, что приход этого времени будут всеми силами оттягивать те, для кого развитие человечества невыгодно. Они не дремлют, считал он, и постоянно следят, чтобы мы не высовывались. Пока люди бродят по Земле послушными марионетками, ими легче манипулировать. На Марсе до них трудно будет дотянуться. «Они не хотят пускать нас на Марс», – часто повторял твой отец, когда мы ночами глядели на Луну из щелей нашего подземелья. Нужен другой способ, говорил он. Однажды вечером он сказал мне такие слова: раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. Вошел в «марсианскую комнату», как мы ее называем, и... исчез. Да, вот так. Из запертого помещения с одним входом. Думаю, дружественные марсиане, про которых он говорил, что они, дескать, живут в

параллельном измерении Марса, забрали его к себе.

Я держу лабораторию в чистоте, пока он отсутствует. Он исчез около полугода назад, оставив меня в качестве своего резидента. Наружу мы с дочерью выходим редко. Потап Палочник помогает нам с необходимыми препаратами и оборудованием.

Чем я тут занимаюсь целыми днями? В свободное время произвожу синтетическую радость. Мы считаем, что это может пригодиться колонизаторам Марса в будущем. Продукт помогает сосредоточиться на конкретных задачах повседневной жизни и содержит дух в непрерывном приподнятом состоянии. Это безвредно и не вызывает аддикции. Могу дать попробовать».

– Дайте, – кивнул я.

Она дала мне маленькую оранжевую таблетку.

– Положи под язык и медленно рассасывай.

– Другой способ...– прошептал я, сунув в рот таблетку, – другой способ. Те же слова я сказал профессору Любезнову, когда он спросил меня, чего же я ищу... Вы хотите, чтобы я поверил в вашу историю?

Препарат подействовал почти мгновенно. Перед глазами у меня немного поплыло, завращалось. Приятное покалывание появилось во всем теле. Захотелось встать и пройтись. Я встал и прошелся. Анна с улыбкой глядела на меня.

– Ты можешь выбрать версию, что все это сивой кобылы бред. Что твоего отца не существует. Или что он больной человек и всю эту чепуху про освоение Марса выдумал. Или что я сама наплела тебе небылиц. Ты можешь сказать, что любой ученый – биолог или химик, посетив лабораторию и «марсианскую» оранжерею, скажет, что все это – бутафория, декорация. Но ты поверишь, тебе некуда деваться. Твой мир закончился. Вполне вероятно, что ты утонул там, в этой суспензии, и все это, – она обвела изящным жестом вокруг, – твои предсмертные видения.

– Другой способ... другой способ, – все твердил я, не слушая ее. – Значит, отец отыскал-таки его. В сущности, мы были всю жизнь одержимы с папой одним и тем же: желанием из порочного круга выскользнуть. Неважно, куда сейчас ушел отец, я знаю, что он жив и вернется. Он почувствует, что я жду его. Видите эти часы? – я показал Анне часы с олимпийским медведем на зеленом фоне. Я постучал по циферблату пальцем, я поднес часы прямо к ее лицу, чтобы она видела, как обаятельно медведь улыбается. И она посмотрела, и мишка улыбнулся ей, и она ответила ему улыбкой. – Они все еще идут, все еще тикают! Это значит, отец помнит и любит меня. И обязательно придет ко мне. Я останусь здесь с вами ждать его. Там, наверху, я никому не нужен – ни отдельным живым существам, ни всему моему народу.

Часы тикали все громче и громче. В чрезвычайном возбуждении я заходил, подпрыгивая, по лаборатории. Мои ноги обрели забавное пружинное свойство: я отталкивался ими от пола и подлетал, надолго зависая в воздухе. Ниточка, она же моя сестричка, подбежала ко мне, смеясь заливисто, в ее руках была стеклянная чаша со множеством разноцветных шариков, размером с теннисные. Шарики упруго вибрировали и казались живыми. Она сказала им слово на своем языке, и шарики вылетели из чаши, ударились от пол и стали высоко подпрыгивать и петь каждый свою бессловесную, очень трогательную песню. Ниточка достала из кармана подаренную Палочником игрушку, завела ее (мир сразу как бы покосился на сторону), поймала меня за руку и стала прыгать рядом со мной и шариками, поднимая меня на немыслимую высоту. Так и скакали мы с ней, а рядом летали и звучали на высоких частотах разноцветные пузыри. Мама Анна смотрела на нас с человечной, бесконечно теплой улыбкой.

Мы прыгали с каждым разом все выше и выше. Наконец, стали совершать такие прыжки, что казалось, сейчас мы пробьем макушками потолок и улетим в открытый космос. Сестричка громко смеялась, стал смеяться и я, и смеялся так, как никогда не смеялся до этого в своей жизни, потому что окончательно понял в этот миг – да, мое время пришло.

Александр КОТЮСОВ

ДЕЛО О ПОМИДОРАХ

Сентиментальная история

– Я – маленькая женщина! Я создана для любви, – говорит моя двоюродная тетя Галя и, вставив болгарскую сигарету «Ту-134» в длинный мундштук, прикуривает. – А ты, сестра, – сквозь кольца дыма я вижу ее аристократический палец с хорошим маникюром, направленный в сторону моей мамы, – ты – большая. Ты создана для работы.

Разница в росте между моей мамой и тетей Галей всего пять сантиметров. Тетя Галя ниже. Впрочем, думаю я, даже если бы было наоборот, вряд ли бы она имела другое мнение. Мама безропотно соглашается. Работать моя тетя действительно не любит. Хотя иногда и делает это в качестве зубного врача в одной из самых отдаленных от центра Ленинграда поликлиник. Дорога от дома до работы в один конец занимает у нее полтора часа с пересадками, обратно столько же, плюс один клиент в день, редко два. На них она тратит еще пару часов.

– Не записывайте мне больше никого, – просит тетя Галя в регистратуре, – ну их всех, я устала, а они тут ходят со своими гнилыми ртами.

Мы сидим на кухне большой ленинградской квартиры и пьем чай. Из зала доносится пение Окуджавы. В этом доме его любят.

– Ну, рассказывайте, – говорит мне тетя Галя. – Где вы с Верочкой были сегодня?

Верочка это моя мама, двоюродная сестра тети Гали.

– В Русском музее, Кунсткамере и Домике Петра Первого, – отвечаю я.

– Боже, какой букет, какая эклектика, какое смешение стилей, времен, приоритетов. Вот он современный, многострадальный Петербург. Что натворили эти большевики! Все перемешали, все, – декламирует тетя Галя, картинно помахивая длинным мундштуком и с каждым словом все выше и выше поднимая глаза в потолок. Потолок находится на высоте пяти метров. Дом, расположенный на Лиговском проспекте, в котором живет ее семья, построен навечно. Помимо высоких потолков, его отличают толстые стены, хмурая архитектура и черный выход во двор на кухне. Через него удобно выносить мусор. Тетины глаза за несколько секунд преодолевают путь от моего носа к люстре, немного притормаживая на неопрятно протянутой наружной проводке, и неожиданно останавливаются под углом примерно в семьдесят градусов к линии кухонного стола. Я слежу за тетиным взглядом и вижу, как ее лицо накрывает хмурая тень. На потолке висит огромная паутина. Паутину видно даже при трех горящих сорокаваттных лампах. Если ввернуть шестидесятиваттные, будет еще виднее. Но их не вворачивают.

– Игоряша! – повышает голос моя тетя. – Игоря-я-яша!

Дядя Игорь, уже пятнадцать лет как тети Галин муж, появляется на кухне. В его руках газета «Вечерний Ленинград», на носу очки, а на лице выражение, по которому мне сразу становится

Александр Котюсов родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. Кандидат физико-математических наук. Работал в НИИ, затем пресс-секретарем губернатора Нижегородской области, первым заместителем председателя Госкомитета по поддержке и развитию малого предпринимательства, руководителем аппарата первого вице-премьера РФ, руководителем аппарата фракции СПС в Государственной думе, был депутатом Государственной думы (третьего созыва). В настоящее время занимается бизнесом. Дебютировал как прозаик в 2010 году в «Неве»; публикации в «Знамени», «Сибирских огнях» и др. Лауреат литературной премии им. Бориса Корнилова (2011). Живет в Нижнем Новгороде.

ясно, что слово «Игоряша», сказанное с прозвучавшими интонациями и немного протянутым «я», ему знакомо от предыдущих дискуссий и не предвещает ничего хорошего. Дядя Игорь страшно похож на Жана-Поля Бельмондо. Одно лицо. Что кричит жена Бельмондо мужу, сидя на кухне, когда видит на потолке паутину, мне неизвестно. Откликается ли он просто на «Жан» или его нужно называть полным именем. А может у них есть прислуга, которая удаляет паутину, не дожидаясь крика. Это, безусловно, способствует укреплению семейных уз. В доме тети Гали прислуги нет. На нее не хватает денег.

– Игоряша! – начинает тетя Галя, – когда я выходила за тебя замуж, что ты мне обещал?

Она нервно выпускает три кольца сизого сигаретного дыма, и они, медленно расплываясь в предгрозовой кухонной атмосфере, направляются навестить затаившегося возле люстры и прислушивающегося к людской беседе паука. Интересно, понимает ли он, что его незаконное проживание в восьмидесятиметровой двухкомнатной квартире и является предметом текущего разговора.

– Галочка. Не начинай, пожалуйста, – произносит дядя Игорь. Видно, что это не первый тур их переговоров на данную тему, и стороны за истекшие пятнадцать лет совместной жизни уже не раз к нему возвращаются.

– Нет, ты ответь. Что значит «не начинай», – не унимается тетя Галя. Она нервно затягивается и выпускает в мужа целую автоматную очередь сизых колец. Пых-пых-пых... Дядя Игорь ловко уклоняется от летящего в его сторону смертельного яда. Однако вопрос поставлен, и уклониться от него, как от колец, вряд ли удастся.

– Я обещал тебе, Галочка, счастливую жизнь, полную радости и удовольствий, в рамках действующих в стране ограничений на их получение и использование, – пытается шутить он.

Дядя Игорь интеллигент. Он умеет красиво изъясняться и считает себя умеренным консерватором. Его прадедушка был дворянином.

– Не заплетай мне мозги, черт побери, – отвечает ему тетя Галя. – Твои филологические способности здесь всем известны. Ты не на университетской кафедре. А по поводу страны расшифруй, пожалуйста, о какой собственно стране речь идет.

Тетя Галя тоже интеллигентка. Но с более либеральными взглядами. Корни ее ведут к декабристам.

Дядя Игорь на несколько секунд замолкает. Очевидно, что на ходу придуманная им шутка, на которую он возлагал большие надежды и полагал, что именно она способна задавить зарождающийся конфликт в зародыше, не смогла произвести ожидаемый эффект. Дискуссия плавно переходит в следующую фазу. Тетя Галя, со свойственной ее предкам революционностью, пчродолжает за мужа.

– Игоряша. Ты обещал мне, что мы уедем из этой ужасной страны. Обещал? Отвечай немедленно, я же не со стеной разговариваю.

По смущенному взгляду дяди Игоря видно, что пятнадцать лет назад он обещал не только это. Видимо, рассчитывал на девичью память. Увы, из любых правил бывают исключения. Сегодня приходится отвечать за свои слова. Он кивает.

– Так признаешь! – не унимается тетя Галя. – Соблазнил меня, восемнадцатилетнюю девушка. Заплел мне мозги своими рассказами о Мертвом море, теплом пляже, иностранных фруктах и заграничном паспорте. И что? Где это все, спрашивается? Я за пятнадцать лет с тобой один раз только в Болгарию смогла выехать. Тоже мне, иностранное государство, шестнадцатая республика Советского Союза. Нет, я, конечно, тебя люблю, черт возьми, но где тот набор дополнительных опций, который прикладывался к тебе как просто к мужчине, когда мы ехали с тобой расписываться?

Фраза о соблазнении привлекает на кухню Беллу, тринадцатилетнюю дочь тети Гали и дяди Игоря. Она подходит к холодильнику, вынимает из него коробку с арахисовой нугой, берет чайник, наливает в него воду, ставит на газ и начинает чиркать спичками. Первая спичка ломается, вторая тоже. Белла все делает нарочито медленно. Она пришла точно не за чаем. Ее уши нагреваются быстрее чайника.

– Галочка, – пытается воспользоваться присутствием дочери дядя Игорь, – тут же дети. Давай не будем. Как-нибудь в другой раз. Сейчас никого не выпускают. Даже Зильберкантов остановили. А по ним все было почти решено. Посольство вмешалось. Ну, пожалуйста, давай не будем.

– Будем! – тетя Галя тушит сигарету в пепельнице и достает другую. – Будем. Пусть дочь учится на ошибках матери. И выходит замуж за правильного еврея, а не как я, несчастная. Мучаюсь теперь всю жизнь.

На кухне повисает тишина. Слышны лишь звуки чиркающих о коробок спичек. Чирк-чирк. Что ты наделал паук? Так и до развода недолго.

Белла наконец-то разжигает газовую плиту. Тетя Галя картинно откидывает голову назад и устремляет глаза в потолок. Ее взгляд на этот раз огибает проводку, слегка скользит по отклеившемуся краю обоев и снова останавливается на паутине. Паук быстро прячется за люстрой. Думал, что про него больше не вспомнят. Наивный! Тетя Галя возмущенно открывает рот, но вдруг, словно вспомнив о чем-то, обращается теперь уже к дочери.

– Ты опять жрать!? – восклицает она. – Сколько раз я говорила, не ешь много сладкого и занимайся спортом. Бегай вон вокруг дома. Ты посмотри на свою задницу. Когда я тебя рожала, у тебя была маленькая хорошенькая попа. А сейчас попы нет! Сейчас – задница! Скоро вся одежда мала станет. Я тебе только месяц назад новые джинсы купила, всю свою зарплату отдала, мне Йосик их из Америки пер, рисковал на советской таможне. А ты в них уже не влезешь скоро. Ты слышишь, дочь? – тетя Галя повышает голос.

– Ну мам, ты опять! Не начинай, – закатывает глаза Белла. – Это же нуга. Немножко можно. Пап!

Однако дяди Игоря на кухне уже нет. Воспользовавшись паузой, он благополучно ретировался обратно в комнату. Слышно, как шелестят газетные страницы и поет Окуджава. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться...»

– Игоря-я-яша! Я еще не закончила! Куда ты ушел? – поднимает голос тетя Галя.

«Давайте жить во всем друг другу потакая...», – отвечает ей Булат Шалович.

– Немножко нельзя! И множко тоже нельзя, тебе после шести вечера есть можно только воду, – переключается она резко на дочь, – и потом, я нугу Верочке купила. И Леше. Она переводит взгляд на меня. – Кушай, племянничек, кушай, родной. У вас в Нижнем Новгороде нет такой вкуснятины. Тетя Галя сегодня целый час в очереди простояла. В магазине на Невском сегодня был большой выбор.

Чайник на плите начинает натужно посвистывать. Тетя Галя достает из верхнего кухонного шкафа металлическую коробку с чаем, ополаскивает кипятком заварник, насыпает в него щедро заварку и начинает наливать дышащую паром горячую воду. Потом берет в руки брикет нуги, отрезает от него несколько больших аппетитных кусков. Тоже самое она проделывает с поленом шоколадной халвы.

– Кушай, сыночка, – улыбается она мне, – кушай.

– Ну а ты чего стоишь? – неожиданно миролюбиво обращается она к дочери. – Тебе особое предложение надо? Отца зови и садитесь. Чай будем пить. Игоряша! Ты представляешь, Лешенька с Верочкой сегодня были в Кунсткамере и Русском музее. Мне кажется, это невозможно совместить в рамках суточной культурной программы. Я бы пошла вначале в Русский музей, потом в Мариинку, а затем в «Метрополь». Какие там подают омары! Так было бы намного гармоничней. Впрочем, на «Метрополь» у меня нет денег. Ну и как, сыночка, тебе понравилось? Где интереснее было? Сколько вы там стояли в очереди?

– Три часа. Но это в Кунсткамеру, – отвечаю я. – Зато в Русский музей было свободно.

– Вот! Я так и знал. Куда катится жизнь, – поправляет очки вернувшийся на кухню дядя Игорь. – Люди стоят в очереди, чтобы посмотреть на заспиртованных уродцев, и не стремятся прикоснуться глазом к Брюллову и Кустодиеву. Как изменился народ за последние три поколения. А что будет через двадцать лет. Наши внуки будут торчать у телевизора, вместо Чехова и Довлатова станут просматривать журналы с картинками и выходить из дома только для того, чтобы

купить себе бутылку пива с закуской. Как жить, как жить, когда впереди такие перспективы. Ну, скажи-таки, дружок, где же тебе больше понравилось? Нам с Галочкой очень интересно.

Я открываю рот, чтобы ответить, но тетя Галя останавливает меня.

– Во-первых, Лешенькины дети будут высококультурно образованными, – поясняет она мужу. – Они станут читать классику и посещать картинные галереи. В этой семье очень хорошие гены. А во-вторых, – хмурится она в мою сторону, – ты когда был последний раз у зубного? Впрочем, это не важно. Ну-ка иди сюда на свет. Рот открой. Башкой не мотай. Рот, говорю, открой. Твою мать! Извини, Верочка, это я не про тебя, – извиняется она перед моей тихо сидящей в углу мамой. – У тебя же вон в шестерке нижней нет пломбы, на пятом сверху кариес. Завтра все музеи отменяются. Подъем в шесть. Поедешь ко мне лечить зубы.

– Ну, тетя Галя, может, в другой раз, – пытаюсь возразить я. Но...

– Не начинай, не начинай, сыночка, – обрывает меня тетя.

Я грустно делаю глоток чая. Белла, язвительно ухмыляясь, незаметно засовывает в рот огромный кусок халвы. Дядя Игорь вчитывается в «Вечерку». Моя мама смотрит на нас всех любящим взглядом. Я поднимаю глаза вверх и вглядываюсь в серую паутину. Из-за люстры вылезает паук. Во всем виноват только он. Удивительно, что ему удалось выйти сухим из воды. Просто в доме нет походящей стремянки.

– Игоряша! – вдруг вспоминает тетя Галя, – а почему ты мне сегодня не отдал зарплату? Сегодня же двадцатое?

«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала...», – грустит Окуджава.

***

– Знаешь, сколько весит один помидор?

Я мотаю головой. Зачем мне взвешивать один помидор? Я же не торгую ими на рынке. Здравствуйте, а можно один помидор у вас взвесить? Как один, зачем один? Возьми, красавица, килограмм, а лучше два. Дешево отдам. Смотри, какой красный, сочный, спелый, зрелый. А! Выбирай любые. Вот эти из Баку, эти из Краснодара, а вот из Молдавии. Нет, мне один, вон тот. Этот? Нет, пожалуй, этот не очень красный, давайте лучше вон тот. Тот? Нет, тот какой-то неправильной формы. Может быть, может быть... Нет, я вообще не буду помидоры у вас брать, мне Ваши не нравятся, я к другому продавцу пойду. Почему к другому, как к другому? У меня лучшие помидоры на рынке, а! Эй, красавица, подожди. Ушла. Чем я так не понравился?

Ох, и работка у этих ребят на рынке. Это и не работа даже, а целая психология. Вот они, наверное, на глаз способны определить, сколько помидор весит. А я не могу. К тому же они такие разные. Помидоры, в смысле. Есть величиной с перепелиное яйцо, а есть со спрятавшуюся в земле и сросшуюся с соседями по участку картофелину. Нет, не так! Картофелина же просто большая картошка. А бывают картофелищи. Ну, это когда очень-очень большие.

– В среднем сто грамм, – за меня отвечает Лена. – Бывают меньше, конечно, бывают больше. Но в среднем сто. Нам их в столовую с базы привозят. На грузовике. В ящиках. Каждое утро, пока еще музеи не работают, туристов нет. Би-б-и-и-и-п, принимайте помидоры, пожалуйста. Высший сорт. Высший, кстати, не в любую столовую возят. Его на всех не хватает. Это надо еще заслужить. Думаешь, потому что Петергоф? А вот и нет! Это потому что наша заведующая молодец. У нее все схвачено. Повезло нам с ней. Она так договориться смогла. С кем? С теми, кто все решает. Кто решает? Я их не знаю. Зачем мне? Это работа заведующей. Мне важно, что нам высший сорт возят. Высший сорт это когда вообще без гнилых и мятых. У помидоров есть свой норматив на гнилье. Ну, для столовых, в смысле. Ты не знаешь, разумеется, зачем тебе это. Для тебя интегралы важнее. А для нас помидоры. Так вот норматив такой – на каждый килограмм сто грамм либо сгнили, либо помялись при транспортировке, соответственно. То есть приехала к нам в столовую машина с помидорами, мы их разгрузили, взвесили, пересчитали, все приняли, как полагается, накладную водителю подписали, глазки ему построили, счастливого пути, давай вали уж, работать пора. Тем более у тебя еще другие есть точки. Пока-пока. И... дальше самое важное. Сто грамм с каждого

килограмма гнилые... и мятые. Это, как говориться вынь да положь. Это по норме, не мы эти нормы придумали, люди какие-то в тресте столовых умные, с высшим образованием. И все законно, главное, мы акт составляем, заведующая его подписывает, печать ставит. Ну, можем иногда написать, что не сто грамм сгнило, а пятьдесят, или семьдесят, ну это так, для разнообразия. Там, откуда они, эти помидоры, едут, тоже все понимают, не зря к ним наша начальница раз в месяц наведывается. Так что эти акты только проверяющим и нужны. Но там тоже, говорят, есть прихваты. Но это детали. Главное цифры. А цифры говорят, что из каждых десяти помидор – одна должна быть вроде как гнилой или мятой. Запомнил, да? Эй, ты со мной? Я тебя теряю...

Я киваю. Зачем ты мне рассказываешь про эти помидоры? Какой интерес мне в нормативах? Какое мне вообще дело до твоей заведующей? Ленка! Ты такая классная! Красивая, стройная, уверенная в себе. Ты знаешь, что нравишься мужчинам, Лена! Я иду рядом с тобой, смотрю на тебя, и что-то необычное, новое, непознанное ранее, непрочувствованное до этого шевелится в левом боку, и я даже слышу, как постукивает там чаще, чем обычно, тук... тук... тук-тук. Ты слышишь, Лена?

– Это не все еще. У помидора есть попка. Зеленая такая, – продолжает она. – Ну, то место, где ее, помидору эту, с ветки обрывают. Попку надо вырезать, ее есть нельзя, она невкусная и жесткая. Вырезает ее кто, спрашивается? Правильно. Работник холодного цеха столовой. То есть в ближайший месяц, в соответствии с распределением, сделанным в нашем институте, я. Между прочим, туристы понятия не имеют, что попку вырезать надо. Вот ты, например, знаешь? Нет. Я и говорю. Это в технологических картах написано, а они для специалистов, мы же людям их не вывешиваем на стены почитать. Прикинь, если бы во всех столовых на стенах висели листочки с текстом о том, как какое блюдо готовится. Только аппетит портить. Попка, между прочим, весит пять грамм. То есть получается, что в каждом помидорном килограмме целых полпомидоры в среднем с попками должно выкидываться. Теперь прибавь еще к этому одну гнилую, про которую я тебе раньше говорила, и, что выходит? Эй, ты следишь за счетом?

Лена толкает меня локтем в ребро. Локоть у нее острый и холодный, словно выточенный из камня. Я ойкаю и отрываю глаз от асфальтовой дорожки. Слева от меня златобородый Самсон разрывает пасть льва. Самсон вылит из бронзы. Он такой же холодный, как Ленин локоть. Только он покрашен золотой краской. А локоть Лены белый, совсем чуть-чуть загорелый. И на лице ее нет краски. В столовой не разрешают краситься. Чтобы в еду ничего не сыпалось. И душиться не разрешают. Чтобы помидоры огородом пахли, а не духами. Это правило для всех поваров. Может быть, оно даже прописано в технологических картах. Хотя какой огород, помидоры же из колхоза. Я смотрю на Самсона. Ему не просто. Из открытого рта льва высоко в небо бьет фонтан. Самсон – садист. Неужели ему не жалко зверя? Самсон весь взмок, то ли от напряжения, то ли от того, что лев не останавливаясь, обливает его водой. Рядом с Самсоном стоит экскурсовод, и, пытаясь перекричать рев воды, объясняет что-то слушающим его туристам. Туристам нравится слушать экскурсовода, они заплатили деньги и выстояли большую очередь в музеи. На улице жарко, а возле Самсона прохладно. Туристы стирают с лиц капли и кивают головами.

Я тоже киваю, только не экскурсоводу, а Лене. Мы идем рядом, словно невзначай задевая друг друга плечами. Сквозь майку я чувствую тепло ее тела. Лена продолжает свой монолог.

– В итоге с каждого килограмма, вроде как по правилам, надо сто пятьдесят грамм выбросить. Только, спрашивается зачем? А теперь задача...

Лена по-детски приседает, запрыгивает на асфальтовый бордюр, отделяющий мягкий травяной газон от пешеходной дорожки, и, немного покосившись в сторону, хватает меня за рукав, пытаясь сохранить равновесие. Потом выпрямляется и, вытягивая вперед носочки, идет рядом со мной.

– Записывай условие, студент. Сколько килограммов помидоров остается в столовой в день, если в салат одному человеку полагается одна помидора, а в день у нас в столовой обедает две тысячи человек? – декламирует она. – Ну? – она вопросительно смотрит на меня. – Отвечай быстро. Эй! Ты же говорил, что математическую школу с медалью закончил. Сколько, ну, сколько?

– Что значит остается? – спрашиваю я, – ничего не остается. Не должно оставаться. Вы же все

продаете, в салат нарезаете. А мятые и гнилые выкидываете... и эти, как их.... ну, попки зеленые, тоже выкидываете. Должны выкидывать...

Многотысячные потоки туристов текут мимо нас. День близится к концу. Днем туристов было больше, намного больше. Каждые полчаса автобусы, электрички, морские катера проглатывают новые порции любителей золотых фонтанов и увозят их в Ленинград. А там уже дальше, кому куда надо. Мне, например, надо в Нижний Новгород. Но это не сегодня. В воскресенье. А сегодня я приехал к Лене в Петергоф. Завтра сюда привезут новых туристов. Они тоже будут стоять в очередях во дворцы и музеи, слушать экскурсовода и есть Ленины помидоры.

– Ты – двоечник, – улыбается Лена, – ты – двоечник, ты плохо учился в школе. Золотая медаль, золотая медаль... Надо было тебе прислать нашу заведующую в качестве экзаменатора. Ты, наверное, никогда не считал помидоры. Помидоры нельзя считать, как простые числа. Помидоры, они... они другие. Они как дроби. Нет, не дроби, они... они... ну, в общем, я не знаю. Никто ничего не выкидывает. И не вырезает. Вырезать. Вот еще, – она поднимает вверх указательный палец правой руки и что-то пишет прямо в небе. – Это же помидора! Две тысячи человек умножить на одну помидору, умножить на сто грамм будет двести килограмм. Правильно? В каждом килограмме сто грамм как будто сгнило и еще пятьдесят как будто улетело вместе с попкой. Значит сто пятьдесят грамм в каждом килограмме. Запомнил? А килограммов этих целых двести. Получается, что тридцать из них надо выбросить. Но это расточительство, – Лена улыбается. – Их же съесть можно. Ты забыл. Нам привозят высший сорт. А в высшем сорте все в порядке. Они же не гнилые. Они очень даже не гнилые. Они очень даже не мятые. Они упруги, свежи и аппетитны. Как моя грудь, – смеется Лена. – Не веришь, хочешь попробовать? – И она озорно хватает мою руку и прижимает к своей груди. Грудь у нее и правда упругая. А еще я слышу, как бьется ее сердце. Тук, тук, тук-тук. – Так что тридцать килограммов помидоров высшего сорта у нас всегда под прилавком, в смысле в кабинете начальницы. Это я только помидоры посчитала, – говорит Лена. – А еще огурцы есть свежие. У них, кстати, тоже попка и тоже зеленая. А за ними лук, перец, морковь. В общем, у нас столовой каждый день килограммов сто продуктов лишних остается.

– И что вы с ними делаете? – спрашиваю я, – обратно возвращаете?

– Щас! – Лена смеется. – А у тебя в руке сейчас что?

У меня в руке сумка. Сумка тяжелая, килограммов на пять. Мне вручила ее Лена, десять минут назад, когда я встретил ее возле служебного входа столовой.

– Помидоры, огурцы, дыня, – перечисляет она, – сосиски, масло, хлеб и макароны. Это наш сегодняшний ужин. Тебе, мне и девчонкам. Будем пировать. Еще красная икра была, но мне она не полагается, я всего пятый день работаю, но со следующей недели будут, наверное, давать немного.

– Икра! – говорю я, – сосиски. У нас в Нижнем Новгороде это дефицит. Ты много потратила денег на продукты?

Лена смеется своим звонким, немного грубоватым смехом. Ветер с Балтийского залива ворошит ее волосы. Как гармоничны они вместе, Лена и ветер, Лена и Балтийское море, Лена и Ленинград. Мы видимся всего лишь второй раз за полгода, прошедшие после нашего знакомства, а мне кажется, что я знаю ее целую вечность. И целых полвечности люблю ее.

– Ты не просто двоечник, ты еще и дурачок, – ласково говорит она и прижимается к моему плечу. – В столовой продукты покупают только туристы. У них на это есть деньги. У работников столовой денег нет, у них, то есть у нас, есть продукты, и зачем, спрашивается, тогда их покупать, если они уже есть. Все, что ты несешь в руках, мой дневной заработок. Все, что сэкономлено, то вечером в общий котел свалено и на всех поделено. Все в разумных пределах. Наглеть нам не дает заведующая и ОБХСС. Я на салатах стою, Маша на сосисках, Светка на макаронах. Заведующая вообще не стоит, она в кабинете сидит, договаривается с трестом, с проверяющими, поэтому ей больше всех полагается, икра, в первую очередь.

– А дыня? – спрашиваю я, – дыня. Я ее не видел сегодня в меню.

Днем в Ленинграде я сел в электричку до Петродворца и пришел в Ленину столовую. Я обо-

гнул очередь, протиснулся к раздатку и стал озираться. Лена увидела меня первой. Она вытаскивала с огромного подноса салаты и расставляла их на витрину. По другую сторону раздатка двигалась гигантская людская река, из нее вытягивались руки, эти руки брали салаты и ставили их на свои подносы. Река текла дальше. Впереди ее ждали тарелки с рыбой, котлетами, огромные кастрюли с супом и несколькими видами компота. Эта река протекла уже сегодня по всем музеям Петергофа и проголодалась. Она поглощала каждую минуту килограммы еды, приготовленной руками опытных и не очень поваров. Лена кивнула мне головой – иди сюда. Я подошел ближе. Она схватила сама поднос, поставила на него тарелку с борщом, салат, макароны с курицей и компот из кураги.

– Платить не надо, – прошептала она на ухо.– Ешь, а потом отправляйся гулять. В музей сходи. В шесть тридцать жду тебя у входа.

Я стрескал обед в две минуты. Помидоры были на удивление вкусными. Может, бакинские, подумалось мне тогда.

– Дыни действительно не было, – вздыхает Лена, – ты прав. Мы ее забыли вообще. А как вспомнили, поздно уж было. В общем, получается вроде, как будто дыню мы съели. Ну, а по документам сгнила она, сгнила. Дыня продукт, между прочим, очень скоропортящийся. Вот так! У нее норматив на гнилые и мятые больше.

– Скажи, – спрашиваю я, размахивая сумкой, – а что, у сосисок тоже есть попки?

Лена смеется и целует меня в лоб. В небе над Балтикой парят чайки. Ветер доносит до меня несколько соленых брызг. Обратно мы уплываем на морском катере.

– Столовая! Бесплатно! – бросает, не глядя, Лена билетеру у трапа и тащит меня на корму. Не сговариваясь, мы начинаем целоваться.

– Отправля-я-емся... Отдать швартовы, – слышу я многократно усиленный динамиками голос капитана.

Нас ждет Ленино общежитие и ужин из сэкономленных продуктов.

– Я, знаешь, как тут готовить научилась. Как шеф-повар в «Метрополе», только вкуснее и бесплатно, – говорит мне она, – без родителей годик поживешь и не тому еще научишься.

***

Вообще нас познакомила Светка. Весной. На своем дне рождения. Это был ее первый день рождения после школы. Она пригласила семерых одноклассников и Лену. Светке в тот день исполнилось восемнадцать.

– Тебе кто из наших девчонок нравится? – спросил меня как-то Гоша.

Мы стояли после школы за зданием и курили. Точнее, курил Гоша. Ну и еще Вовка. Но тот уже свою забычковал. Кто-то на стреме крикнул, что идет Петрович. Вовка тут же бросил минуту назад зажженную сигарету подальше в кусты и засунул в рот заранее приготовленную сосачку. А Гоша выкидывать сигарету не стал. Он всегда стремился показать, что ничего не боится. Петрович постоял на школьном крыльце, посмотрел с прищуром на дежурившего на шухере, сделал пару шагов в нашу сторону, но потом, видимо, передумал и вошел в школу. Петровича мы все боялись. Он был завхозом. Обычно Петрович не церемонился. На переменах он заходил за угол школы, хватал первого зазевавшегося за ухо и спокойно в это ухо произносил:

– Ну, дыхни, давай.

Зазевавшийся визжал, но дышал. Если Петрович чувствовал запах сигареты, он тащил улов в кабинет директора. Протаскивал, держа за ухо, через всю школу на второй этаж и, вежливо постучавшись в дверь, крашенную коричневой краской, докладывал, вот, Марь Иванна, привел еще одного курятина. Он так и говорил – курятина. Вырываться из его цепких рук было бесполезно, до школы Петрович служил на флоте и был, по слухам, чемпионом то ли всего флота, то ли отдельно взятого крейсера по подтягиванию.

Гоша еще раз затянулся и спросил:

– Так чего, пацаны, кому какая девчонка наша нравится? Колитесь.

И не желая, видимо, больше вытягивать из нас признания, объявил во всеуслышание:

– Мне, к примеру, Алка. Так что все, я первый ее забил, к Алке не приставать, а то дело со мной придется иметь. – И Гоша метко послал щелчком окурок в прислушивающегося к нашему разговору щенка. Окурок попал щенку в голову. Тот отпрыгнул вначале и уж собрался было сигануть со двора, но любопытство перевесило, и он, виляя на некрепких еще лапах, ткнулся носом в траву, где дымился огарок, понюхал его, а потом, замотав резко головой, чихнул и побежал, недовольно покашливая и иногда озираясь в нашу сторону. Гоша засунул два пальца в рот и резко свистнул. Как он так умеет, в который раз раззавидовался я, у меня даже похоже никогда не получалось. Щенок от свиста прильнул к земле, метнулся в сторону, как от удара и скрылся за углом соседнего дома.

– Алка, конечно, ничего, – задумчиво произнес Вовка, – красивая, хотя ума-то немного будет.

– Ну да, согласен, – Гоша цокнул языком, – но вообще я тебе скажу, в бабе не ум главное. В ней главное, чтобы яркая была. Ты вот пойдешь, допустим, в кино с ней или на дискотеку. То, что она умная, не поймет никто, это же не видно, пока рта не открыла. Она, конечно, может учебник по истории России наизусть знать за восьмой класс и диктанты без ошибок писать, только кто догадается-то на дискотеке про это. А вот если она лицом не вышла или, скажем, одевается как выдра речная, тут все увидят. Женщина для мужика это украшение. Ее выбирать надо под себя, чтоб соответствовала, а не хватать, что попало. Мы уважать себя должны. Мы же мужчины, главные то есть. И девушки рядом с нами красивыми должны быть. Это батя мне говорит всегда. А батя мне авторитет абсолютный. Он в женщинах толк знает. Видел, мамка у меня какая!

Мамка у него была первой в городе красавицей. Это факт.

Гоша достал из пачки новую сигарету и, посмотрев на меня, спросил:

– А у тебя чего? Колись, давай.

Тысяча несобранных вместе мыслей табуном пронеслись в моей голове. Я не знал, что ответить Гоше, потому как отвечать мне было нечего. Гоша чиркнул спичкой и снисходительно улыбнулся, а я, поняв, что если в этот момент не назову никого, стану объектом для насмешек всей мужской части класса минимум на неделю и, ощущая скользящую по моей спине теплую каплю пота, выдохнул:

– Светка!

У каждого пацана в девятом классе должна уже быть девушка. Так все время Гоша говорил, наверное, вслед за отцом. Пусть будет Светка.

– Светка! – Гоша покачал головой, как показалось, с уважением, отчего мне неожиданно стало легче. – Светка... Ну это нормальный выбор. А у вас с ней чего было уже?

Вторая волна пота вслед за еще не откатившейся первой навалилась на меня мигом.

– Ничего. Даже не целовались.

Гоша затянулся медленно и, сощурившись от попавшего в глаза дыма, произнес:

– Ты это... не тяни долго, Светка нормальная девчонка. Не как моя, конечно, красавица. Но тоже... Вполне. А главное, умная. Гляди, уведут... Может, и я даже...

– Ты же говорил, что ум в женщине не главное. Главное вроде как красота, – заметил Вовка.

Гоша ухмыльнулся под нос, поднял лежащий на траве портфель, отряхнул его от случайно прилипшего листка подорожника и, сплюнув сквозь зубы, сказал:

– Вы еще много чего в жизни не знаете. Мы дружим с одними, любим других, а женимся на третьих.

А потом, даже не желая увидеть, какое впечатление произвели на нас сказанные им слова, повернулся и пошел в сторону своего дома.

Так мы и стали со Светкой друзьями. Я тогда рассказал ей об этом разговоре. Она долго смеялась, а в десятом классе взяла и влюбилась в Гошу.

– Знакомься, это Лена. Мы с ней вместе в музыкальной школе учились. Сейчас живет в Ленинграде. Учится в Институте Советской торговли. Будет, наверное, директором столовой. На

дефиците сидеть, – Светка смеется и оставляет нас вдвоем. Лена протягивает мне руку. Я беру ее теплую, нежную ладошку и немного сжимаю. Яркое майское солнце радуется нашей встречи.

– Ленинград! – говорю я. – У меня там тетя живет с семьей. Я был там после восьмого класса. Может быть, поеду еще, этим летом, в июле.

– Приезжай. Сходим в Эрмитаж, в Исаакий, в Мариинку. Я в общежитии живу. А в июле буду практику проходить в Петергофе, в столовой, помидоры резать. Записывай телефон.

В общем, нас познакомила Светка.

***

Лена хороший повар. Я убедился в этом лично. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но свой путь Лена проделала намного раньше.

– Мне, пожалуй, пора домой, – говорю я Лене. – Поздно уже, двенадцатый час. Тетя ждет, волнуется, наверное.

– Как!? – закатывает она глаза, – как двенадцатый!? Я тебя никуда не пущу. Тебе придется здесь остаться.

Я удивленно поднимаю на Лену глаза. Мы находимся в общежитии Института советской торговли. В комнате, где живет она и три ее подружки. Комната – это площадь метров двадцать, четыре кровати с металлическими панцирными сетками, два стола и шкаф. Туалета в комнате нет. Впрочем, как и душа. Это все на этаже. Общее для всех. Как выйдешь из комнаты, направо и до конца по коридору. Хотя туалет-то все равно женский. Не испугай там никого. Правда, тут народ привыкший, и не такое видел. Нет, нет, я не про нашу комнату. Мы мужчин не водим, как можно. Но сейчас выходить нельзя, дежурная делает обход, можешь наткнуться. Еще минут десять-пятнадцать. Если вдруг постучат в дверь, прячься. Куда? Вон под ту кровать. Ее со входа не видно. А мы сверху сядем.

– У нас общежитие женское, точнее, этот этаж. Мужчины, естественно, проходить к нам могут, но только до двадцати трех. И по паспорту. А когда ты пришел, дежурная отлучилась ненадолго, вот тебя и не записали. До двадцати трех все должны выйти. На ночь общагу запирают. Вход и выход только для проживающих. Забывчивых ждут неприятности, – объясняет мне Лена, – тебе-то ничего не будет, милицию, конечно не вызовут, а вот мне влетит сильно. Провела без разрешения, задержался до полуночи. Как минимум лишат места в общежитии, а могут и из института выгнать.

На меня смотрят две Лениных подружки. Одна из них приехала из Кирово-Чепецка. Откуда, интересно, такие названия? Что там делают чепчики? Ее зовут Оля. Вторая из Рязани. Маша. Маша улыбается мне, словно знает какую-то великую тайну. У нее кривые зубы и у второго верхнего резца справа нет пломбы. Надо познакомить ее с тетей Галей.

В коридоре слышны шаги. Лена прикладывает палец к губам. Мне хочется спрятаться под кровать. Шаги затихают у нашей двери. Тридцать секунд тишины, так, нет ли здесь посторонних и снова шарк-шарк, все тише и тише. Ушла. Я узник Советской торговли. Меня забыли в общежитии и заперли до утра, словно помидоры на складе. Я не гнилой и не мятый, я просто неучтенный. На меня смотрят шесть женских глаз и еще бледный фонарь из окна. Четвертый этаж, не убежать. Недавно мне исполнилось восемнадцать.

– А где мне спать? – спрашиваю я Лену.

– Нас же в комнате живет четверо. Обычно здесь спит Ира, – кивает она в сторону соседней с собой кровати, – но сегодня ее нет. Она из Вологды, к родителям уехала. Так что ее место свободно, можешь устраиваться.

Завтра суббота, рано вставать не надо. У меня выходной, напоминает мне Лена. Можно никуда не торопиться. А Маша с Олей уедут в полвосьмого. В библиотеку. Да хоть в картинную галерею.

– Мне надо тете позвонить, сказать, что не приду, – говорю я, – а то она волноваться будет.

– Конечно, милый, – улыбается мне в ответ Лена, – телефон на этаже, возле лестницы. Тебе дать две копейки?

– Глупый ты, сыночка! – слышу я в трубке голос тети. Я чувствую, как она затягивается, кладет дымящуюся сигарету на край пепельницы и крутит освободившимся пальцем у виска. – Игоряша, ты слышишь, Верочкин Леша остается ночевать в общежитии у какой-то своей знакомой. Что я скажу Верочке, если она позвонит сегодня? Их там трое. Да нет, не мужчин, а женщин, ну в смысле девушек. Что? Ты считаешь, что тогда все в порядке? Ты бы согласился! Ах ты, кобелина! Конечно, ты бы не растерялся. Бельмондо хренов. Ну, мы с тобой сейчас поговорим, как я повешу трубку. Ты знаешь, что Зильберканты все-таки уехали. Всей семьей. Ах, в курсе! Сыночка, – обращается она уже ко мне, – ты хоть ее давно знаешь? Полгода... ну ладно.

Тетя Галя вздыхает и даже, как мне кажется, всхлипывает. Ей грустно, что я уже вырос. Детство проходит так быстро.

– Береги себя, милый, – напутствует она меня, – завтра утром, как проснешься, сразу домой. Ты уже взрослый. Женщины могут тебя использовать. Как? Зайчик, это длинная история, расскажу как-нибудь за ужином. Это тогда, когда вы в последний раз приезжали к нам с Верочкой, тебе было всего пятнадцать. А сейчас... Она хоть красивая?

Я вешаю трубку и возвращаюсь в комнату. Еще какая красивая. Красивее всех на свете. Общий свет уже выключен. Горит одна ночная лампа. Обе Ленины подружки уткнулись носами в стенку и выразительно сопят. Лена в пижаме сидит на своей кровати.

– Ложись, – кивает она мне головой на соседнюю койку и выключает лампу.

***

Ночь, на часах двенадцать, мы где-то не в центре Ленинграда. Слабый фонарь доносит сквозь неплотные занавески тусклый свет в комнату, расположенную на четвертом этаже.

– Я в Петергофе второй раз. А до этого три года назад был, с мамой. Она после девятого класса решила моим культурным просвещением заняться. Взяла отпуск во время моих школьных каникул и на две недели меня в Ленинград привезла. Она сама Ленинград как наш родной город знает, защищала тут кандидатскую диссертацию, как минимум раз в месяц ездила в командировки в течение лет пяти. У нее научный руководитель такой был забавный, старичок совсем, старше моего дедушки, тоже войну прошел. Мама мне целое расписание составила. Мы с ней все основные музеи города посетили. А на Петергоф, Пушкин, Павловск по целому дню выделяла. Я потом как-то подсчитал, сколько мы музеев за две недели обошли. Страшно подумать даже. Сорок два. По три-четыре в день, а то и пять. Некоторые всю жизнь в Ленинграде живут, а даже в Эрмитаже не бывают ни разу. А мы шесть раз в него ходили. Его и за неделю не осмотреть, вон он какой большой. Ты была в Эрмитаже? – интересуюсь я у Лены.

Лена елозит в своей кровати и не очень уверенно произносит что-то похожее на «угу».

– Уставали мы, правда, страшно тогда. Я просто без ног домой приходил. На ботинках все подошвы стерлись, как в поговорке. Мама молодец. А профессора мы тогда чуть не уморили. Он с нами во все музеи попасть стремился. Зачем ему это все надо было, я тогда не понимал. Сейчас подозреваю, что из-за мамы все, она ему нравилась, должно быть. А нам с ней только в радость. Во-первых, у него удостоверение ветерана войны. А их во все музеи пускают бесплатно и, что гораздо важнее, без очереди. Во-вторых, он нас все время за свои деньги в столовых кормил. Он же богатый, у профессоров знаешь какая зарплата. В общем, если б не он, я бы столько красивого в Ленинграде никогда не увидел.

Лена переворачивается на другой бок, потом обратно и затем слегка приподнимается на локтях в кровати. Я вижу ее силуэт в слабом свете фонаря.

– Один момент был прикольный, – вспоминаю я, – причем как раз, по-моему, в Петергофе. Мы по дворцам бегали, бегали, убегались со страшной силой. Уже уезжать пора, электричка скоро. Всем в туалет, естественно, захотелось. Профессор говорит, тут, мол, недалеко есть один общественный. Мы в него. Подходим, а там огромный замок висит на двери, весь в ржавчине от дождя. Поверх него маленькая бумажка белая, на ней напечатано, что, мол, закрыто на ремонт. А на стене, крупно так, чтобы все из Ленинграда видели, надпись черной краской по желтому

фону – «Писай в банку!». И гвоздь в стену вбит, а на нем банка веревкой привязана трехлитровая. И туристы иностранные идут, смеются, им гид все переводит. В другой раз и я бы посмеялся, конечно, но тогда было не очень весело. Туалетов-то больше нет. В общем, мы еле до столовой вашей добежали.

– Иди ко мне, – шепчет тихо Лена.

– А на следующий день мы поехали в Павловск... – продолжаю я.

– Иди ко мне, – громко и четко произносит она.

Я угадываю звук распахиваемого одеяла.

***

Под Лениным одеялом намного теплее. Я прикасаюсь к ее телу. По коже мелкой поземкой пробегают колкие мурашки.

– Ну, – говорит мне Лена.

– Что? – робко интересуюсь я.

– Мы с тобой так и будем про искусство разговаривать всю ночь? Знаешь, как меня за год учебы в институте этими музеями достали! Как приеду к родителям, пойду гулять, знакомых встречу или позвоню кому из друзей, и все сразу – ну как там Ленинград, как музеи, сколько раз в Эрмитаже была? И ты туда же. Да нисколько! Успею еще. Мне тут четыре года учиться. И в Эрмитаж схожу, и в Исаакий, и в Маринку. Чего торопиться-то? Этот надо же так, пришел в гости к девушке, на ночь у нее остался и тоже про музеи. Нет, так не пойдет. Есть гораздо более приятные вещи, чем посещение различных культурных и исторических мест. Ну, давай!

Давай. Легко сказать. На дворе ночь и середина восьмидесятых. Сексуальная революция, стремящаяся к нам заокеанским цунами, натолкнулась несколько лет назад на прочно стоящий железный занавес и откатилась для начала в Восточную Европу к нашим товарищам по социалистическому лагерю для апробации славянского менталитета и физиологических возможностей. На двух соседних кроватях лежат Ленины подружки, с интересом прислушивающиеся к нашему разговору и, несомненно, ожидающие дальнейшего развития событий, которые, как они, безусловно, надеются, должны рано или поздно выйти за рамки музейной дискуссии. Я поворачиваюсь к Лене боком. Кровать предательски скрипит, демонстрируя своим звуком готовность сообщить всему общежитию о моем ночном визите и его ожидаемых последствиях.

Вообще, панцирные кровати это просто чудо инженерной мысли. Прочные, надежные, они одинаково хороши и при использовании в качестве спального места и в качестве, например, батута, позволяя счастливому их обладателю выделывать самые сложные акробатические пируэты без риска поломки имущества. Сколько общежитий, гостиниц, казарм слушали эти мелодичные металлические звуки, вырывающиеся из самых недр сетчатого матраса. Сел на него – жжих, покачался – жжих-жжих, перевернулся на другой бок во сне – жжжжжжижжжжих. Камертоном сердца врываются звуки эти в сон любого матрасного обладателя, не оставляя равнодушным никого ни рядом, ни за стеной. Особое удовольствие доставляют они соседям по общежитию. Жжих, повернулся один, жжих-жжих – покачался другой, жжжжижжжжих – задвигался третий, и вот уже целый концерт звучит в небольшой комнатушке. Целую ночь разговаривают друг с другом кровати, не давая покоя ценителям подлинной тишины. Чуток сон спящего на панцирном матрасе, жжих и проснулся враз, жжих и снова заснул. Кровати эти придумали наши предки во времена татаро-монгольского ига. Разбивали походный лагерь они в диких полях, кольчугу наземь кидали, лошадиную попону сверху клали, рукавицу под голову и спать до рассвета. Как повернется русский богатырь на постели своей во сне, скрип сразу на весь лагерь. Одно ухо спит, другое службу несет. Звенят-трутся кольчуги в ночи, чутко дремлет войско в походе, не дает себя врагу врасплох застать. Так и победили мы татар с монголами, будь они неладны, вместе взятые. И побежал, откуда пришел, хан Батый, а предки наши стали передавать детям своим эту историю про чудо-кровать панцирную. А те внукам своим, и те тоже внукам. Много лет этим кроватям. «Маде ин Великая Раша»!

Вот так вот я и лежу на исторической святыне, поскрипываю. Лежат на соседних матрацах и Ленины подружки. Ждут, как же дело-то дальше сложится и как сказка скажется. А никак! Ждут, да ждут, только вот не дождутся...

– У тебя раньше вообще это было? – задает мне вопрос Лена.

Я смущенно позвякиваю панцирной сеткой и молчу. Хорошо, что темно и не видно как я краснею. С женщиной в одной постели я впервые.

– Ясно, нет, значит, – понимает она все. – Да ты, любимый, похоже, что....

Стоп! Дорогие женщины! Если вы хотите сделать своего любимого недееспособным, так сказать, по мужской части, поступите просто. Достаточно на первом же интимном свидании сказать своему милому, дорогому, испытывающему понятные, в силу безусловной новизны ситуации, сложности – ничего страшного, мой сладкий. Да я вижу, ты того... не справляешься с навалившейся на тебя внезапно радостью, но это излечивается. Это в семьдесят проблема не решаемая, а если тебе восемнадцать, ее решение осуществляется быстро и безболезненно. Я знаю хорошего доктора, мне его рекомендовала подруга, у ее парня была такая же ерунда, не мог он ничего, ну ты понимаешь, о чем я. Да, вылечили за несколько сеансов. Немного таблеток, немного уколов, немного гипноза, здоровая пища. Ну и, разумеется, не пить, не курить. Все как рукой снимает. Подруга довольна. Даже счастлива.

Что вы говорите? Зачем делать любимого недееспособным по мужской части? Не понимаете? Сейчас объясню. Есть два варианта. Первый наиболее распространенный. Просто по глупости. Ну, взяла и брякнула. Дура! Вроде как эрудицию продемонстрировала. Вот, мол, я на первом курсе мединститута учусь, видишь, какие вещи знаю. А второй? Второй изощренный, как пытка в средневековом замке, на него не каждая женщина решится, это уже, можно сказать, целый план. Какой, спросите? Рассказываю. Понравился вам, к примеру, молодой человек. И вы вроде как перспективу в нем определенную чувствуете. А как его застолбить за вами? А? Тут же не игралки детские, чур мое, чур мое. Вдруг он с другими девушками погулять захочет в ваше отсутствие. И ладно бы просто в перерыве между лекциями поговорить на подоконнике. А если на танцы настроится или еще что опасное. Тут мысль творческая нужна, подход, идея! А просто все. Надо так с сожалением положить ему голову на плечо и на ушко прошептать – ты, милый, не силен в мужском вопросе, однако. Но я-то тебя люблю всякого, и такого и сякого. Результат, как говорят англичане, налицо. Парень сник, психологически подавлен, и что самое важное, полностью в собственных силах разуверен. Короче, был боец, а получилась полностью дестабилизированная субстанция со вторичными половыми признаками. Ну и кому такая субстанция нужна теперь? Да никому, кроме Вас. А Вы ему сразу – милый, я все, мол, решу, я таких докторов знаю, таких докторов, вау, они зелье тебе приготовят, вылечат. Только ты к другим ни к кому не обращайся. Обманут, шарлатаны. А денег стребуют. Все! Прикован парень к Вам навечно, Вы его любовь единственная по гроб. Аминь!

Тьфу на тебя. Утро уже. Метро вон ходит и двери в общаге открыли. Ладно, любимая. Поедука я к тете на завтрак. Увидимся в Нижнем. Конечно, люблю. А кого же еще. Кому я еще такой вот нужен, с проблемами. Целую...

***

В квартире пахнет мандаринами и елкой. За окном январь, вчера он принес с собой новогоднюю радость, Голубой огонек, яркие звезды, подарки, селедку под шубой, шампанское и зимние каникулы.

В моей квартире раздается звонок.

– Я в Нижнем, дорогой. Да приехала, на две недели, домой к родителям, ну и к тебе, разумеется. Ты ждал меня? Сильно? Честное слово? Я тоже. Приезжай, – говорит мне Лена, – никого не будет до вечера. Люблю тебя.

От моего дома до Лениного ходит маршрутка. Номер сорок шесть. Семь остановок. Двадцать минут езды. Еще я ждал ее минут десять. Дзинь! Любимая, это я!

Вечером я набрал Ленин номер. Она плакала.

– Что случилось? – спросил я ее.

– Час назад домой пришла мама, – услышал я в трубке, – она решила прибраться в моей комнате, открыла ящик стола и увидела таблетки. Я их приняла перед нашей встречей. Какие таблетки? Те самые. От которых детей не бывает. Какой же ты глупенький. Мне пришлось ей рассказать. Она знает о нас все.

– Ничего страшного, – отвечаю я, – это не беда. Я люблю тебя и не хочу скрывать свое чувство от твоей мамы. Мы не сделали ничего противозаконного. Нам обоим уже девятнадцать.

– Я тоже ей так ответила, – продолжает Лена сквозь слезы, – но ты должен понять меня, у нас очень консервативная семья. Мои бабушки и дедушки из деревни, а папа военный. Мама велела нам с тобой жениться. Ведь ты же любишь меня?

В Ленином голосе звучит надежда.

***

– Я на Лене решил жениться, – говорю я Светке, – вот пришел тебе сказать спасибо, что познакомила нас тогда.

Светка смотрит на меня как на душевнобольного и от неожиданности выпускает из рук поводок со спаниелем Динго. Тот, не поверив своей свободе, несется на конец двора, где его уже ждет лохматая собачно-женская компания. Себя они называют суками. Но на человеческом языке слово это звучит не литературно.

– Ты уверен? – спрашивает она меня.

Я рассказываю ей про любовь, про то, что Ленка была самой первой женщиной в моей жизни. В том самом смысле. А тут еще мама.

Мы гуляем во дворе Светкиного дома.

– Динго! А ну отвали от нее, – кричит громко Светка. Куда там. Динго по-молодецки забросил обе ноги на грязно-пегую дворняжку и удовлетворяет свои кобелиные потребности, вложенные в него всеми предыдущими собачьими поколениями. Та, оскалив два ряда острых белоснежных зубов... сколько их там у собак, собаководы знают... подрагивает под его поджарым торсом.

– Ты вот думаешь, у них тоже любовь? – показывая на спаниеля, спрашивает меня Светка. И, не дождавшись, отвечает сама, – вас как зомбирует этот самый первый раз. Я ж тебя просто познакомила. Просто. Кто же знал, что ты так втюришься. Нет, конечно, я за Ленку только порадоваться могу из женской солидарности. Ты парень симпатичный, умный, перспективный. Только вот ты мой друг. Ленка не пара тебе. У нее уже два аборта было. А ей всего девятнадцать. Врачи сказали, что если третий, то детей не жди. А она и не волнуется, похоже. Подумаешь, говорит. Зачем они...

Два аборта. В Ленинграде?

– Нет, в Нижнем еще. Ей семнадцать тогда только стукнуло.

– Я ее все равно люблю, – говорю я Свете.

– Ах ты кобель паршивый, – на весь двор кричит Света.

Динго даром времени не теряет. Сейчас его внимание получает пятнистая короткошерстная сучка.

***

В следующий раз мы встретились с Леной через пятнадцать лет.

– Привет, – говорит со мной по телефону чуть низковатый женский голос.

– Здравствуйте, – отвечаю я.

Не узнал? Нет. Кто это? Лена. Лена? Какая Лена? А что, у тебя их много было? Девушка, давайте серьезней, я не намерен играть в угадайки.... а сердце вдруг начинает биться все чаще, тук, тук-тук, вспоминает как будто что-то, потому что я начинаю догадываться, какая это Лена, да и она тоже понимает, что я все уже прочувствовал.

– Я твоя первая Лена, – произносит она негромко и затихает, и эта тишина врезается мне в уши, бьет по перепонкам громче самого громкого выстрела, шума, грома, чего там еще бывает, а потом сквозь эту тишину я слышу какую-то музыку и начинаю думать, что тогда во время нашего первого раза тоже была какая-то музыка, а может быть, именно эта, которая сейчас всплывает в моей памяти. Или нет, тогда музыки не было вообще. Да разве в музыке дело. А еще я почему-то начинаю чувствовать себя виноватым, наверное, вспоминаю, что я что-то обещал сделать и не выполнил, а что... ах, да... жениться. А почему не выполнил, почему? Я звонил, звонил много раз. В том же году, через две недели, после твоего отъезда, звонил, звонил. Мне сказали, что такая здесь больше не живет, выехала. Как выехала, куда выехала? Не знаем, отвечали мне на том конце, мы не располагаем такой информацией. А подружки, ее подружки? Там, в комнате, вместе с ней жили. Одна Оля, другая Маша. Еще третья была, но я ее не видел. Кажется Ира. Да Ира. Из Вологды. Они должны знать, спросите у них, они знают. Молодой человек, у нас здесь не справочное бюро, мы никого спрашивать не будем. Что? Позвать кого-нибудь. Кого? Олю? Машу, Иру? Любую, кто будет. Как Вас зовут? Леша из Нижнего Новгорода. Подождите. Мне кажется, проходит целая вечность. В трубке я слышу, как хлопает дверь общежития. Женский смех. Ленинград. С Вами никто не хочет говорить, словно врывается мне в трубку холодный Балтийский ветер. Как не хотят? Почему? Вы ничего не перепутали? Может Вы имя мое неправильно произнесли. Да. Леша. Из Нижнего Новгорода. Сказали, не будут. А можно... ту-ту-ту.

После этого я больше не звонил, вспоминаю я. Только Светке. Она сказала, что ничего не знает. Какая же я скотина, начинаю корить я себя, и мне хочется обнять эту девушку, прижать ее к сердцу, расцеловать. А еще лучше лечь рядом, ее голова на моем плече, например, правом, а моя правая рука ей около груди, а левая на поясе, а ее правая у меня на животе. И ноги переплетены. Как так можно переплести ноги! Если бы в этот момент позвонили родители, нам бы пришлось потратить несколько минут на их распутывание.

– Я сидела в тюрьме, – выводит меня Лена из воспоминаний. – За воровство. У нас в институте это дело так и назвали – дело о помидорах.

***

Мы встретились в парке. Я некоторое время размышлял, купить ли цветы, но понял, что поездка в самый ближайший магазин займет слишком много времени. Ладно, решил я, мы же теперь будем видеться часто. Зомбирует вас, что ли этот самый первый раз, вспомнил я слова Светы.

Лена на наше свидание пришла с бутылкой пива. Хорошо, что не купил цветы, пронеслось в моей голове, было бы странное сочетание.

– Извини, умаялась за день, устала, – вместо поцелуя сказала она. – Хорошее пиво, кстати, немецкое. Хочешь?

И она протянула мне бутылку. Я помотал головой.

Мы сели на скамейку. В этом парке скамейки всегда на удивление чистые.

Устроилась в магазин. Продавцом, по вечерам. Нужны были деньги. Взяли прямо у черного входа с сумками после работы. Представляешь, с тремя килограммами помидор. Потом стали магазин проверять, а там наворовали еще раньше. На меня все повесили. Никого не сдала, отсидела за всех. Подруг по общаге попросила тебе ничего не говорить, Светке тоже. Считай, что умерла. А я почти и умерла. Там другая жизнь. Не дай бог. Отсидела. Повезло еще, на зоне в столовой работала, поваром, на самом сладком месте. Снова на помидорах. И не только. Вышла, устроилась на работу. Какую, не спрашивай, какая работа после тюрьмы. Обустроилась, осмотрелась. Мир-то другой вокруг. Вышла замуж, поменяла фамилию уже лет как десять, переехала в Нижний Новгород, вначале в столовой работала. Потом уволилась. Мелко все это, сосиски приворовывать. Да и потом времена поменялись, сейчас дефицита нет. Вот решила свой бизнес сделать.

В тюрьме, замужем... десять лет, в Нижнем. А я, а мы? Мы, оказывается, столько лет в одном городе, и ты ни разу не позвонила. Мы же любили друг друга... Да?

Ну, перестань, что ты как маленький, конечно любили. В девятнадцать лет любое увлечение кажется любовью. Но ты был славным. Зачем тебе уголовница? Подумай. Она делает большой глоток и бросает бутылку на газон.

– А дети, – спрашиваю я ее, – у тебя есть дети?

– А у тебя есть зажигалка? – вопросом на вопрос отвечает мне Лена, доставая из сумочки сигарету.

Нет, мотаю я головой. Не куришь. Молодец. А я как начала в тюрьме. Дети? Детей нет. Да и некогда мне, работы много, да и потом от кого, от этого мужа-неудачника.

У нее уже было два аборта, врачи сказали, будет третий и все, останешься без детей. Подумаешь... вспоминаю я Светку.

– Мне нужна твоя помощь, – Лена выводит меня из оцепенения, – я клинику открываю. Клинику по увеличению женских грудей.

Каких еще грудей? Вот этих, показывает она руками. Забыл? Тебе раньше нравилось. Да, мне нравилось. Раньше... и сейчас.

– Это хороший бизнес. За рубежом уже повально началась мода на большие груди, вот такие, – она отводит свои руки вперед сантиметров на двадцать. – И девчонки молодые себе делают и взрослые тетки, а есть даже старухи. На пенсию выходят и туда же, пятый номер им подавай. Операция дорогостоящая. Но эффект сногсшибательный. Мужики разум теряют, когда видят, тем более она еще и на ощупь упругая такая становится, как мячик. Я себе сделала. Видишь. Хочешь потрогать. Нет? Да не стесняйся. Ну и что, что народу много. Ну ладно. В общем, не грудь, а всеобщая человеческая радость. В Нижнем эту операцию пока вроде не делает никто, я узнавала. Вот я и хочу начать. Деньги там большие зарабатываются. Думаю, оборудование американское привести, имплантанты тоже. С этим я вроде разобралась. Деньги свои есть. Кое-что люди хорошие дали, компаньоны, заведующая того самого магазина отблагодарила, – Лена загадочно улыбается. – Помещение уже сняла. Хуже всего с разрешениями. Оказывается столько справок надо получить, я даже не знала, что у нас столько инстанций чиновничьих существует. Пожарники, СЭС, налоговая, милиция, всех не перечислишь. И везде все рассматривают по месяцу, а как месяц проходит, так выясняется, что тут не так и здесь не то и надо исправить и поменять. И еще месяц. Я потыкалась вначале по-честному, а потом поняла, что я так клинику к пенсии своей открою. И тут вспомнила, что я же работник Советской торговли. А нас как жизнь учила – не подмажешь, не поедешь. Я тогда решила, что взятки всем давать буду, чтобы побыстрей. А тут знаешь, то ли господь бог меня пожалел, то ли черт смилостивился. В этих организациях в основном одни мужики работают. Представляешь, я к чиновнику прихожу в кабинет и про титьки начинаю говорить. Про титьки, как про свой будущий бизнес. Некоторые из них дар речи сразу теряли, переклинивало у них все. Потом в себя приходили и начинали в ресторан звать, мол, интересно им послушать, как это все происходит. Я им там про груди грузила, говорила, что себе эту операцию сделала недавно в Петербурге. Они-то, кстати, сразу потрогать не прочь были. Не то, что ты. Ну, а где потрогали, там и попробовали. В общем, после ресторана их всех на натурные эксперименты тянуло. Прикинь, я каждому второму на своей груди ручкой рисовала в кровати, где разрезы должны проходить. Почти все через койку мою прошли. Кроме пожарника. Тот, похоже, маньяк. На работе угорел, должно быть. Я ему обещала подарить кассету с видео, где операцию делают. И еще тетка попалась в налоговой. Ей, можно сказать, пришлось сертификат выдать на будущую операцию. Придет, как открою.

– Я тебе зачем нужен? – спрашиваю я Лену.

Ведь я же тебя любил, думаю я. И сейчас еще что-то дрожит в моем сердце.

– Лицензия! Последнее, что осталось, это лицензия. Это самый главный документ, Без него все, что я уже сделала, бессмысленно. Мне уже три месяца ее не подписывают. Подписывает ваш директор департамента здравоохранения. Я ему в приемную звоню, а мне ничего не объясняют. Документы на подписи, Вам сообщат. Сообщат. Уже три месяца сообщают. И на прием не записывают. Хоть на улице его лови после работы. Ты ведь знаешь его? Я навела справки.

Она навела справки...

– Да, знаю, – отвечаю я. – Он одноклассник моего отца.

– Позвони ему, пусть подпишет.

– Хорошо, – поднимаюсь я со скамейки, – набери меня завтра днем.

– Ты скажи ему, что если он чего-то хочет от меня лично... ну ты понимаешь, по женской линии, я согласна, – и Лена улыбается во весь свой рот. Я вспоминаю, как под Динго скалилась от удовольствия грязно-пегая сучка. Черт, это же не литературное слово. Да ладно...

– Ему шестьдесят, он женат, – говорю я, – и любит свою жену.

– Для многих это не возраст. А про жену... Мы любим одних, дружим с другими, а спим с третьими, – произносит Лена и уходит.

Ложь... Десять лет назад Светка вышла замуж за Гошу. Я был свидетелем на их свадьбе.

***

– Спасибо, – слышу я Ленин голос в трубке на следующий день. – Все подписали. Быстрее, чем я думала. Уже утром позвонили, сказали, что все готово, можно забирать. Я теперь твоя должница.

Я молчу. Я не знаю, что говорить. Я не спал всю ночь. Может быть, я еще люблю эту женщину?

– Хочешь, вспомним молодость? – спрашивает меня Лена, – как тогда, пятнадцать лет назад. Только теперь мамы нет и таблетки никто не найдет. Они уже не нужны. Не будет у меня детей. Наврала я тебе. У меня муж уходит к девяти на работу, возвращается ровно в восемнадцать тридцать. Обедает на заводе. Он начальник участка. Приезжай сейчас. У нас будет целых три часа. Я живу в той же квартире, где раньше родители. Они переехали. Адрес помнишь. Нет? Я встречу возле автобусной остановки. Ты приедешь?

– Да! – отвечаю я и сам пугаюсь этого ответа, – Да, я приеду. Я люблю тебя, я хочу видеть тебя, слышать, обнять. Я хочу жить с тобой. Всегда. Вместе. В Нижнем Новгороде, в Ленинграде. В квартире, в общежитии. Все равно где. Разводись. Выходи за меня замуж. Я люблю тебя. Я сумасшедший.

Я сажусь в машину и еду.

Владимир МЯЛИН

***

Когда в Твоём саду крыжовник розоватый
И яблони, и слив сочащаяся плоть,
И ломкая оса, и жук небесный в латах,
И на цветке свекольном бабочки щепоть...

Когда в дому Твоём заплаканные стёкла
Иль платина зимы, где чёрный дуб плечист;
Меж стёкол муха спит и рядом тлеет блёклый,
Невесть зачем и как сюда попавший лист, –

И шарканье ворон, их пепел над главами
Церквы игрушечной, и леса синева...
Тогда хочу прильнуть к устам Твоим словами,
Но катятся слезой бессильные слова.

***

Откричал старьёвщик, отыскрил точильщик,
Тепловоз горячий отдудел в свой сакс.
Наживное время, мой жучок-могильщик
Шевелит усами – тишина в усах...

А бывало, смотришь – и всё увидишь...
И сидишь в квартире, на небесах,
А сойдёшь – на рельсы дрезиной выйдешь
С зажужжавшим сердцем, с огнём в глазах...

И ночной покой вдруг от дали дальней,
От построек ржавых, полосатых вех –
Слабо дёрнет веки в золотистой спальне,
И накроет землю с головою – снег.

***

Пусть не стала мне пухом скупая земля, –
Никому, ничему не известный,
Кочегаром я встану из кучи угля,
Черноглавой церквою воскресну.

Чтобы слушать молебны железных путей
И бросать в паровозные печи
Голубой антрацит с телогрейки моей,
Надавивший на спину и плечи...

Владимир Мялин родился в 1961 году в Москве. Член Союза писателей России. Печатался в журналах «Арион», «Бег», «Российский писатель», «Московский Парнас». Автор книги стихов «Из ближнего рая».

Чтобы вторить ударам червлёных колёс
Превращёнными в прах сапогами.
И не спать. И с пригорка лететь под откос
В небеса смоляными главами.

***

Что сидишь при дороге один,
Апельсиновый мой насреддин?
Что ты смотришь на рельсы, на шпалы?..
Пробежит тепловоз ишачок,
Промелькнёт электрички бочок,
На колёсах чугунных – кварталы...

Душанбе, Самарканд ли, Багдад?..
Я ведь тоже, мой пристальный брат,
Приторочен к железной дороге,
А надолго – не знаю и сам...
Голосую слепым поездам,
Протекающим мимо, как строки...

***

Не город умерший – его шестерни
И вал деревянно-скрипучий...
Нелепый шарманщик, ещё проверни
Хоть раз свой мотив непевучий.

Не русский, не немец с тирольским пером –
Сутулая тень на заборе, –
Всё то, что на вынос и то, что на слом,
Что стёрто со временем в споре, –

Нехитрую силу вложи в рукоять,
Пуская тихонько по кругу...
Мы тоже, как город, – и будем стоять,
Подобные свету и звуку...

***

В перекрестье рамы мой город тих,
И во мраке – крыши с щетиной труб.
Не звони в квартиру – там мой двойник
Не по-детски нежен и детски груб...

Всё стоит у зеркала, как во сне,
Словно выдуло время его в трубу,
Виновато как-то кивает мне,
Улыбается и клянёт судьбу.

Ну а если шкафа завесить дверь
Гобеленом, розовой простынёй, –
Ничего не будет с тобой, поверь,
Ничего не станется и со мной...

Владимир АЛЕЙНИКОВ

***

Как едины и разноголосы
Восклицанья пернатых вблизи!
И глазеют напрасно вопросы,
Как ответами им ни грози.

В небе серп уходящий светлеет,
Облака – их почти не видать,
И по-своему всяк разумеет,
Что любить и за что отстрадать.

Нам не к спеху ловить впечатленья –
Не напрасно в цветах ощутим
Скрытный запах удушья и тленья,
Холодов и снегов побратим.

Если слабости к ним не питают
Ни кусты, ни деревья в саду,
Непогода тебя испытает –
Знать, написано так на роду,

Чтоб теней переимчивым тоном,
Переменчивой тайной своей
Уступить с церемонным поклоном
Хоть частицу исчезнувших дней.

Сей подарок и принят и прожит –
Но гляжу, изумляясь ему:
Сколько осень подспудного множит!
Что творится со мной? – не пойму.

***

Над чашей полной круговой
Склонясь, как в юности, с друзьями,
Глядясь усталыми князьями,
Чей возраст встал над головой
Не то сиянием ночным,
Не то вечерними лучами,
Всю тяжесть чувствуя плечами

Владимир Алейников родился в 1946 году в Перми. С 1964 года живёт в Москве. Окончил отделение истории и теории искусства истфака МГУ. Участник и летописец содружества СМОГ. Стихи в отечестве начали печататься в период перестройки. Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», «Огонёк», «Волга», «Континент» и др. Автор множества книг стихов и прозы. Член союза писателей Москвы и Союза писателей XXI века. Член ПЕН-клуба. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка. Живет в Москве и в Коктебеле.

Того, что ближе дням земным,
Чем занебесное, в пустом,
Сухом, разреженном эфире
Скитанье радужное, – в мире
Не ко всему идём гуртом, –
Так вот – над чашею склонясь,
Пусть и не пьёшь, сие неважно,
Впотьмах беседуя протяжно
О том, что связь не прервалась,
И вопрошение сродни
Чему-то, ждущему туманно,
И воскрешение желанно,
Как всё, чем грезим искони,
Когда-нибудь, не в этот раз,
Мы призадумаемся, братья,
О том, что времени объятья
Окрепли именно сейчас.

***

Памяти семидесятых

И только дождь размахивал плетьми,
И ночь была недоброю и скрытной –
И беды разлетелись меж людьми
Из ящика Пандоры любопытной.

Поди-ка выгадай, где проще, где теплей –
Уюта невидаль давно тебе не снилась,
Не опаль – непогодь упала с тополей –
Сама усталость и сама немилость.

Шарами ртутными играющий Гермес
Не высунет на улицу и носа –
А ты расхлёбывай стекающий с небес
Весь этот проливень – упрёки и вопросы.

Куда податься мне? С разбитой головой,
С нелепой стойкостью, с затравленной судьбою,
Идёшь не жалуясь – а всё же сам не свой,
Чтоб только выжить, быть самим собою.

Подвал заброшен, холоден и сыр, –
Сюда ли мне? Пусть так, не всё равно ли?
В нём жизненный запрятан эликсир, –
Что ж, отлежусь, – избавлюсь ли от боли?

Жевала крыса высохший батон,
Я в темноте пытался отоспаться,
Да сон не шёл, – зато со всех сторон
Вставало то, чего пора чураться.

Казалось мне, недаром в эти дни
Тень Сен-Жермена по России бродит,
Проходит сквозь болотные огни,
Всё ищет что-то в ней – и не находит.

А там и прочие – и нечисти не счесть –
На улицу я вышел осторожно –
Уйдёт ли наваждение? Бог весть!
Бог – есть, а это значит – всё возможно.

***

С поднятой головой,
Вглядываясь, вбирая
То ли остатки рая,
То ли костяк сарая
В мир обречённый свой, –
Жизнь предстоит вторая –
Встретимся за листвой.

Полно хандрить, встряхнись,
Выпрямись одичало, –
Всё, что вчера прощало,
Щурилось и вещало –
Это не даль, а близь, –
Что бы там ни встречало –
Не пропадай, вернись.

Сотканы из тоски,
Собраны из печали
Дней, что права качали,
Щерились и ворчали,
Стынущие годки, –
Склеить бы, как вначале,
Скомканные куски.

Не поддавайся, встань, –
Всё это, брат, зачтётся,
Всё это там прочтётся,
Где о тебе печётся
Тот, кто глядит за грань, –
Им-то ужо учтётся
Вздох твой в такую рань.

***

Воздушный путь, и ты, Чумацкий Шлях,
И ты, дорога, вестница морская!
Видны вы мне из осени в степях,
Зовёте вы, ресниц не опуская.

Он жив ещё, сей тройственный союз,
И душу он смущать не перестанет –
Язык его ищи в сердцах у Муз,
Иди к нему – тебя он не обманет.

А ты, луна, взгляни-ка на ладонь –
Откуда перепутья кочевые?
Пусть губ не жжёт прохладный твой огонь –
Его ты воскрешаешь не впервые.

Отважусь ли, как некогда желал,
Затронуть струны, с памятью не споря,
В стенах мирских, под гнётом звёздных жал,
Чтоб ты меня охватывало, море?

Чтоб ты меня окутывал, туман,
Клубящийся как лебедь пред рассветом,
Истаивая странностью времян,
Не думающих попросту об этом.

Что вижу там? – гаданье по огню?
Какую-то фигурку восковую? –
Ах, полно! – никого я не виню,
Завесу поднимая вековую.

Спадает ли обиды пелена
С очей моих, томимых ожиданьем, –
Тобою, море, даль напоена,
Страстям людским ты служишь оправданьем.

Нет соли, что была б твоей горчей,
И силы нет прозрачней и радушней,
И вновь не подобрать к тебе ключей
В глуши уединения послушной.

Попробуй-ка пространство отворить –
Кому оно покажется с овчинку? –
Лишь имя успеваешь повторить,
Смутясь разбить протяжной влаги кринку.

И в раковине ясен мне порой
Укор неоспоримый кругозора,
Чтоб это оказалось не игрой,
Доступною для слуха и для взора.

Я вновь косноязычничаю – что ж!
На то и есть наитье и случайность,
Поэтому, наверное, и вхож
Туда, где изумит необычайность,

Чтоб, стольких бурь порывы укротив,
Душа желала света золотого, –
И уплывают греки, захватив
Огонь священный с алтаря родного.

М. НИЛИН

ДАСТАРХАН

(Stück)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ВУСТЕР
ЛЮ
ВОЛЯ
ГОСТЬЯ

В столичном городе – затеснённый двор в соседстве с православным храмом. В углу двора – дверь на чёрный ход четырёх ли – пятиэтажного дома старинной стройки.

Система ли видеонаблюдения отслеживает происходящее – проецируя, положим, на стену... (Спёртый воздух с зелёной подсветкой – трансляция по TV футбола – в помещении охраны)...

Почтенных лет и со значительностью в осанке мужчина (это Вустер)... без стеснения или всё же смущён?.. волочёт к двери лист упаковочного картона... Можно предположить, что выходил недалеко... моцион? в магазин?.. разжился случаем и предполагает дать картону употребление... Усматривает в затее нечто забавное?

Прилаживает картон на двери чёрного хода или возле неё. Теперь видно, что на картоне есть надпись: ХОД ЧЕРЕЗ МЕБЕЛЬ

Отпирает дверь, входит.

Если при возможной постановке явится мысль о саунд-треке, то, по мнению автора, эту часть следовало бы решать в отвлечённом ключе – воспроизводя загодя смонтированную звукозапись.

Собственно, имеют место шумы, доносящиеся из-под арки двора с улицы. Прохожие ли, говорящие по мобильному телефону, слышны – пока не минуют проём... изредка – тяжёлые автомобили и – безостановочно – легковые... Разговоры по телефону вышедших на балконы... Ретроэффект скрипа детских качелей не в полной мере, кажется, уместен. Другое дело – музыка в автомобилях, слышимая в движении и относительно «помещения охраны» – снаружи...

Отсылки к звуковому сопровождению пролога не будут ли желательны в дальнейшем, поскольку – «по условиям места» – мизансценическая сторона действия более или менее статична.

К той же двери на чёрный ход направляется друг Вустера – Воля (Владимир? Вольдемар? Револьд? Владлен? Эвальд?). Отмечает, как новость, объявление.

ВОЛЯ (*к залу*). Пьес, по крайней мере, новых, не ставим. Напоминаю, что нужно выключить, да, телефоны. Ставим известные даже тёмным людям... да, не ходят... произведения, инсценированные. Заведомо известные, с заведомо, да, известным сюжетом. Служащие, так сказать, либретто. С тем, чтобы внимание сосредотачивалось на трактовке... находках... На что пришли смотреть? Сюжет вам нужен? Женится ли кто на ком, словчит ли трикстер, выгорит ли у него... Римляне, за-

М. Нилин родился в 1968 году в семье литераторов. Действительная военная служба в подразделениях пограничной пехоты. Кратковременное пребывание в ряде африканских стран. Обучение в Москве в МГУ. Стихи представлены в антологиях «Современная литература народов России», «Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry›› (USA), «Самиздат века», «Несколько поэтов Северного Соседа» (Япония, 2006; на японском языке, перевод названия приблизительный), «Время «Ч», в газетах, журналах, альманахах: «Цирк «Олимп», «Modern Poetry in Translation» (USA), «Черновик», «Авторник», «Весы», «Стых» (Украина) и на интернет-сайтах Ив. А. Ахметьева, Дм. В. Кузьмина. Работы в области бук-арта: «Акцидентный набор», «Стихи 1998-го», «Стихи 1999-го» и др.

мечу, греческие трагедии, комические вещички – хрестоматийные – брали – основой... как повод к представлению, понимаете. А играли – без слов. Что ставили в Риме? В имп<u>е</u>рском, развит<u>о</u>м, с развит<u>о</u>й публикой? Пантомимы.

Отпирает дверь, входит.

Возможно, ещё во время монолога on-line-проекция (преувеличивающая размер фигур?) – в просторном свежеотделанном помещении службы охраны – сменяется игрой актёров во плот<u>и</u>. Впрочем, с удобством это осуществимо и позже, когда действие переместится на лестницу чёрного хода – по окончании пролога.

Появляется подруга Вустера – Лю, волокущая лист картона, а, пожалуй, фанеры. Прислоняет к стене. При ней ещё сумка – не так лёгкая (рюкзак?). Мельком обращает внимание на объявление. Похоже, намерена дождаться кого-то, а с тем и отходит от двери... положив себе держать в поле зрения арку двора?

ЛЮ (увидав? кричит – несколько неуверенно). Мы здесь.

I.

Чёрный ход. Входят Лю и Гостья.

ЛЮ. Я вот даже не знаю, как догадалась, что это вы. Так решительно идёте, вроде и не сомневаетесь. А, вообще, нас, если не знать, то не найти. Давеча иностранцы... Это Вустер всегда так говорит: давеча... Им такс<u>и</u>ст голову заморочил. Спускалась. А что делать.

Ну вот сейчас с духом соберёмся, захватим вот (*указывает на ёмкости с водой*).

Мы на самый верх. Помещение неплохое. Вустеру полагается. Тем более у него другой площади нет.

Была, конечно, ещё до всего – это всё отошло жене. Ну, и ладно. Несчастная женщина, даже можно сказать: на всю голову больная. И, как все мы, приучилась: пьёт.

А теперь лихие люди, одним словом, оформили этот дом.

ГОСТЬЯ. Купили?

ЛЮ. Якобы теперь в своём праве. Значит, охранники, рес<u>е</u>пшн, а мы должны чёрным ходом. Вы понимаете, свет периодически вырубают, а чувствительно – что воду.

Ну да бог с ней, да?

Туалет, помыться – это всё отрезано. Это всё с трудностями. И вот ношу. Мои мужчины больше, я вам должна сказать, эмпир<u>и</u>чески относятся. Объявление, где ни стало, снять, что-нибудь такое. Потеш<u>а</u>ются. Хорошо. А таскать им туда – в эмпир<u>е</u>и – это Лю. Л<u>ю</u>шечка. Нашли лошадь.

Давайте посидим. Что мы, правда. *(сообразив, что сесть Гостье не на что)* А, да. Ну, сейчас. Возьмём.

Лю – это знаете почему? Виол<u>е</u>тта. Я когда ещё воспротивилась. <u>О</u>ля. Вустер окрестил: Лю. Но это не Л<u>у</u>ша, не Лук<u>е</u>рья.

Я – утром – или когда придётся – иду в церковь. Ведь рядом. Ну представляете, что там за люди? Шипят. А где я это наполню? Иногда старичок, К<u>о</u>ля, дежурит – с тем ничего, а то... Вот. Тащу сюда. А пот<u>о</u>м – за попу<u>т</u>ьем – подымаю.

Ну, берём.

Разобрав ёмкости, всходят на полм<u>а</u>рша. Лю ставит ёмкости... поколебавшись, спускается и затем чуть не взбегает ещё с двумя. Ставит.

ЛЮ *(отказываясь от помощи, задохнувшись)*. Нет. Вы на каблуках... Какой там народ неприятный! Как портит людей религия. Сейчас я вам прочту:

«Да и я теперь не тот, не прежний –
Недоступный, гордый, чистый, злой...»
Вы знаете эти стихи?

Гостья кивает.

ЛЮ *(довольная осведомленностью Гостьи)*. Отлично. Как это всё, я вам должна сказать, неприятно. Идём в электросбыт. Таких, говорят, полномочий у нас нет. У них. Но – ввели в курс. Были оттуда люди, то есть из нашего дома. Мощности им нужны. Держатся заносчиво, и такое впечатление, что не на голом месте... Пошли.

Подымаются ещё на полмарша, и здесь Лю вынуждена остановиться.

ЛЮ. Я чего пришла. Знаете: что Вустер, что Воля... Ну, это наш друг. Он как раз человек состоявшийся, синхронист. Если хотите знать, то неудалый... Они могут с утра засандалить, всё забыть. А вы придёте. Новый человек. Это неловко. А если начистоту, я вчера с ними и без них. У меня тут в двух шагах комната. Своя. Пьющие соседи. Надо появляться. Мне от бабки эта комната. А родители у меня в Восточной Сибири. Тоже – езжу, но пока ещё в помощи не нуждаются. Акционеры. Между прочим, была приватизация – им акции достались. И по ним, честное слово, выплата, раз в год... Пойдёмте.

Подъём, однако, не возобновляется.

ЛЮ. Я всё же за фанерой смотаюсь.

Сбегает вниз. Возвращенье – с листом фанеры – не обходится без происшествия. Не удержав – лист тяжёл и парусит – выпускает, и, ступив на него, не устояв – с ним ли, по нему – с кульбитом оказывается площадкою ниже – откуда, впрочем, тотчас откликается.

ЛЮ. Нет, что-то Лю себе сегодня не нравится. С координацией катастрофа.

Гостья отходит от растерянности. Физические её кондиции в высшей степени удовлетворительны. Перспектива испачкаться не увлекала, но с раздражением справилась. Актуален ли для неё тихий азарт внимательности?
Лю встаёт на ноги. Прислоняет лист к стене.

ЛЮ. Вы, например, до чего хорошо выглядите. Правильно, я считаю. Женщина за собой следит. Я не ушиблась. Попрошу – Воля подымет, занесёт. Давайте я вам объясню. Вустер – я Вустера люблю – Вустер, конечно, уже... то есть он сам говорит... «для нашего дела не годится». С точки зрения женщины. В годах. А Воля... Был на хорошем счету. Выпивоха. Теперь сам о себе говорит: прищепка. Не понимаете. Есть киноиндустрия. Сняли кино. А кто-то из оборотистых его слямзил, копирует. Но мы же языков не знаем – нужен закадровый перевод. А некоторые, кто этим занимается, опасаются. Узнают – по голосу, вычислят, привлекут. Боятся. Где заработок, там... А с прищепкой – прищепку на нос – выговор, ну, надеются, другой... Вы, я не знаю, не за иностранцем замужем?

Гостья реагирует неопределённым движением.

ЛЮ *(кивает, как если бы в некоем убеждении утвердилась)*. Не жадный. Я про Волю. «Синхронист – золотое дно, римский фонтан». Себе, между прочим, не отказывает. Посещает аналитика. Знаете, что это такое?

Гостья кивает.

ЛЮ. Проблема. Пьянство. Как на работу – раз в неделю.

Гостья делает движение, как если б желала возразить.

ЛЮ. Верно. Гораздо чаще нужно. Ведь который год, а толку? Михаил Павлович.
ГОСТЬЯ. Что?
ЛЮ. Воля к нему ходит. Слышали?

Гостья кивает. Лю неприятно поражена.

ЛЮ. Вот как? Ходим, лечит. Почему же. И привирает.
ГОСТЬЯ. В смысле?
ЛЮ. Якобы плыл, такой был случай, на лодке. Эпизо<u>д</u>ики. Зима, что ли, была. Лодка надувн<u>а</u>я. Ногами – сел на нос<u>у</u> – расталкивал льдины. Приобрёл болезнь. Правда: ходит как-то нетвёрдо. А ещё кто-то был в лодке – замёрз. Что характерно: у того череп – треснул. Мозг ведь наполовину из воды. Увеличение объёма при замерзании – проходили?
ГОСТЬЯ *(оживившись)*. «Сказка ложь – да в ней намёк». Это сейчас тренд. Лечебная тактика. Чтобы натолкнуть. Деликатно. И клиент сам доходит.
ЛЮ. Да. Только зачем же сразу так: сказка. Вам ведь он нравится?

Гостья – в самом деле, не задета ли ею Лю? – кивает.

ЛЮ. Своё дело знает, да? А римляне, вы ведь знаете, говорили: «Qui a bu – boira» – «Кто пил – будет пить». Нельзя помочь. Невозможно. А Воля не злой. Определённо. Кино и так далее – это всё благодаря ему смотрим. Принёс аппаратуру, сами с Вустером сломали, меня не было. Безусловно, Вустера почитает. С Вустером встретились, дружба – я была юная, Вустер пожилой, но не по расчёту. Кто-то так рассуждает: если речь о пожилых, то лучше ближе к финишу: всё твоё, и недолго дожидаться. Только я так не считаю. А с Волей... Как он говорит: дружеская услуга. «Помощь старшему товарищу». Было б чего угрыз<u>а</u>ться. Вустер как раз в больницу лёг. Это грех? Значения это не имеет. Идёмте.

Переход с грузом недолог. Силы оставляют Лю.

ЛЮ *(привалясь к стене, в виде объяснения)*. Ур<u>ы</u>вом беру. Резв<u>у</u>шка. А д<u>ы</u>халка не та. Мне папа списки составлял: что читать. И помимо библиотеки – с ним на стадион. Он ст<u>а</u>йерским б<u>е</u>гом занимался, а это – прик<u>и</u>дки.
Надо бы тут что-то такое, чтобы можно было присесть. За границей, рассказывали, не помню... *(указывая на стену)* Что они сделали – заложили. А был проём – на каждом этаже. А как же. Мы же – как было? – на лифте подымались, шли себе, не заглядывая, что там у них, нас не касается. А теперь я вам доставляю неудобство.
Теперь, допустим, пришёл грузовик. Ну, страшно. Разгружают. Чуть не бег<u>о</u>м, как в кино. Или – лимуз<u>и</u>н. Морд<u>а</u>стый садится, а с ним в камуфляже и прямо с автоматами. Среди б<u>е</u>ла дня. И поедут, не ин<u>а</u>че, по городу.
Чёрт бы всё побрал. Где здоровье? Эти тоже *(имея в виду Вустера и Волю?)* Сожгли сл<u>и</u>зистую. Водку водой запивают. Спелые гр<u>у</u>ши. Да что, все мы... «Смирение, мой друг...» Вы как, присутствие бога, ну хоть иногда ощущаете? «Экстериориз<u>а</u>ция – персонифик<u>а</u>ция – внутреннего жара». «Выше стропила, грядёт вот с таким». Глупая? Это есть. Так ощущаете?

Гостья молчит.

ЛЮ. Я – нет. Два с половиной миллиарда людей на свете.
ГОСТЬЯ. По-моему, больше.
ЛЮ. Так Вустер говорит.
ГОСТЬЯ. Ему запомнилось. Когда он учился, так, наверно, и было.
ЛЮ. Учился. А с тех пор ещё вдвое.

Гостья кивает.

ЛЮ. Или даже втрое. И все – в город. А? И, пожалуйста, канцелярия, учёт, досье – на каждого. Говорит: лестное представление.

ГОСТЬЯ. Кто говорит?

ЛЮ. Воля. Вольнодумец. «Лесть» – это слово знаете? Женщины иногда думают, что это от «залезать»... «лезут»... А значение другое. Правильно?

Гостья кивает.

ЛЮ. Последние известия возьмите. Информационное вещание. Дикторы быстро-быстро произносят. Держат за просвещённых. Занятых. Лестно.

ГОСТЬЯ. Бога? Вот так – присутствия? Нет.

ЛЮ. Вот. Слишком было бы хорошо. Персонально до каждого доходят, интересуются. Важно, да, как мы с вами себя поведём.

ГОСТЬЯ. Да.

ЛЮ. От тебя, Ваня, – на чью сторону встанешь – многое зависит.

ГОСТЬЯ. Ваня?

ЛЮ. Я – фигурально. Лестно. Маслом по сердцу. Массаж простаты.

Гостья, помедлив, кивает.

ЛЮ. А сами нет, да? Не веруете?

Гостья пожимает плечами.

ЛЮ. В Европе – пройденный этап.

Заметно освоившаяся Гостья не находит нужным отзываться.

ЛЮ. Ну, вперёд. С богом.

Подъём возобновляется.

Если наверх транспортируется шесть ёмкостей (канцстр? пластиковых вёдер?) то Гостья втаскивает их них – две (по одной или обе разом), а Лю – четыре (переставив две ступенькой-другой выше, обращается к оставшимся и взносит в ряд с поднятыми ранее)... Лю вмялась, поворачивается – хотя с похмелья – истово, но быстро выбивается из сил... Гостья предупредительна (несколько формально поначалу), не приходит в азарт, но деятельностью, в которую вовлечена, не тяготится... Сознает, что утрировать – да и обнаруживать – сочувствие было б не умно.

ЛЮ (*садясь на лестничную площадку спиной к маршруту восхождения*). Они в ад пойдут. Как у Пушкина. Оба. Пускай Вустер придуряется и бога поминает.

Едва слышен благовест.

ЛЮ. К заутрене. Спопашились! На дворе не знаю сколько времени, трудящиеся разошлись... Ладно. Я вам про этот дом расскажу. Только б не заскучали. И зачем фанерка.

Гостья кивает.

ЛЮ. Строила вдова. При царе Горохе. Хотела поближе к церкви. Мздоимцы пошли навстречу. Дом – доходный. А наверху – пентхауз. Поэтому – лифт. Электричество – и лифт. Отопление шло дровами. Берёза преимущественно, и кололи – работники – конечно, во дворе, а то и с дровяного склада везли колотые. Дороже. А второе – свежий воздух. Вдова. Молодая. Я так думаю. Поэтому ей спроектировали балкон.

Это обязательно нужно себе представить. Роют яму, выкладывают фундамент. Теперь – кирпич на кирпич – выводят стены. Кирпич, мы-то понимаем, вымочили. Год в яме с водой полежал. Ухитить на зиму, прикрыть – а то в мороз, как ваш Михаил Павлович.

ГОСТЬЯ. Что?

ЛЮ. Не знаю. Разорвёт. Вода-то в него вошла, зачем мочили.

ГОСТЬЯ. Ухитить. Heat. Тепло.

ЛЮ. Теплячо<u>к</u>... Зимой, если по уму, и не стро<u>и</u>ли... Жилья было ма<u>л</u>о, и жильё было многим недоступно. А рождаемость была не приведи бог. Да. В общем, я вам говорю. Вымочен кирпич – из раствора – в кладке – воду не тянет, не сушит – раствор, даёт схватиться... Вы не кивайте... Просто, я ведь не глупая, хочу вам эти вещи объяснить. Дом, когда сложат, сырой. Пускают бедных людей. Живут, зимой топят... Что вы фиксы сушите? Извините. Устала... Осе<u>л</u> дом. Напряжения в нём распределились. Отделка – и въезжают.

ГОСТЬЯ. Вдова – молодая?

ЛЮ. Молодая... Старшеклассницы замуж шли. Я вам не об этом. И бригада – отделочники – жила, если летом, во дворе, сараюшку сооружали.

ГОСТЬЯ. И как же всё это обстояло... с балконом?

ЛЮ. Пожалуйста. На фундаменте – стена. Кирпич по кирпичу – сколько? – пятьдесят рядов. Теперь – в стене – с внутренней стороны – уступ. Для чего. Кладём на уступ балки – от стены к стене. Это – перекрытие. Межэтажное. Для нижних жильцов – потолок, а мы, например, ходим по нему. Для кого потолок, для нас – пол.

ГОСТЬЯ. А балкон?

ЛЮ. Те, что снизу – подшивают доски, лепят на это дело штукатурку. А мы, наверху, стелим чёрный пол, сплачиваем, то есть сгоняем натуго, а там – хочешь стяжечку и на неё плитку или какой хотите паркет... Я про балкон помню, не надо указывать... Балкон всегда ниже перекрытия. Долбят слегка снаружи стену, и ещё можно уко<u>с</u>иной подпереть. Потому что у нас осадки, снег и потекло б в дом – если б ровень. И вся сила в том, что раз балкон – большой, то, догоняйте, именно что инженерно так нельзя. А порог – что? не налазишься, только за косу таскать.

ГОСТЬЯ *(после паузы)*. Инженерно – большой – балкон – продолжение перекрытия.

ЛЮ. Господи, твоя воля. Как соображаете-то легко. Веду – на свою голову. Мои с ума сойдут.

ГОСТЬЯ. Балки перекрытия, я вас правильно понимаю? достаточно длинные, выходят из стены, и на них-то, снаружи...

ЛЮ *(прерывая)*. Правильно. Пошли. *(встаёт)*

II.

Просторный балкон. Вустер и Воля выпивают.

За городским шумом из приоткрытой двери в жилое помещение становятся слышны голоса поднявшихся женщин – Лю и Гостьи... Переливают принесённую воду? спущена вода в туалете? лязгает рукомойник?

Ещё слышен церковный звон – по окончании службы ли... венчальный?

Перешагивают порог, выходят на балкон – Лю (у неё в руках кое-какая посуда), за ней Гостья.

ВОЛЯ *(изобразив радость и удивление)*. Лу.

ВУСТЕР *(с подобной же интонацией)*. Ляшенька. С кем, с кем, с кем? Идите же скорей. Зашёл Воля.

Спохватясь, благовоспитанно поднимается, приветствуя женщин.

ВУСТЕР (*Гостье*). «Счастье есть, угадал к обеду». Отмечаем. Прошу. Пётр и Павел. Наш, христианский, многозначительнейший в году день. Ставлю выше солнцеворота. *(представляя Гостье Волю)* Благодетель. Синхронист. Губит себя человек. Ля, друг мой, я понял. *(имеется в виду, что о визите, загодя назначенном, не забыл, и о том, кто перед ним, знает; Гостье)* Весь к услугам. Зашёл Воля.

ЛЮ. Пётр и Павел.

ВУСТЕР. Зашёл Воля.

ГОСТЬЯ *(светски; звон умолк)*. Престол?

Вопрос приводит Вустера в замешательство.

ВУСТЕР. Зашёл Воля. Сушь. Сыпется зерно. Загорел, как городовой. *(подтверждая вновь)* Сговаривались. Помню. Ля прекрасно структурирует мой день.

ЛЮ *(Гостье)*. Всю зиму – пока не смёрзся – снег – чищу. Всё равно: доска гниёт, ей сколько лет. Боюсь – подломится. Так я фанерку кладу, становлюсь... Отгребу – передвигаю.

ВОЛЯ. Ля – врушка.

Лю поражена замечанием Воли.

ВОЛЯ. Ты не можешь передвинуть лист, не сходя с него. Ты не на плоту. А раз ты соступила, то и... Прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена.

ЛЮ *(тихо)*. Ты на меня балетки не выворачивай... *(громче)* Налейте нам. Садимся.

Лю и Гостья садятся.

ВУСТЕР. Самочувствие экипажа отличное. Колени, утром приседал, не скрипят.

ЛЮ *(вскользь)*. А как со слухом?

ВУСТЕР. Сегодня встал, подметаю. Разумеется, сор – в камин. И – седой волос. С чего б и откуда? Контингент, благодаря бога, молодой...

ЛЮ. Он подметает!

ВУСТЕР *(игнорируя реплику Лю)*. Потребность. Как говорила наша тётя Капа: автоматизм культуры. На воздух. На балкон. И тут, вы знаете, явление. Летит полиэтиленовый пакет, чёрный... Сажистое пламя – вот цвет. Ворона... они, надо вам заметить, следят, свыше, мониторят, не отломится ли пользоваться чем... Снимается – и кругом, кругом, мелькает мимо окон...

ЛЮ *(не выдержав, прерывает)*. Они с веником знаете что сделали? Диссиденты: газет в доме нет. Так веник – на разжижку. Я везу – с рынка. В транспорте – с веником. Спалили. Сам пьян, как божья коровка. Вперегиб. Воля жмурится, как майский сифилис...

ВОЛЯ. Верно. Бить по штабам. Но позвольте вам заметить, если сочинять пьесу, ставить, то – о нас. Благодушествуем. Расположены к разговору. Где ещё вам дадут закончить фразу, не скажу – мысль? *(Гостье)* В опере изволили бывать?

Гостья кивает, припоминая.

ВОЛЯ. Вот у нас как в опере. Запел – пой, и никто, никто, чтоб перебить – нет. Разве лампа в софите лопнет, или – х-хук – око недремавнное – пожарник – с колосников, ракалия, упадёт.

ЛЮ. А то ещё, пока был, – воробьям. Околачивали. Я, душная дура, не беру в толк: ошмыгнут. Вымолотили. Ну вы понимаете? Веники из чего вяжут? Это сорго, злак. Зёрна кругловатые, под вид лакированных.

Вустер, встав... обходит стол?.. приобнимает Лю.

ВУСТЕР. Господь благословил ею мой жизненный путь. Драгоценная жемчужина русская душа. Нет ей равной и подобной.

ЛЮ. Налейте.

Воля разливает.

ВОЛЯ. Со свиданьицем.

ВУСТЕР. Будем знакомы.

Пьют.

ЛЮ *(указывая на Гостью)*. Знает Михаила Павловича.
ВУСТЕР. У Воли слабость. Воля мягкотел.
ВОЛЯ *(подхватывая)*. Воля боксом занимался. У меня п<u>я</u>тка страуса.
ВУСТЕР *(о Воле)*. Малый тихий, признательный. Происхождения самого простого.
ВОЛЯ. Простых-то я и боюсь – как Достоевский.
ВУСТЕР *(мирно)*. Люди-то у нас с каким юмором. Меш<u>а</u>лкина, фамилия, произнёс – смеются.
ЛЮ *(упрямо и вне связи разговора)*. Я читала, какие были злоупотребления.
ВОЛЯ *(Гостье)*. Это место, где находимся, имеет историю. Вдова...
ЛЮ. Не рассказывай, я рассказала. Налейте.
ВУСТЕР. Да. Ля права. Наполним.

Встав, свидетельствует почтение Лю. Наливает Гостье, затем Лю, Воле, себе. Садится. Пьют.

ВОЛЯ. Томилась – вдова.
ВУСТЕР. Третье состояние. Палуба. Взошедший на корабль – это наш земляк Анах<u>а</u>рсис, скиф, сказал грекам – ни жив, ни мёртв. *(Гостье)* С авиацией, с морем – отношения сложились?
ГОСТЬЯ *(не захмелев ли?)*. Никогда не звенела. А тут – молния – медная – на джинсах. Просят пройти.
ЛЮ. А я видала: там, где п<u>и</u>ськин домик – пуговицы. Как на пальто.

Вустер и Воля смущены – и, убедясь в том, собой недовольны.

ВОЛЯ. Можно гадать, как вдова тут провожала время.
ЛЮ. Пели. Тих<u>о</u>хонько.
ВОЛЯ. Прижив<u>а</u>лки. Мон<u>а</u>шки. Деревц<u>а</u> в к<u>а</u>дках... *(Гостье)* Знаете, как мы называем этот балкон *(поворачивается к Вустеру, обращаясь за содействием)*.
ВУСТЕР. Дастарх<u>а</u>н. Не доверяю памяти, но, по-моему, так – на Востоке – называется плоская кровля, пом<u>о</u>ст на ней. В первых сумерках собираются, умывшись.
ЛЮ. Так хорошо на душ<u>е</u>, словно н<u>о</u>ги вымыла.
ВУСТЕР. Воля прав: вполголоса можно спеть. *(запевает)*:

Как просила я у тятеньки
Сук<u>о</u>нного пальт<u>а</u> –
Посул<u>и</u>л радушник т<u>я</u>тенька
Ремённого кнут<u>а</u>

ВОЛЯ *(поёт)*.

В клубе дяденьку судили,
Д<u>а</u>ли дяде десять лет.
После девушки спросили:
Будут танцы или нет?

ЛЮ *(без св<u>я</u>зи)*. Даром – за амб<u>а</u>ром.

ГОСТЬЯ *(поёт)*.

Насмешили всю Европу,
Показали простоту:
Десять лет лизали жопу –
Оказ<u>а</u>лося – не ту.

ВОЛЯ *(воодушевляясь)*.

Как на киевском вокзале
Тридцать три уя связали,
Положили на весы –
Во все стороны усы.

ВУСТЕР *(запевает)*. Мы слюбилися печальненьки... *(всхлипывает и далее не поёт)*.

Воля и Лю, торопясь отвлечь внимание Гостьи от Вустера, запевают разом каждый своё... Лю уступает, подхватывает за Волей. Исполняют вдвоём:

ВОЛЯ и ЛЮ *(поют)*.

Матушка родимая,
Свеча неугасимая,
Горела, да растаяла,
Любила, да оставила.

(и затем):

Я умру – меня оденьте
В чёрную юбчоночку,
Глубоко не зарывайте
Бедную девчоночку.

ВУСТЕР *(плачет)*. Лифт. Объятья лифта. Ласка лифта. Вода... В серенький денёк тут особенно мило.

ВОЛЯ *(Гостье)*. Ведь вы будете к нам приходить? Не спорьте. Единство душ в долготу дней... Нервные люди, как вам известно, перестают звонить старикам. Инволюционные изменения, деградация... Эти картины отбивают у нервного человека вкус к жизни, напрягают. И – торговля цветами в руках монополистов. Расходы. Похороны. Солнечный день.

ЛЮ *(декламирует)*.

«И чувством молодости странной,
Как будто после похорон...» – это Бунин.

ВУСТЕР *(о Лю и Воле?)*. Неплохие ребята. *(встаёт... обходит стол?.. приобнимает Лю)* Православно предстоим святой божьей церкви.

ЛЮ. Вустер, я в порядке. Ты в порядке? *(без связи)*. Смотри, погода, а?

Вустер кивает, возвращается на место.

ВУСТЕР. Сейчас выпьем.

ГОСТЬЯ *(отказываясь)*. Мне достаточно. Спасибо.

Вустер наливает – себе, Лю, Воле. Пьют.

ВУСТЕР *(указывая на волю)*. Мягкотел. Любимое блюдо из доступных – омлет с лучком. Отдал дань бытовому гамлетизму.

ВОЛЯ *(живо)*. О Гамлете имею сказать.

ВУСТЕР. Посещает трепачёвскую фабрику – есть тут оборотистый, уловляет. Ситуацией – при небольших доходах – удручён. Сосуды на лице – сказывается алкоголизация. Глаза – стеклянные. Пиете́та, однако, к таланту не утратил, сознаёт, чем на вселенском ветру стоим.

ЛЮ *(вмешиваясь)*. Вот я спою:

Голубого сатинету
Мне на кофту не дают,
Никуда не отпускают,
Куда к чёрту берегут.

Гостья быстро поднимается, встав позади Лю, обнимает её. Та крепится, затем начинает всхлипывать.

ВОЛЯ. С талантом обстоит так. Инфляция. Процент способных людей прежний, население же – в абсолютном выражении – выросло. И сегодня – даровитых среди нас больше, чем было их – вместе взятых – за все протекшие век<u>а</u>.

ЛЮ. Выпейте.

Г<u>о</u>стья, оставив Лю, во исполнение её желания побуждает Вустера разлить присутствующим... подаёт ему стоящую перед ним бутылку? мотает головой: пить со всеми не будет. Лю, Воля, Вустер пьют.

ВУСТЕР *(Гостье, указывая на Лю и Волю)*. Они дали мне прозвище: В<u>у</u>стер. И таким образом это *(делает репрезент<u>и</u>рующий жест)* В<u>у</u>стеровы выс<u>о</u>ты.

Воля хотел бы развить тему, удерживается.

ВУСТЕР. Усматривают во мне сходство с ч<u>е</u>ховским... Антона Чехова... персонажем. Тот при виде красот природы гов<u>а</u>ривал: «А не плохо было бы здесь чайк<u>у</u> попить». Я же всего лишь предсказываю, что быть здесь рыбному ресторану.

ГОСТЬЯ *(обращаясь к Лю)*. Не поняла. Рыбный ресторан. И что?

ВУСТЕР. Таково, в кратких словах, происхождение прозвища.

ВОЛЯ *(Гостье, поясняя)*. Рестор<u>а</u>тор – Ш<u>у</u>стер. В меню – л<u>о</u>бстер. Рыба. Лабард<u>а</u>н.

ЛЮ. В<u>у</u>стер. Дастарх<u>а</u>н. Прору<u>х</u>а.

ВУСТЕР. Да. Ковёр. Пов<u>е</u>рх плоской кр<u>о</u>вли. Дамам подушки не нужны. Да и сидят ли об эту п<u>о</u>ру на кровле дамы? Кожаные с придыханием подушки. Но вот – о чём говорила Ля – подломилась балка. Ковёр под вами просел, обжимая вас, так, всплеснув краями, вв<u>а</u>ливается в пролом...

Встаёт, направляется с балкона, спросив на ходу у Лю:

ВУСТЕР. Вода для туалета.

ЛЮ *(кивает утвердительно)*. Я... Мы принесли.

Вустер скорым шагом покидает балкон.

ВОЛЯ *(запевает, воспроизводя репертуар Вустера)*. «Как просила я у т<u>я</u>теньки...» *(оборвав, произносит, обращаясь преимущественно к Гостье)*: Напрасно Лю поминает диссид<u>е</u>нтство. Не состоял. Ген робости. Боязлив от рождения. Кстати же и дело в том, что на тот момент был младенцем.

Лю и Гостья молчат.

ВОЛЯ. Принято стесняться. Но – претензии не ко мне. Не выбирал. В какой-то пьесе – читал, не видел – сваха... «Сваха: Нехороших бог не делает». Ген как ген. Доставляет неудобства, а взглянуть – полезен. Мне. А уж племени, числящему меня сочленом... Дарово<u>й</u> сторож. Ночь не сплю. За страх – не за совесть – сторож брату моему.

Слышно, как Вустер в туалете спускает воду. Через некоторое время появляется посвежевший... Вероятно, умылся... Охлопывает себя, осушая таким образом ладони, а заодно удостоверяя, что мыл руки.

Между тем Лю откликается:

ЛЮ. Это говорят, что дорого берёт Михаил Павлович. Не дорого. А что головы дуракам реально сворачивает, так ведь...

ВОЛЯ. Верно. *(Гостье)* Верно и вот что. Опыт – ваш, мой, жизненный опыт Лю – различны. К примеру, ни Лю, ни я, можно считать, не бывали за границей. Пляжный отдых – скучен, Европа или Штаты – дороги. Я, положим, не пожилой буржуй – с безумной женой, дочерьми-наркоманками в ан<u>а</u>мнезе, несколько косноязы<u>ч</u>ный, занят<u>о</u>й, совершающий с молоденькой содержанкой неторопливый трип, journey, кру<u>и</u>з... А?... Не драматург, для которого пребывание на курорте – среди соотечественников... боюсь, Лю употребила бы тут выражение «эти рожи»... да, на курорте, в больнице – его хлеб... Я – не драматург.

ЛЮ. Россия тебя не трогает, и ты б не цеплялся.

ВУСТЕР *(Гостье)*. Вернусь к тому... Дастархан... Чёрный чай, восточная ночь... Либо плиточный зелёный. Пластина – с выпрессованной звездой... молот-серп... брайлева надпись... неплохой – с изысканностью в сторону простонародной тонкобровости – дизайн: от первых лет пролетарской революции. Принято, и узор ковра пополз...

ГОСТЬЯ *(Вустеру)*. На Востоке пьют?

ВУСТЕР. Да. Тронулся. Узор ковра пополз. Если, облокотясь, прилечь – от ковра потягивает детством, но – не нашим с вами. На ощупь – бережёный, не выношенный, не вытертый – ковёр... чёсаная шерсть? или шёлк? шмель, а? Я вот что, милая моя, вспомнил. Я вырос на городской свалке. Там выстроили дома, но грунт оставался интересным, и утром – солнце низко, и то же – к вечеру: битое стекло, райские поля... Трава редкая. Но – рос репейник. И масса шмелей. Мы рвали репьи, собственно, колючие головки, сбивали в ком... Ком – в одну руку, ком – в другую, и – в ежовые рукавицы – прихватывали шмеля. Нет. Причинить боль, убить. Нет. Как сказала бы Ля: без понятия.

Плачет. Сознаёт, что плача, трясущимися руками не сумеет налить, не расплескав, и от намерения отказывается. Гостья на помощь не приходит. Вустер справляется с собой. Разливает, вопросительно взглянув на Гостью – в уверенности, что откажется. Та отказывается.

Лю встаёт, отходит. Проваливается.

Кривилась прежде того? ныл ушиб? припомнилось, как навернулась на лестнице?

Вустер и Воля бегут в туалет. Срабатывает – вследствие сотрясения, слышна снизу противоугонная сигнализация автомобиля... Слышно, как тормозит и тотчас отъезжает автомобиль. Слышно и происходящее в туалете.

Гостья поднимается и подходит к дыре в настиле. Заглядывает? Отступает. С дрожью в ногах делает шаг-другой. Стена́я, отплёвываясь, вынуждена опуститься на карачки, на коленях подвигается от пролома... Сигнализация умолкает.

ГОЛОС *(пожалуй, женский, снизу)*. Что ж не спускаетесь, ваша же.

Гостья принуждает себя встать... подбирает туфлю?

ГОСТЬЯ. Театр.

Возвращается... хромая? с туфлей в руке?... на место. Не привлечёт ли её внимание алкоголь? Нет. Надевает туфлю?

Появляется Вустер... Всякий – тем более люди сцены – не затруднится представить, как ведёт себя – в предложенных обстоятельствах – персонаж.

Вустер идёт к дыре, не дойдя, разворачивается. Возвращается к столу? Потребности выпить, похоже, не испытывает. Садится.

ВУСТЕР. Ля была не злым и по временам трогательным человеком. Ля. Лю. Родители – простые люди. Инженеры. Впрочем – геологи-поисковики. Достаточно сказать, что её паспортное имя – Валентина. Виолетта? Оля – усечённое. Мы скомпрессировали: Лю и Ля. Первое время звонила и спрашивала: «Я вам нужна сегодня?» (самодовольно) Я накаркал. Дастархан. Воля проходит психоанализ и велит говорить правду. Спивалась. Как он сказал бы: дрейф. «По градиенту поля». Гуманитарии храбрятся, но точных наук побаиваются и термины тянут оттуда. Привыкла – возле нас – быть пьяной.

Появляется Воля.

ВУСТЕР (Воле). Звёзд с неба не хватала. Если были способности, то развития не получили. Сядь. Садись же.

Воля садится. Вустер встаёт, идёт к пролому, настил подламывается под ним. Проваливается. Раздаётся вой – на несколько голосов: срабатывает автомобильная сигнализация. Умолкает. Воля... пригнувшийся, было, к столу?... выпрямляется.

ВОЛЯ. Вы, допускаю, бывали на скачках. (изображает даму, придерживающую – при порыве

в<u>е</u>тра – шляпу? смотрящую в бинокль?) Я, собственно, про что. Скорость. При встрече. С препятствием. Скорость т<u>е</u>ла... Автомобиль. Берём общедоступную модель. Срывается с м<u>е</u>ста. Через пятнадцать... через двадцать пять секунд – разогнал<u>и</u>сь. Сто километров в час – з<u>а</u>пах деликатного перегара над трассой. (безотчётно встаёт... садится) П<u>а</u>дая... (поправляется) В свободном падении... Нач<u>а</u>льная скорость – ноль, тело пок<u>о</u>илось. Спустя секунду приобретает... в конце первой секунды... скорость... – тридцать пять километров в час. Ещё через секунду – сорок пять. Велосипед? <u>Е</u>дущий п<u>о</u>д гору... Подростком, в дачном посёлке... У вас ведь была Бешеная горка?

Гостья кивает.

ВОЛЯ. «Талант не пропьёшь» и Вустер был, да, разрушенным человеком. Не касаюсь того, что был гений. В отличие от нас – имел дело, достижения. Т<u>а</u>к ведь это называется? Восхищался я им? Да. Всей душой люблю «дастархан». Насколько способен робкий человек... Слабел... Да ведь своё – свершил, да? место в пространстве – занял. Лю была ему нужна. Он ей? Спроса – вне этого аре<u>а</u>ла – на неё не наблюдалось. Ей не хватало. Мог я помочь? Вустеру – подражал, ему льстило. Помочь... Чистоплюйство. Лю – будь удовлетворена, имей известные радости – была б гораздо приемлемей, обаятельней в роли подруги. Но – грех эстет<u>и</u>зма не преодолён, и заботиться о её душевном состоянии... Дружеская услуга! Вустер обмолвился о Гамлете. Ну нет. Там фиксация на матери. Вероятно, нам с вами известный автор прав. Ей к сорок<u>а</u>, ему едва за двадцать. Военачальник. Распоряд<u>и</u>телен. Храбр. Заграница, университет... Это у Чехова: университетские, университетский... Да, к перипетиям здешней жизни интерес вч<u>у</u>же. Видит себя на троне? Дело в том, что в пять лет – предки, человекообразные – половозр<u>е</u>лы. Заявил, надо полагать, и он – прав<u>а</u> – на мать, ласковую... ни братьев, ни сестёр нет... но, как водится, дошл<u>о</u>, что придётся – уступить, и того, кому уступил, кого испугался насмерть – полюбить. Чтобы избыть унижение – придётся. Товарища Сталина не боюсь – люблю. Теперь нет товарища Сталина, и что ж ласковая мать? Уступать снова? Догадаться, что не так нужен ей, как она ему? А ненавидеть дядю нельзя, поскольку – за что? Заслуживает смерти, но, – скажи на милость, чем виноват? Галлюцинация как нельзя кстати. Отравитель. Колебания? Да ведь – огорчить мать... Ну всё равно, как если б он – он, сын – женился. Не огорчилась бы? Нет, тут уж конец, нет надежд. На что, дур<u>и</u>лка? Не знаю. Нет. Нельзя.

ГОСТЬЯ. А я... сейчас, может быть, не к месту... думала насчёт того, можно ли так подойти к «Запискам сумасшедшего». В том смысле, что – кстати. У Гоголя – чиновник, некоррумп<u>и</u>рованный, ничтожное жалованье. И дочь генерала. Я не выдумываю? Нет шансов. И – как нельзя кстати – обещанье – бедному человеку – вечной жизни. Он – испанский король. Меняет дело. На этом можно стоять. За это. Терпеть пытку.

ВОЛЯ. Вустер всегда ввор<u>а</u>чивал, что мало имел д<u>е</u>ла с женщинами, и тут же помин<u>а</u>л «х<u>а</u>нты-мансийку». «Большегл<u>а</u>за, как килька». Вустер.

Конечно, конечно. И Христос. Ласковая мать. Первенец. Как сам Фрейд. Маменькин сынок. Обижали на улице, держался д<u>о</u>ма. Тянуло к женщинам? Да. До тридцати лет на печ<u>и</u>. С книгой. Тянуло. Но – «предать чувство»... И – осен<u>и</u>ло, как нельзя кстати. Нашёлся. Не боюсь – люблю. Обидчиков. Не слаб<u>а</u>к. Стало ясно. Именно. И – не от старика, не от п<u>е</u>шего пехот<u>и</u>нца. Подымай выше. И с поручением. Уполномочен. В отмену прежних установлений. Как живу, так и следует. Угадал. (поёт) «Кто был никем, тот станет всем».

ГОСТЬЯ. Я маленькой думала, что «<u>и</u>стово» – это от сл<u>о</u>ва «встать».

ВОЛЯ. А то, что мы с Лю исполняли – понравилось ли?

Гостья кивает.

ВОЛЯ. Женская печень, вообще говоря, справляется с алкоголем лучше мужской. Лю хотела – для з<u>а</u>работка – научиться класть п<u>е</u>чи. Нет: п<u>е</u>чи – это Лев Толстой. Камины. По-моему, даже раздобыла комбинезон.

ГОСТЬЯ. Белый?

ВОЛЯ. Именно так. «Всякий человек усваивает мировоззрение... приобретает...» как-то так, ну да... оправдывающее... санкционирующее... «ту самую жизнь, которую этот человек ведёт».

Мнение его сиятельства. Гениален, от нескладности резок. Волчьи уши. Светским, дэнди – завидовал, смущался при них, а потом успокоился на том, что не в них сила, вовсе и совсем. А в том, о чём пели: в простоте. (улыбаясь) Выпили и пели... Тут бывает... бывал... народ, любопытствующие... Под Новый год были иностранцы. Я не угадчик... гадский. Намёками не объясняюсь. А в простоте... Как сами – шли сюда – понимали – для себя: зачем, нет, почему иду? Понравлюсь, приобрету, получу. Сведу знакомство. Вот. Лето. Душа не на месте. Некоторый раздрай. Не приписываю? Что вдову томило, то, бывает, и нас томит.

Гостья кивает, соглашаясь.

ВОЛЯ. Это так, кстати. А скажу... Что скажу? Идите и берите. Что хотите. Только не стесняйтесь. Существует жена Вустера. Дама в прошлом очень и очень. Вустер – по отношению к Лю это свинство – с ней не разводился. Лю была на птичьих правах. «Толстая раненая птичка» – это из Фанайловой. Вустер из современных только Фанайлову и ценил. Так что отходит всё жене – пьяной, полоумной... собственно, с угасшим разумом... И предлагаю вам, я, то, что предлагаю.

Гостья кивает, подтверждая, что поняла.

ВОЛЯ. Что ещё. Волнения, что мы тут вместе пережили... Нужен сброс. Львы, в общем случае, в неволе не размножаются. Но в передвижных зверинцах – обиду, страх... волненье... – в похоть. Конвертируют. Могли б и мы.

ГОСТЬЯ *(быстро кивая)*. Да-да-да-да.

Пауза.

ВОЛЯ *(смутившись)*. Я, ха-ха, опять сказал неправду. Нас учат, а, как видите. Боюсь. Как все. Что там Бродский по этому вопросу, о красавицах? Боюсь. Не режиссёр, не худрук. Не продюсер, жирная свинья. Цепкое, энергией страха движимое, самодовольное дитя – импресарио. Нет и нет. Сойду с ума, сочувствуя. Котёнка в жизни не взял – потому что скоро умрёт. Раньше меня. «И женщине прекрасной – красоту». Так, по-моему? Тренированное, с тонкими мышцами тело. Очень взрослое и велико. Жить вызывающе... на зависть... Бог с вами. Побьют. "Быть знаменитым некрасиво". Не по моим нервам.

Гостья расстроена. Слушает, как, пожалуй, слушала бы ребёнка – завравшегося, отмечая складность рассказа, с одобрением, но и рассеянно – поскольку дело представляется ясным.

Воля – если сидел, то встаёт, обходит дыры в настиле – впрочем, не заглядывая.

Если позволяет техническое оснащение – дальнейшее может быть представлено в виде проекции: как если б – после мелкого ремонта, профилактики – возобновилось видеонаблюдение в помещении охраны. При этом ракурс, под которым видим действие, изменится.

ВОЛЯ. Не смейтесь, есть сходство с историей Магомета. Хорошего рода. Растёт в бедности. Мечтателен. Ещё бы. В силу происхождения от действительности отчуждён... А вынужден... пробиваться... без образования. Хлопоты и занятость неприятны. Замкнут, сознавая в себе добрую кровь. Вдова, лет сорока, принимает на службу. Сопровождает караваны, рассчитывается. Серьёзен. Не без замашек властности. Вид самоуглублённый. Выходит за него.

Как для кого – для него и эта, нынешняя, позиция в обществе – не ахти что. И есть неловкость. В ситуации. Не кстати ли, а? глас божий, обещание, доказательство величья, подымающее над... В сравнении с чем житейские обстоятельства, чьё б то ни было о них мнение – ничего не значат.

Буду обязан, если скажете, зачем приплёл Магомета... Я сейчас вернусь.

Делает шаг, другой, третий – проваливается.

ГОСТЬЯ. Господи.

Встаёт? Заставляет себя выпрямиться. Направляется с балкона, проваливается.

Первой – раз выход на поклоны уместен – появляется Лю – не в белом ли комбинезоне? и с радостным видом; за ней – под руку? Вустер и Воля; и, наконец, Гостья – с видом, пожалуй, слегка виноватым.

Андрей ЮРТАЕВ, Игорь САВЕЛЬЕВ

КТО

Безбашенный детектив

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ МАРЬИН – старший следователь следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУЖИН – следователь-стажер следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ.

АНЯ МАРЬИНА – студентка факультета международной экономики.

ИННА – студентка того же факультета.

АНДРЕЙ – молодой человек неопределенного рода занятий.

ЛЕРА СИМОНОВА – девушка неопределенного рода занятий.

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН – руководить следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ.

АЛИНА – танцовщица.

МОРГУНОВ – капитан милиции.

АЛЛАЯРОВ – младший сержант милиции.

ИБАТУЛЛИН – рядовой милиции.

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ – промоутер.

ЭМИЛЬ – молодой чиновник областного управления культуры.

Милиционеры, стриптизерши, водитель, эксперт-криминалист, бармены, охранники, санитарка морга, Машенька из деканата.

Сцена 1

Городская окраина. Раннее утро. Холодная промозглая осень. Моросит дождь. Посреди оврага в свете фар несколько машин, сотрудники милиции. На одной стороне оврага старенькие частные дома. На другой – лес. Аллаяров пытается что-то рассмотреть сквозь деревья.

АЛЛАЯРОВ. Ибатуллин!.. Ибатуллин, ты?!

ИБАТУЛЛИН. Я, я! Че орешь-то?

АЛЛАЯРОВ. Ты что там делаешь? Тебе где положено стоять?

ИБАТУЛЛИН. Да я по нужде маленько отошел, не случилось же ничего?

АЛЛАЯРОВ. А если бы случилось?

ИБАТУЛЛИН. Да что бы случилось? Я же быстро, туда-сюда и все!

АЛЛАЯРОВ. А если террористы?

Ибатуллин бледнеет.

Юртаев Андрей родился в Уфе в 1984 году, окончил филфак Башкирского университета. Как драматург был финалистом премии «Дебют» (2008) и конкурса «Евразия» (Екатеринбург, 2009). Живет в Москве, работает хоккейным комментатором на каналах НТВ+. Лауреат премии «Лучший комментатор» Континентальной хоккейной лиги (2011).

Савельев Игорь родился в Уфе в 1983 году, окончил филфак Башкирского университета. Лауреат Международного Волошинского конкурса (Крым, 2010), премии журнала «Урал» (2008), финалист нескольких премий по прозе. Живет в Уфе, работает журналистом.

АЛЛАЯРОВ. Кто у нас враг номер один?

ИБАТУЛЛИН *(с трудом выговаривая)*. Террористы...

АЛЛАЯРОВ. Придут террористы, а ты в лесу со спущенными штанами?!

ИБАТУЛЛИН. Да разве ж?.. *(Показывает в сторону оврага.)* Да разве ж это террористы?..

АЛЛАЯРОВ. Сейчас на каждом углу террористы! Того и гляди чрезвычайное положение введут!

ИБАТУЛЛИН. Что будем делать тогда?

АЛЛАЯРОВ. Стоять, где положено! Понял? И хоть в штаны себе насри, но стой на месте, будь готов!

ИБАТУЛЛИН. Понял.

Из города в частный сектор сворачивает черная «Волга». Машина с трудом ползет по колее, но, в конце концов, застревает в грязи. Долго буксует. Дверцы открываются. Выходят Марьин и Иван.

ИВАН *(наступает в лужу)*. Отлично! Лучше не бывает! Спишь себе, ни о чем плохом не думаешь, и тут – на тебе! – глухарь посреди ночи! Ладно, ладно, я не спорю, бывает. Но довезти до места хотя бы можно нормально! Я не могу работать в таких условиях!

МАРЬИН. А ты бы хотел, чтобы тебе трупы подавали в постель вместо завтрака? Давай, подсоби.

Пытаются толкнуть машину. «Волга» взревев выезжает на сухое место, обдав толкающих грязью из-под колес с ног до головы.

ИВАН. Да когда же это все... Конечно! Стоило учиться на юрфаке, чтобы эту грязь месить!

МАРЬИН. Добро пожаловать в органы, сынок.

Пытаются сесть в машину.

ВОДИТЕЛЬ. Э, куда, ну куда?!

ИВАН. Что значит – куда?

ВОДИТЕЛЬ. Да вы мне щас весь салон загадите!

ИВАН. А как мы должны, по-твоему, ехать?

ВОДИТЕЛЬ. Почем я знаю, как вы должны ехать! Мне, что ли, потом салон отмывать?

ИВАН. А не ты ли нас, скотина, в эту грязь завез?!

МАРЬИН. Все, тихо-тихо! Идем пешком, посмотрим заодно, что и как.

Они подходят к оцеплению.

МАРЬИН. Ну что тут у нас?

МОРГУНОВ. Молодая девушка, одета обычно, документов нет. Обнаружили пацаны, которые в лес пошли пить... Голову мы не нашли.

ИВАН. Давно она мертва?

МОРГУНОВ. Не знаю, я не трогал.

ИВАН. Ну я к тому, вы уверены вообще, что она точно мертва?

МОРГУНОВ. Я разве плохо выразился? Там лежит труп без головы!

ИВАН. Ну вообще-то, пока не проведена экспертиза, мы не имеем права называть ее трупом, в лучшем случае это... фрагмент тела.

МОРГУНОВ. Слушай, я не знаю, чему вас учат в ваших институтах, но я повторю еще раз! Там в куче дерьма лежит фрагмент женского, блядь, тела! Без фрагмента женской, блядь, головы! Или как это у вас называется? И если бы эти фрагменты были живы, они бы давно встали и ушли уже отсюда на хрен! Теперь понятно?

ИВАН. Понятно. Это все?

МОРГУНОВ. Все!

ИВАН. Спасибо.

МАРЬИН. И много ты узнал из этого содержательного разговора?

ИВАН. Я просто хотел убедиться, что она действительно мертва.

Марьин откидывает покрывало.

МАРЬИН. Более чем.

ЭКСПЕРТ *(подходит)*. А, Иван да Марьин!

ИВАН. Не смешно.

ЭКСПЕРТ. Отлично выглядите.

МАРЬИН. Что здесь произошло?

ЭКСПЕРТ *(закуривает)*. Пока ничего точно сказать не могу. Смерть наступила часов пять-шесть назад. Судя по всему, ее привезли сюда уже в таком виде. Никаких улик вокруг не обнаружено, свидетелей, конечно, тоже нет.

МАРЬИН. А что те пацаны?

МОРГУНОВ. Мы их опросили, они местные. Говорят, что ничего не видели, нашли случайно, сразу позвонили нам.

МАРЬИН. А что они здесь делали в такое время?

МОРГУНОВ. Говорят, что гуляли.

МАРЬИН. Трезвые?

МОРГУНОВ. Не все.

ИВАН. Ну все понятно! Пришли сюда, пили вместе, она им не дала, разозлились и по пьяни отрезали голову, – обычная бытовуха.

ЭКСПЕРТ. Это сильно вряд ли, потому что никаких следов крови на их одежде, и тут тоже, почти нет, орудия нет, да и вообще они напуганные до смерти.

МАРЬИН. Ладно, с ними потом разберемся. Здесь все понятно. Увозите.

Сцена 2

Марьин и Иван сидят на заднем сиденье «Волги», застеленном полиэтиленом.

МАРЬИН. Угораздило же... За месяц до пенсии... Будет теперь «глухарь» висеть.

ИВАН. Да бросьте вы, Алексей Петрович, все же понятно! Расколем этих пацанов, это всяко они.

МАРЬИН. Нелогично. Если бы это была бытовуха, то ее бы зарезали, задушили, а тут – человеку отрубили голову, чем? Не ножом же перочинным! Это топором-то так просто не сделаешь... Скорее всего, ее убили, а потом уже у мертвого тела забрали голову, в качестве трофея. Это совсем не бытовуха. Как бы не начало новой серии...

ИВАН. Согласно статистике, в половине случаев убийцами оказываются те, кто позвонил в милицию.

Марьин внезапно начинает громко смеяться.

МАРЬИН *(с хохотом)*. Вот был, кстати, случай... Выезжаем на место происшествия, тело мужчины в какой-то подворотне. Спрашиваю: «Кто нашел тело?» И стоит девочка маленькая в костюме клоуна, с шариками, и говорит: «Я нашла». Ее заказали на день рождения ребенка поздравить, а она адрес правильный найти не могла, зато труп нашла!

ИВАН. И что?

МАРЬИН. Ну представляешь: ночь, темно, дома какие-то облезлые на окраине, и посреди этого стоит маленькая девочка с большими шарами, клоун, труп нашла!

ИВАН. Маленькая девочка с большими шарами... У меня вот сегодня была большая девочка с большими шарами, а я вместо этого весь грязный, мокрый, на полиэтилене... Да... У нее грудь просто фантастическая...

Сидит с мечтательным видом.

МАРЬИН. Так посмотришь на тебя, и дочь из дома не хочется выпускать.

ИВАН. Да ладно, что такого, я же не извращенец какой-нибудь! Я, кстати, не знал, что у вас есть дочь.

МАРЬИН. Теперь знаешь.

ИВАН. А сколько лет ей?

МАРЬИН *(неуверенно)*. Двадцать... Нет, подожди, двадцать один вроде, да, все правильно, двадцать один.

ИВАН. В самый раз, кровь с молоком, все дела!

МАРЬИН. Какие еще дела?

ИВАН. Ну явно не уголовные! А симпатичная?

МАРЬИН. Ну, наверное, я думаю, что симпатичная.

ИВАН. На вас похожа?

МАРЬИН. Да, вылитый я!

ИВАН. Ой, нет, спасибо, такого добра нам даром не надо!

МАРЬИН. Чего?!

ИВАН. Ничего! Дождь, говорю, сильнее пошел.

МАРЬИН. Смотри, как бы ты пешком не пошел дальше!

ИВАН. Так точно!

МАРЬИН. Тоже мне, специалист нашелся...

Марьин продолжает что-то бурчать себе под нос, отвернувшись к окну.

Сцена 3

Квартира Марьина. Полумрак. Аня сидит при свете настольной лампы перед зеркалом. Долго рассматривает письмо на официальном бланке. По ее лицу гуляет блуждающая улыбка.

АНЯ. Так. Ладно. Надо сосредоточиться.

Поет романс. По нескольку раз возвращается к той или иной строчке, пробуя разные интонации.

АНЯ.

Кто был охотник? – Кто – добыча?
Все дьявольски наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?

В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?

И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

МАРЬИН *(заходит, зажигает свет)*. Что это у нас тут? Литературная гостиная?

Аня торопливо прячет письмо.

МАРЬИН. Салон Анны Шерер?..

АНЯ. А тебя уже и не ждали.

МАРЬИН. Работа такая, ты же знаешь.

АНЯ. Мама звонила тебе, ты был недоступен.

МАРЬИН. Да? У меня там просто батарея разряжалась...

АНЯ. Она считает, что ты специально телефон выключаешь.

МАРЬИН. Ну что началось опять? Что там твоей матери снова в голову взбрело? Она сама никогда звонка не слышит! Придумывает что-то вечно на старости лет!

АНЯ. Не говори так про нее!

МАРЬИН. А что «не говори»! Вечно она чем-то недовольна, вечно что-то не устраивает! Ты еще вечно поддакиваешь ей!

АНЯ. Я поддакиваю?!

МАРЬИН. Ну не я же! Чуть что, так накидываетесь на меня сразу вдвоем! Я всю жизнь пашу, кручусь, чтобы вы жили нормально, а взамен получаю только постоянные упреки!

АНЯ. А что толку? Тебя никогда не было дома! Что ты есть, что тебя нет – никакой разницы! И можно подумать, что ты какие-то миллионы зарабатываешь, и мы тут в роскоши купаемся!

МАРЬИН. Ну, знаешь... *(Хватает ртом воздух.)* Да... Да чего тебе не хватает? Посмотри на себя! Сколько тебе лет? Чем ты занимаешься? Какая ты актриса? В твоем возрасте ты не поступишь никуда уже! Посмотри правде в глаза!

АНЯ. Да что ты понимаешь?!

МАРЬИН. Ты много понимаешь, наверное!

АНЯ. Иди к черту!

Аня выбегает из комнаты. Марьин идет на кухню. Начинает шарить по кастрюлям. Звонит мобильный телефон.

МАРЬИН *(полушепотом)*. Алло!.. Привет... Да, жена рядом... Что забыл?.. Зонт?.. Ах, черт... Вроде, не заметила... Я ей скажу, что на работе оставил... Постараюсь завтра... Да. Конечно... Целую. Пока... Я тебя тоже.

Убирает телефон, оглядывается по сторонам. Достает из холодильника бутылку водки.

МАРЬИН. Боже, как я устал.

Сцена 4

Двор морга. Возле входа бродит Иван, посматривает на часы.

ИВАН. Где это он? Никогда же не опаздывает...

К зданию подходит санитарка в зеленой спецодежде.

ИВАН. Здравствуйте, девушка!

САНИТАРКА. Добрый день.

ИВАН. Скажите, а вы здесь работаете?

САНИТАРКА. Да, а что вы хотели?

ИВАН. Я просто удивляюсь, что такая красивая девушка работает в таком месте.

САНИТАРКА *(жмет плечами)*. Работа как работа.

Собирается уходить.

ИВАН. Девушка, подождите! Может быть, встретимся в более приятном месте?..

САНИТАРКА. Вряд ли.

ИВАН. Пожалуйста, остановитесь! Видите, как мне плохо? Я умираю...

САНИТАРКА. Значит, скоро увидимся.

Уходит. Иван возвращается на прежнее место, слоняется из стороны в сторону. Показывается Марьин.

ИВАН. Ну что же вы опаздываете, Алексей Петрович.

МАРЬИН. Да так. Семейные сцены...

Заходят в морг. Идут по коридору.

ИВАН. Поссорились с женой?

МАРЬИН. Да ничего особенного... Все как всегда... Ты вот не женат еще, и слава богу. Такая вещь, с которой никогда не надо торопиться... Так что... Если твоя девочка с шарами будет тащить тебя в загс, не соглашайся, по крайней мере, сразу.

ИВАН. Нет уже никакой девочки с шарами.

МАРЬИН. А куда делась?

ИВАН. Ну куда-куда? Куда они все деваются?

МАРЬИН. Ну и правильно. Мужчины по своей природе существа полигамные, так что не надо себя ограничивать.

ИВАН. Да нет, я вообще-то расстроился, потому что хочется уже найти ту одну-единственную, а все никак не получается.

МАРЬИН. Подожди, ты что, хочешь вот сейчас уже всерьез и насовсем?

ИВАН. Ну пора, мне кажется, почему нет?

МАРЬИН. Тебе оно надо? Вот скажи мне, какая жена тебя вытерпит с такой работой?

ИВАН. Та, которая будет изначально к этому готова.

МАРЬИН. Даже если и будет готова, то это тебе только первое время будет сходить с рук. А потом тебя станут этим попрекать при каждом удобном случае.

ИВАН. Согласен, но я ведь только в начале пути. Потом надо стремиться к более равномерному течению жизни, стараться проводить больше времени друг с другом, иначе в этом нет никакого смысла.

МАРЬИН. Какие вы все, молодые... идеалисты!

ИВАН. Кто – все?

МАРЬИН. Не от тебя первого слышу это все.

ИВАН. Видите, значит, я прав!

МАРЬИН. Ладно, не переживай, найдем тебе кандидатуру, сам потом рад не будешь.

ИВАН. Я вот тут пока вас ждал, с медсестрой пытался познакомиться – не получилось.

МАРЬИН. Ты что, пытался познакомиться с девушкой в морге?

ИВАН. Получается, да.

МАРЬИН. Ну, в таком случае, положись на меня, мы прямо сейчас тебе подберем кого-нибудь. Тут их по полкам прилично навалено!

На каталках фигуры, накрытые простынями. Эксперт сидит за столом с сигаретой во рту, уткнувшись в ноутбук.

ЭКСПЕРТ. О, какие люди!

МАРЬИН. Ну, что тут у нас? Нам сообщили, что она опознана.

ЭКСПЕРТ. Да. *(Передает бумаги.)* Ляйсан Гарифуллина, 19 лет, уроженка Бижбуляка, здесь училась в университете. В день убийства ушла из общежития и не вернулась. Родители и соседки по комнате ничего толком не знают, может быть, у нее была с собой розовая сумочка со стразами, но сказать точно затрудняются. Они уже были у вас на допросе?

МАРЬИН. Нет еще. Причина смерти установлена?

ЭКСПЕРТ. Нет.

МАРЬИН. Нет?

ЭКСПЕРТ. Тут есть определенная загвоздка... Мы можем сказать по тому фрагменту, что есть у нас, что никаких признаков насилия не обнаружено, то есть ее не душили, не били, не топили, не травили и так далее. Естественно, если был выстрел в голову или удар по голове, то сейчас мы это установить не можем.

ИВАН. А как ее лишили головы?
ЭКСПЕРТ. Судя по всему, ее отпилили.
ИВАН. Отпилили?!

Эксперт подводит Марьина и Ивана к каталке, поднимает накидку, показывает.

ЭКСПЕРТ. Обратите внимание, какие ровные края! Пятый позвонок, вот, посмотрите, он очень интересно...
ИВАН. Хватит, достаточно. Спасибо.
МАРЬИН. Следы сопротивления? Изнасилование?
ЭКСПЕРТ. Нет, ничего не было. Есть незначительная доза алкоголя в крови.
МАРЬИН. По сути, ничего у нас нет.
ЭКСПЕРТ. Кое-что есть! Вот посмотрите сюда. Вот сюда, на запястья...
МАРЬИН. Какой-то рисунок... Вот еще один...
ЭКСПЕРТ. Это еще не все. *(Включает ультрафиолетовую лампу.)* Вот, видите?
ИВАН. Я знаю, что это. Это печати ночных клубов. Она была в эту ночь в нескольких ночных клубах.
МАРЬИН. Это уже хоть что-то! Ваня, ты когда в последний раз был в ночном клубе?..

Сцена 5

Квартира Марьина. Вечер. Аня в который раз рассматривает бумагу на бланке. Инна деловито возится с бутылкой шампанского.

АНЯ. Откроешь?
ИННА. Конечно!

Открывает шампанское.

ИННА. Оп! Рука мастера! *(Иронично.)* Научилась уже, все без мужиков да без мужиков.
АНЯ. Ты так говоришь, как будто мы только и делаем, что пьем.
ИННА. Не, а правда, а что ты Андрея-то не позвала?..

Аня молчит. Инна разливает шампанское по фужерам.

ИННА. Ну, за твою победу.
АНЯ. Это еще не победа. Меня всего лишь пригласили на предварительное отборочное прослушивание.
ИННА. Ну это тоже не «всего лишь», не прибедняйся...

Молчат.

ИННА. А родителям сказала что-нибудь уже?
АНЯ. Я тебя умоляю! Им только скажи... что-нибудь... Опять начнется эта волынка: ой, ты хочешь бросить эконом, ой, ты сошла с ума, с жиру бесишься, и так далее... Мама и так все время в истерике. Съездила бы в отпуск куда-нибудь, я не знаю... В Турцию какую-нибудь! Чего ради загранпаспорт было делать? Так нет, сидит, боится оставить папу...
ИННА. Что он у вас, маленький, что ли?
АНЯ. Ага... Если бы... Этот – тоже. Ему скажешь, так он начнет читать нотации. Он и так меня извел уже всю, когда я как-то заикнулась, что хочу в театральный попробовать... В школе еще, в одиннадцатом классе... Усадил меня и давай два часа рассказывать, как такие девочки едут поступать в Москву, не поступают, «естественно», как он сказал, и все поголовно становятся проститутками, а сутенеры отбирают у них паспорта, избивают и продают за границу.
ИННА *(весело)*. Нормально!

Разливает шампанское.

АНЯ. Мне больше не надо, спасибо... Это ладно, он тогда специально записал «Жди меня» с телика. Там, короче, какая-то девка тоже откуда-то приехала и пропала. Ну и сидит ее отец в студии, а потом – раз! – и ее выводят. Нашли, в общем, как-то. И у нее прямо на лице написано, что на фиг ей не нужен никакой этот Урюпинск, что нормально ей в Москве, а ведущий этот – артист Кваша – протягивает так картинно ей билет и прямо как заклинание читает: «Домой, Даша! Даша, домой!..» Цирк просто самый настоящий!..

Инна смеется.

АНЯ. И он все это мне – мне! – с серьезным видом показывал, представляешь?.. Как будто все, у кого есть мечта, какие-то проститутки поголовно. Нет, конечно, надо идти на экономику, которую ты не любишь, просто потому, что так захотели родители, потому что там якобы когда-то где-то у тебя будут большие зарплаты, ты «удачно выйдешь замуж». Матери тоже вечно придет что-нибудь в голову. Это не проституция, это в порядке вещей!

ИННА. Да хорош, не кипятись.

Звонит мобильник.

АНЯ. Андрей! Слушай, ответь ему, скажи что-нибудь...

ИННА. Что?!

АНЯ. Не знаю. Что я не могу подойти. Соври что-нибудь...

ИННА. Алло? Привет, это Инна... А она в ванной.

Аня показывает большой палец.

ИННА. Да, пошла в душ. Что? В пол одиннадцатого в «Луну»? Я даже не знаю...

Аня активно машет руками.

ИННА. Нет, вряд ли. Она, кажется, уже собралась спать ложиться... Да... Что-то у нее голова болит, кажется... Ага. Ну вот так. Не переживай. Я передам. Все, пока.

АНЯ. Отлично! Спасибо.

ИННА. Не за что. Обращайтесь...

АНЯ *(со смехом)*. Что-то я совсем завралась, заразилась от папы, что ли...

ИННА. А что ты его посылаешь? Клевый парень...

АНЯ. Да ну ты брось.

ИННА. Нет, серьезно?

АНЯ. Да он какой-то... Ну ему же не пять лет, правильно? А у человека вообще никаких интересов в жизни! Только таскается по друзьям, то какие-то покатушки ночные, то еще что-нибудь. Зато столько радости всегда, когда какой-то там его чувак достал траву. И теперь можно посидеть с кальяном. И он мне полчаса рассказывает, как это было сложно, потому что сейчас все каналы закрыли, и прямо захлебывается от восторга, глаза горят... Мне это что, интересно? Это нормально вообще, нет?

ИННА. Ну я тоже пробовала траву, что такого-то?..

АНЯ. Ничего такого, но если кроме этого вообще поговорить не о чем... Ни о фильме, ни о книге, ни о музыке какой-нибудь, я не знаю... У него вообще никаких мыслей, по-моему. Ни о чем. Я его спросила один раз просто так, почему он не заведет ЖЖ. А он на меня смотрит ясными глазами и говорит: и о чем я там буду писать?.. И я такая тоже задумалась: действительно, о чем? Вчера сходил побухать туда, а сегодня сюда?

ИННА. А тебе, извини, кто нужен, доктор наук?

АНЯ. Да просто серьезный парень. Который занимается какими-то серьезными делами. У которого в голове какие-то идеалы, я не знаю. Ну вот даже отец мой, для примера, сутками пропадает на работе, ничего толком с этого не имеет, но это его призвание! Понимаешь? Пусть хотя бы таким будет. Это само по себе уже лучше, чем как Андрей просто по течению плыть.

ИННА. Чтобы хоть кого-то найти, надо хоть кого-то искать.

АНЯ. Может быть, он где-то рядом...

ИННА. Так как же это узнать, если ты сидишь дома, никуда не выходишь? «Она в душе», «у нее голова болит»...

АНЯ. А что, ты думаешь, такого человека можно встретить в ночном клубе, что ли?! Не смеши меня...

ИННА. Ну а где? Может, уже начнем башмачок кидать за ворота? «Раз в крещенский вечерок девушки гадали...»

АНЯ. О, кстати, можно погадать.

Берет с полки первую попавшуюся книгу, раскрывает, тыкает пальцем.

АНЯ. «Кроме того, я был горд тем, что мне удалось не только овладеть методом Холмса, но и применить его на деле и заслужить этим похвалу моего друга».

ИННА. Тебя сегодня прямо-таки тянет на правоохранительные органы!

АНЯ. В смысле?

ИННА. Ну то парня ищешь по примеру своего отца, то теперь вот это...

АНЯ. Иногда банан – это просто банан. О, вот, кстати, и еще одно напоминание о папе.

Достает из книги тысячерублевую купюру, машет ею.

АНЯ. Очередная заначка...

ИННА. Слушай, ты же все равно собралась ехать поступать, так что даже если и встретишь здесь кого-то, смысла в этом не будет.

АНЯ. Ну может, если я влюблюсь тут в кого-нибудь, то и ехать никуда не захочу? К тому же это всего лишь предварительное прослушивание.

ИННА. А если ты не поступишь, ты останешься в Москве?

АНЯ. Зачем, чтобы стать проституткой?

Хохочут.

ИННА. «Аня, домой! Домой, Аня!»

В коридоре шум.

АНЯ. Мама пришла, убери куда-нибудь!

Инна прячет бутылку. Веселая суета.

Сцена 6

Кабинет с некоторым количеством экранов. Полумрак. За окном темно. На экранах записи с камер наблюдения из ночных клубов, люди входят-выходят, пьют, танцуют, ссорятся, развлекаются. За столом сидит Марьин, устало смотрит на экраны. Заходит Иван с пакетами.

ИВАН. Ну что, что-нибудь было интересного?

МАРЬИН. Пока где-то в клубе. Отсюда не выходила. Периодически мелькает, но все, вроде, нормально.

Иван достает из пакетов еду.

МАРЬИН. Что это?

ИВАН. Шаурма.

МАРЬИН (удивленно). Шаурма? Ты ешь шаурму?

ИВАН. А что? По-моему, вкусно.

Начинает есть. Марьин смотрит на него с недоверием.

МАРЬИН. Ты хоть знаешь, из чего она сделана?
ИВАН. Это вот лаваш, овощи всякие...
МАРЬИН. А мясо?
ИВАН. Мясо! Это, я думаю, курятина.
МАРЬИН. Или котятина? А может, бомжатина?

Иван пытается что-то сказать, но у него не получается. Он жует шаурму и смеется одновременно.

ИВАН. А может... А может, убийца это шаур... шаур... как его?.. шаурмейкер?
МАРЬИН. А у тебя там вместо курятины голова Ляйсан?
ИВАН. Мозги ее, ага!
МАРЬИН. Фу! Как ты все еще это ешь?
ИВАН. Ха! Да я что угодно переварю!
МАРЬИН. Ладно, все, собрались!

Иван смотрит на экраны.

ИВАН. Сколько мы уже посмотрели?
МАРЬИН. Примерно половину.
ИВАН. И ничего интересного. Она просто ходит с бокалом в руке, не разговаривает ни с кем больше двух минут, пока никаких вариантов, что могло с ней случиться.
МАРЬИН. Ну ты больше в этом смыслишь, просто глядя на нее, что ты можешь сказать?
ИВАН. Да что сказать? Обычная понаехавшая бабища, папа продал полколхоза, чтобы отправить дочь учиться. А она насмотрелась гламурных сериалов по MTV, корчит из себя светскую львицу. А толку? Хоть ты что на себя напяль, все равно бабищей из Бижбуляка так и останешься.
МАРЬИН. И что с ними обычно происходит дальше? Не всем же головы отрезают?
ИВАН. Нет, не всем. Ну обычно курсу к третьему залетают от таких же понаехавших где-нибудь у себя в общаге, и никакой тебе сладкой жизни, ни клубов, ни гламура, а унылый быт с пеленками и скандалами.
МАРЬИН. А ты, я смотрю, специалист.
ИВАН. Чур меня!
МАРЬИН. Хм... Так кого же нам тогда искать? Кому она могла понадобиться?..

Иван показывает на стриптизершу на экране.

ИВАН. О! Я же ее знаю!
МАРЬИН. Знакомые стриптизерши?
ИВАН. Нет! Хотя теперь, получается, что да... Это ж Алинка, одногруппница моя. Ну-ка остановите, вот здесь, ее получше видно... Точно она!
МАРЬИН. Подожди, ты где учился? Факультет стриптиза?
ИВАН. На юрфаке, пять лет.
МАРЬИН. И она пять лет?
ИВАН. И она тоже пять лет, красный диплом даже.
МАРЬИН. Тогда что она здесь с голыми сиськами делает?
ИВАН (пожимает плечами). Работает.
МАРЬИН. Ночью с шестом, днем с пистолетом. Оборотень в погонах?
ИВАН. Да без погонов уже, да и вообще... без всего остального...
МАРЬИН. Не знаю, какой из нее юрист, но смотрится очень даже неплохо.
ИВАН. А я все пять лет на нее вообще внимания не обращал, думал, что она ботаник.
МАРЬИН. И много у вас таких... специалистов?
ИВАН. Не знаю, я с курса давно никого не видел.

МАРЬИН. Может, ты сам тоже пританцовываешь где по ночам?

ИВАН. Я?!

МАРЬИН. Ну не я же! Что ты делаешь в свободное от работы время?

ИВАН. Ничего такого, все как и все.

МАРЬИН. Слушай, так ты же сам не местный!

ИВАН. И что такого?

МАРЬИН. Ну как? Ты мне только что гневно изобличал бабищ, понаехавших из Бижбуляка, а ты сам-то откуда?

ИВАН. Это разные вещи! У меня не было ни богатых родителей, ни связей, я честно выиграл олимпиаду по обществознанию, поэтому меня взяли без экзаменов. Так что не надо нас сравнивать!

МАРЬИН. Ладно-ладно, уговорил, избранный... Оп, смотри, она уходит!

ИВАН. Так, гражданка Гарифуллина, дай нам уже какую-нибудь зацепку!

МАРЬИН. Уходит одна.

ИВАН. Ладно, здесь опять ничего, смотрим следующий клуб.

Иван меняет картинки на экранах.

МАРЬИН. Ты шаурму съел?

ИВАН. Съел.

МАРЬИН. И как?

ИВАН. Шаурма как шаурма. Никаких мозгов.

МАРЬИН. Ну ладно.

Начинает есть.

МАРЬИН. М, смотри, здесь тоже стриптиз!

ИВАН. Ну это нормально.

МАРЬИН. Ты смотри, может, еще одногруппниц найдешь.

ИВАН. Вы думаете, весь курс в стриптиз, что ли, ушел?

МАРЬИН. Почему нет? Им, наверное, платят раз в шесть больше, чем тебе.

ИВАН. Ну а что теперь? Что я должен сделать? Тоже на панель, что ли, пойти? Я не для этого пять лет учился!

МАРЬИН. В отличие от меня, ты еще молод. Меня уже вряд ли возьмут, а вот ты в самый раз!

ИВАН. Да бросьте, Алесей Петрович, вы вот лучше расскажите, как вы все эти годы на нашу зарплату живете?

МАРЬИН. Есть варианты, узнаешь со временем... Вот смотри, она пришла.

ИВАН. По-прежнему одна. Странно это как-то. Без подруг, без никого, приезжает уже в третий клуб за ночь. Что она пытается найти? Или кого?

МАРЬИН. Есть в ней все-таки что-то подозрительное. Вполне возможно, что убийца выбрал ее неспроста. Чем-то кому-то она насолила, была что-нибудь должна...

ИВАН. Можно просто убить, зачем отрезать голову?

МАРЬИН. Чтобы замести следы, навести на мысль о маньяке.

ИВАН. Был бы маньяк, наверняка остались бы какие-то следы и на теле, и там, где ее нашли. А может быть, кому-то понадобилась ее голова для опытов?

МАРЬИН. Фантастики насмотрелся?

ИВАН. Почему бы и нет?

МАРЬИН. Смотри на время, она до сих пор в клубе. Когда ее уже убивать будут?

ИВАН. Пошла на выход... Опять одна, может, таксист?

МАРЬИН. Так, а это кто выходит следом за ней?

ИВАН. Парень какой-то, похоже, просто случайность.

МАРЬИН. Подожди! Где-то я его уже видел. Ну-ка давай назад.

Иван начинает переключать картинки, отматывать запись.

МАРЬИН. Вот здесь, рядом с твоей стриптизершей... Вот он!
ИВАН. Он был с ней уже в двух клубах за ночь.
МАРЬИН. Давай к первому.

Иван перематывает.

МАРЬИН. Стоп!.. Еще чуть-чуть. Погоди. Ну-ка, покажись! Поворачивается... Да! Три из трех! Вуаля! У нас есть подозреваемый. Найди его крупно.
ИВАН. Брюнет, возраст двадцать – двадцать пять, спортивного телосложения, рост выше среднего, особые приметы отсутствуют.
МАРЬИН. Распечатай... Завтра снова придется поработать ночью.

Сцена 7

Танцпол ночного клуба. Громко играет музыка, сверкают огни, людская масса сливается в танце. Иван пробирается сквозь толпу к барной стойке. Окликает бармена.

ИВАН. Слушай, ищу одного знакомого, он бывает здесь периодически, не видел его?

Показывает фотографию.

БАРМЕН. Нет, не видел.
ИВАН. Он точно был здесь буквально на днях.
БАРМЕН. Здесь много кто бывает.
ИВАН. Слушай, будь другом, если он появится здесь в ближайшее время, позвони мне вот на этот номер.

Начинает писать на салфетке.

БАРМЕН. Я позвоню «02».

Иван прерывается, но потом все-таки дописывает номер.

ИВАН. Ты позвони.

Иван отходит от барной стойки, озирается вокруг. На одном из подиумов танцует полуголая девушка, которая привлекает его внимание. Он подходит ближе и долго смотрит на нее. Она замечает его взгляд, но продолжает танцевать. Через несколько минут танец заканчивается, девушка спускается с подиума, уходя куда-то за кулисы, и взглядом зовет Ивана за собой. Иван двигается за ней и упирается в охранника.

АЛИНА. Пропусти его, он со мной.

Охранник отступает, и Иван идет за девушкой по коридору, по которому снуют полуголые девицы. Вдвоем они доходят до гримерки.

ИВАН. Весело тут у вас.
АЛИНА. Что ты здесь делаешь?
ИВАН. Просто зашел, что делают все остальные люди вокруг?
АЛИНА. Ты мешаешь мне работать!
ИВАН. Это и есть твоя работа?
АЛИНА. А что не так? Тебе какое дело? Ты пришел мне сюда нотации читать?
ИВАН. У тебя же красный диплом юрфака!
АЛИНА. Это что, клеймо на всю жизнь?

ИВАН. Куча людей стремится получить это образование, но у них ничего не получается, а ты этого добилась и занимаешься...

АЛИНА. Чем? Занимаюсь чем?.. Я делаю то, что мне нравится, и получаю за это достойные деньги. Ты сам кто такой, чтобы меня учить? Чего ты добился?

ИВАН. Я... Ну... У меня свой бизнес.

АЛИНА. Какой же?

ИВАН. Я занимаюсь частным сыском.

АЛИНА. Я частных сыщиков только в кино видела.

ИВАН. Считай, что теперь и в жизни.

АЛИНА. И как? Успешно?

ИВАН. Вполне, не жалуюсь.

АЛИНА. Мне кажется, ты врешь.

ИВАН. Зачем мне это надо?

АЛИНА. Не знаю, врешь и все. Чтобы казаться крутым. У меня больше нет времени на разговоры с тобой.

Алина уходит. Иван обращает внимание на девушек, сидящих в той же комнате перед зеркалами.

ИВАН *(несколько робея)*. Кхм, извините, я ищу своего друга, он здесь часто бывает. Никто не видел его в последнее время?

Девушки отрицательно качают головами.

ИВАН. Ну хорошо, спасибо.

Выходит обратно на танцпол. Сделав круг по клубу, снова подходит к барной стойке.

БАРМЕН (глядя на него). Я же сказал, что не знаю, кто это.

ИВАН. Да нет... Слушай, а налей мне водки.

Бармен наливает рюмку.

БАРМЕН. Еще что-нибудь?

ИВАН. Пока все.

К стойке подходит Лера.

ЛЕРА. Вы кого-то ждете?

ИВАН. Да нет...

ЛЕРА. Здесь просто единственное свободное место...

ИВАН. Садитесь, конечно, никаких проблем!

Поднимает рюмку.

ЛЕРА. Пьете в одиночестве?

ИВАН. Хотите присоединиться?

ЛЕРА. Почему бы и нет?

ИВАН. Бармен, еще водки!

Бармен наливает еще одну рюмку.

ИВАН. Ну, за встречу!

Чокаются, пьют.

ЛЕРА. Тебя как зовут?

ИВАН. Иван.

ЛЕРА. Ваня! Пойдем потанцуем!

Увлекает его за собой на танцпол, танцуют.

ЛЕРА. Хочешь меня?
ИВАН. Что?!
ЛЕРА. Хочешь меня?
ИВАН. В смысле?
ЛЕРА. В прямом! Хочешь сексом со мной заняться?
ИВАН. Да я...
ЛЕРА. Пойдем.

Лера утаскивает Ивана за руку в туалет.

ИВАН. Подожди, что ты делаешь?

Лера заходит с Иваном в кабинку и закрывает дверь. Толкает на унитаз, расстегивает штаны и делает минет. Потом встает и уходит. Иван ошарашено смотрит ей вслед.

ИВАН. Стой, подожди!

Бросается вслед, хватает ее за руку.

ИВАН. Ты кто?
ЛЕРА. Какая тебе разница?
ИВАН. Что это было вообще?
ЛЕРА. Где было?
ИВАН. Да как – где?! Вот сейчас, в туалете, что это было?
ЛЕРА. Ой, ничего не было, забей.
ИВАН. Я... я просто подумал... ну, что мы друг другу понравились.
ЛЕРА. Нет, извини.

Собирается уходить.

ИВАН. Может, мы как-нибудь все-таки... ну, там... Слушай, а ты не знаешь этого парня?

Достает фотографию.

ЛЕРА. Конечно, это ж Алекс.
ИВАН. Кто?
ЛЕРА. Алекс!
ИВАН. Кто это?
ЛЕРА. Да просто чувак из тусовки, говорит всем, что промоутер, но на самом деле так – мажор, ничего особенного.
ИВАН. Как его найти, не знаешь?
ЛЕРА. Попробуй в «Голден» съездить, там сегодня вечеринка с Тиесто, он такое не пропустит.
ИВАН. А что за тесто?
ЛЕРА. Тиесто! Вообще не шаришь, что ли?
ИВАН. А! Ну я не расслышал просто, да-да, я в курсе, конечно...
ЛЕРА. Ну все, мне пора, чао!
ИВАН. Пока...

Сцена 8

Утро. Квартира Ивана. Звонит телефон. Иван с трудом пытается выбраться из-под одеяла, шарит в поисках телефона. Находит.

ИВАН. Алло?.. Не успел...

Иван кладет телефон и какое-то время просто сидит, держась за голову. Потом встает, идет на кухню, достает пакет сока из холодильника, долго и жадно пьет. Снова звонит телефон.

ИВАН. Алло...

МАРЬИН. Ты где, мать твою?!

ИВАН. А... Алексей Петрович! Я это... Я тут приболел немного...

МАРЬИН. Что значит – приболел?! Я тебе все утро звоню! Ты где вчера был?

ИВАН. В общем, смотрите, парня этого, ну, подозреваемого, опознали, его зовут Алекс, он что-то типа промоутера, сказали, что он должен быть в клубе «Голден», я поехал туда, но там найти его не сумел. Но удалось выяснить, где он должен быть сегодня ночью, так что, возможно, на этот раз получится его найти.

МАРЬИН. Значит, так. Подозреваемого зовут Алексей Гордеев, проживает по адресу: Революционная 13 – 69. Так что поднимай свою жопу, я сейчас за тобой заеду.

ИВАН. Хорошо...

Иван мучительно потирает виски и заходит в ванную. Одевается, выходит из дома.

Марьин и Иван на заднем сиденье «Волги».

МАРЬИН. Ты напился вчера?

ИВАН. Да нет, просто поздно лег, мало спал...

МАРЬИН. От тебя же перегаром несет!

ИВАН. Ну это просто... так вышло, в общем.

МАРЬИН. Ты дурак, что ли?!

ИВАН. Да что такого-то? Ну бывает...

МАРЬИН. Не бывает! Ты зачем во все эти клубы поперся? Бухать? Баб снимать? Поймаем убийцу, делай, что хочешь! Я один на себе это все должен тащить? Мне это больше всех, что ли, надо?!

ИВАН. Ну извините! Извините! Да, был не прав, но что теперь-то? Мне пойти убить себя? От всего, что вы мне говорите, никому легче не станет! Я извинился уже! Давайте теперь закроем эту тему и вернемся к нашему Алексу, или как его там?

МАРЬИН. Алексей Гордеев, золотая молодежь, мать – главный бухгалтер на металлургическом комбинате, у отца сеть автосалонов в городе. Сам никогда нигде не учился и не работал, прожигает жизнь, проще говоря.

ИВАН. А как вы все это узнали?

МАРЬИН. А я работал! Работал, а не по клубам шлялся.

ИВАН. Да что ж такое? Опять началось... Еще что-нибудь?

МАРЬИН. Ничего, не судим, не привлекался.

ИВАН. Наркотики, там, какие-нибудь? Хранение, продажа?..

МАРЬИН. Ничего нет. И при таких родителях это не очень удивительно, если что и было, то вопросы, я думаю, решались быстро и за закрытыми дверями.

ИВАН. Ну от убийства просто так не отвертишься!

МАРЬИН. Как знать? Может, и отвертишься...

ИВАН. А в чем тогда смысл? Зачем тогда это все?

МАРЬИН. Наше дело его поймать, посадят его или нет, нас с тобой уже не очень касается.

ИВАН. Как-то это все неправильно...

МАРЬИН. Приехали, вот здесь направо во двор...

Сцена 9

Квартира Алекса. Раздается звонок. Алекс в шелковом халате открывает дверь.

АЛЕКС. Здравствуйте...

МАРЬИН. Добрый день! Милиция! Гражданин Гордеев?

АЛЕКС. Да, это я...

МАРЬИН. Разрешите задать вам несколько вопросов?

АЛЕКС. Конечно, проходите...

Заходят в квартиру. Откуда-то из дальней комнаты раздается мужской голос.

ЭМИЛЬ. Алекс, кто там?

АЛЕКС. Это ко мне, все нормально!

ИВАН. Кто это?

АЛЕКС. Это Эмиль, мой друг.

МАРЬИН. Вам знакома Ляйсан Гарифуллина?

АЛЕКС. Так... дайте подумать... Как говорите, Ляйсан?..

ИВАН. Гарифуллина!

АЛЕКС. М... А это не такая длинноногая блондинка из «Модных лиц»?

МАРЬИН. Откуда?

АЛЕКС. Ну «Модные лица»! Модельное агентство!

ИВАН. Насколько нам известно, она не состояла в этом агентстве.

МАРЬИН *(достает фотографию)*. Может быть, это освежит вашу память?

АЛЕКС. У, нет! Нет, я с ней точно не знаком.

МАРЬИН. Вас видели вместе, причем совсем недавно.

АЛЕКС. Не может быть, она совсем не в моем вкусе!

ИВАН. Тем не менее, у нас есть доказательства того, что вы провели вместе практически целую ночь!

АЛЕКС *(в ужасе)*. Нет-нет, вы что-то путаете! Ну посмотрите на нее! Это же какая-то лохушка! Я известный промоутер! Я бы просто не опустился до такого! Голова, вон, у нее какая-то непропорциональная! Это невозможно! И... И в чем вообще вы меня обвиняете?

МАРЬИН. Что вы делали в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое?

АЛЕКС. Уф... Тут каждую ночь то одно, то другое, всего и не упомнишь!

В комнате появляется Эмиль, одетый в шелковый халат.

ЭМИЛЬ. Алекс! В этот день, вернее, в эту ночь, мы праздновали мой день рождения!

АЛЕКС. Конечно! Как я мог забыть! Извини... Восемнадцатого! Все правильно! Ну вот, вот, пожалуйста, мы праздновали день рождения Эмиля!

МАРЬИН. Где вы его праздновали?

АЛЕКС. В клубе! В клубе «VIP Paradise»!

МАРЬИН. По нашим данным, в эту ночь вы действительно были сразу в нескольких клубах.

АЛЕКС. Я каждую ночь объезжаю четыре-пять клубов, так что это совершенно нормально.

ИВАН. С какой целью?

АЛЕКС. Я известный промоутер! Во всех самых лучших клубах города выступают мои артисты, ди-джеи, балет...

МАРЬИН. Балет?

АЛЕКС. Конечно! Шоу-балет «Trinity» знаете? Это вот тоже мои клиенты... Так что постоянно приходится бывать во всех заведениях, следить, чтобы выполнялся райдер, чтобы никого не обманули – в шоу-бизнесе очень суровые законы, знаете ли...

МАРЬИН. Хорошо, кто-то может подтвердить, что вы действительно были в этом вашем вип-клубе?

ЭМИЛЬ. Я могу!

МАРЬИН. А еще?

АЛЕКС. Конечно! Там была вся тусовка! Куча народа, все нас прекрасно видели.

МАРЬИН. Понятно. Ну что ж, спасибо, извините за беспокойство, вопросов к вам больше нет.

АЛЕКС. Так что же все-таки случилось с этой... Ляйсан?

ИВАН. В ту ночь ее нашли мертвой.

ЭМИЛЬ. Какой кошмар!

МАРЬИН. В общем, будьте внимательны, всего доброго.

Следователи выходят из квартиры, но Алекс останавливает Ивана.

АЛЕКС. Извините, запамятовал, как вас зовут...

ИВАН. Иван.

АЛЕКС. Иван, очень приятно. Вы не сочтите за оскорбление, но мне вот пришла в голову одна мысль, она совершенно не касается этой девушки и всего, о чем вы сейчас спрашивали...

ИВАН. Ну говорите!

АЛЕКС. Понимаете, я известный промоутер...

ИВАН. Это я уже слышал.

АЛЕКС. Так вот, клубы заинтересованы не только в том, чтобы у них выступали звезды, но и чтобы на эти выступления приходили красивые люди.

ИВАН. Как это?

АЛЕКС. Вы видели когда-нибудь в журналах, обычно на последних страницах, фотографии с вечеринок?

ИВАН. Видел.

АЛЕКС. Все клубы хотят, чтобы на этих фотографиях были не вот такие Ляйсан, а молодые привлекательные парни и девушки, чтобы это создавало клубу хороший, положительный имидж. И это желание настолько велико, что клубы готовы платить деньги привлекательным парням и девушкам за то, чтобы они приходили, тусовались, танцевали, попадали в кадр фотографам...

ИВАН. Профессиональные тусовщики?

АЛЕКС. Можно сказать и так.

ИВАН. И что? Хорошо платят?

АЛЕКС. За такого рода работу – более чем. Многие бы хотели оказаться на месте этих людей.

ИВАН. Я понял, только зачем вы мне это рассказываете?

АЛЕКС. Я просто подумал, что, может быть, вам тоже пришлось бы по душе такое занятие?

ИВАН. Мне?!

АЛЕКС. Я понимаю, что это с трудом соотносится с вашей основной работой, но вы молоды, хорошо сложены, производите приятное впечатление, так что, почему бы немного не заработать в свободное время?

ИВАН. Спасибо, я подумаю на досуге над этим предложением.

АЛЕКС. Подумайте, и если что – звоните.

Протягивает золотистую визитку.

ИВАН. Всего хорошего.

Сцена 10

Кабинет в отделении. Иван и Марьин сидят за столом.

ИВАН. Ну и что вы об этом думаете?

МАРЬИН. Я думаю, какого черта на меня все это свалилось на старости лет?

ИВАН. Это не совсем то, что я хотел бы услышать.

МАРЬИН. А что ты хотел бы услышать?

ИВАН. Ну что вы думаете об Алексе? Ему можно верить?

МАРЬИН. Я не вижу причин, зачем бы он мог нам врать.

ИВАН. То есть как? Если он в этом замешан...

МАРЬИН. Да не замешан. Это просто какой-то гламурный педик, что само по себе преступлением не является.

ИВАН. Он наша единственная зацепка, больше ничего нет.

МАРЬИН. Это и есть самое ужасное...

ИВАН. Что же нам делать тогда?

МАРЬИН. Думать, думать... Мы не замечаем чего-то самого очевидного, за деревьями не видим леса. Так бывает, то есть происшествие крайне странное, но на самом деле оно должно быть простым.

ИВАН. Странным и простым? Я пока ничего простого не увидел.

МАРЬИН. В том и суть, оно должно быть настолько простым, что это сбивает с толку.

ИВАН. Я не очень понимаю.

МАРЬИН. Может быть, тайна слишком ясна и слишком очевидна?.. Ты в детстве не играл в загадки по географической карте?

ИВАН. Это как?

МАРЬИН. Ну, например, я загадываю тебе название, а ты должен его найти.

ИВАН. Нет, не играл.

МАРЬИН. Представь, что мы играем. Как бы ты загадывал задания для меня?

ИВАН. Ну допустим, что-нибудь помельче, позаковырестее из Африки какой-нибудь.

МАРЬИН. Вот! Это типично для новичка и его хода мыслей. Поэтому мою загадку ты будешь искать там же, в Африке, думая, что это маленькая деревушка, но я загадаю тебе что-нибудь большое, что-нибудь, написанное крупными буквами от края до края. Эти названия, как и вывески или объявления слишком большого шрифта, ускользают из внимания, так как видны слишком ясно.

ИВАН. Хорошо! Давайте еще раз переберем все, что у нас есть, включая самое очевидное. Итак, у нее нет головы, но голова отрезана пилой, значит, к этому моменту она уже была мертва.

МАРЬИН. Необязательно! Это мог быть удар чем-то типа сабли, или, например, обычного деревенского серпа. Один хороший удар сильной натренированной, явно не Гордеева, руки...

ИВАН. Уж не хотите ли вы сказать, что Ляйсан убила сама смерть с косой?

МАРЬИН. Не смерть, но вполне, возможно, что и косой, хотя серпом в этом смысле удобнее, он меньше.

ИВАН. Сколько там домов в частном секторе? Вполне возможно, что у кого-то действительно есть серп.

МАРЬИН. Это иголка в стоге сена. К тому же, на ее обуви практически не было грязи, что в такую погоду было бы невозможно, если бы она в эту деревню пришла сама.

ИВАН. Значит, убили ее где-то в другом месте, а труп туда просто привезли.

МАРЬИН. Верно. Где она могла быть? Куда она направилась, выйдя из клуба?

ИВАН. И что она сделала такого, что заставило убийцу отправить ее на тот свет?

МАРЬИН. Боюсь, что ничего. Он сделал это, чтобы забрать ее голову, но я сомневаюсь, что в этой голове было что-то примечательное. Он сделал это, потому что он убийца-маньяк! И это лишь первая его жертва.

ИВАН. Так что же, нам ждать следующую, чтобы хоть что-то прояснилось?

МАРЬИН. Я не знаю, что еще мы можем сделать...

ИВАН. Да все, что угодно! Нет ничего хуже, чем просто сидеть и ждать! Надо пробовать абсолютно любые, пусть даже и фантастические методы!

МАРЬИН. Например?

ИВАН. Например?.. Например... да вот хотя бы так! *(Берет книгу с полки.)* Называйте страницу и номер строки!

МАРЬИН. Ты с ума сошел?

ИВАН. Мы ведь ничего не потеряем, правильно? Хуже, чем есть, ведь уже не станет.

МАРЬИН. Не таким же способом!

ИВАН. Называйте!..

МАРЬИН. 63-я страница, 7-я строчка сверху...

ИВАН. Сейчас... Тут длинное предложение, я его целиком прочитаю... «Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые – хотя далеко не все – соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на Луну».

МАРЬИН *(громко рассмеявшись)*. Ну и что? Это тебе как-то помогло?

ИВАН. Возможно, да...

МАРЬИН. Что? Как? Не хочешь ли ты сказать, что бедную Ляйсан убили инопланетяне, спустившиеся с Луны?

ИВАН. Нет, Алексей Петрович, «Луна» – это ведь клуб...

МАРЬИН. В каком смысле?

ИВАН. В прямом! «Луна» – это название ночного клуба, есть такое заведение в городе.

МАРЬИН. Но в ту ночь ее не было в «Луне».

ИВАН. Да, но, возможно, она как раз туда и направлялась. То есть вышла из очередного клуба, поехала в «Луну», но почему-то не доехала.

МАРЬИН. Как она перемещалась по городу? Она звонила в такси?

ИВАН. Нет, судя по распечатке ее телефонных звонков, – нет.

МАРЬИН. Значит, она ловила машину прямо на выходе из клуба. Надо поговорить с таксистами, которые там дежурят, может, из них кто-то что-то видел. Шанс невелик, но, действительно, это лучше, чем просто сидеть сложа руки.

ИВАН. Может быть, заодно наведаться в «Луну»?

МАРЬИН. Зачем?

ИВАН. Просто осмотреться, понять, что к чему, вдруг что-то там выяснится?

МАРЬИН. Так... Да тебе просто это нравится!

ИВАН. Что?

МАРЬИН. Ходить по клубам – вот что! В первую очередь, тебе хочется в клуб, а дело уже на втором плане!

ИВАН. Ничего подобного! Мы должны попробовать все варианты!

МАРЬИН. Какие варианты? У тебя этот клуб всплыл из-за дурацкого гадания по первой попавшейся книжке!

ИВАН. Но, согласитесь, что получившаяся версия не лишена смысла!

МАРЬИН. Ай, надоел! Делай, что хочешь!

ИВАН. Хорошо! Я тогда завтра обо всем доложу.

МАРЬИН. Только я тебя прошу, Иван, не теряй головы, ладно? Ты там не ради собственного удовольствия. Я не собираюсь теперь каждое утро насильно поднимать тебя из постели. Если Ляйсан на самом деле ехала в «Луну», то было бы неплохо, чтобы ты выяснил, зачем и почему.

ИВАН. Будет исполнено, Алексей Петрович, не сомневайтесь!

Сцена 11

Ночь. Клуб «Луна». Самый обычный ночной клуб. Иван пробивается к барной стойке.

ИВАН. Бармен!

БАРМЕН. Я вас слушаю.

ИВАН (достает фотографию). Вы случайно не видели здесь когда-нибудь эту девушку?

БАРМЕН. Не помню.

ИВАН. Нет? Ну ладно, тогда налейте виски с колой!

Бармен приносит напиток. Иван делает глоток и озирается по сторонам. Замечает стоящую у стены Аню. Аня делает вид, что набирает смс, а сама поглядывает на столик, за которым гуляет молодежная компания, и Андрей что-то говорит Инне, та смеется.

ИВАН. Привет!

АНЯ. Добрый вечер.

ИВАН. Мне кажется, мы с вами где-то встречались?

АНЯ. Это вряд ли.

ИВАН. Меня Иван зовут!

АНЯ. Очень рада за вас.

ИВАН. Не-не, вы не подумайте, что я какой-то очередной тип, который пытается склеить девушку в клубе, у меня очень хорошая память на лица. Я точно вам говорю, что я вас где-то видел, но почему-то не могу вспомнить, где и когда.

АНЯ. Ничем не могу помочь.

ИВАН. Ну а я не кажусь вам знакомым, нет?

АНЯ. Нет.

ИВАН. Это, знаете, как вот песня какая-то засела в голове, но не можешь вспомнить, что это, где ты ее слышал? И ходишь мучаешься так.

АНЯ. Я пойду, пожалуй.

ИВАН. Подождите, ну давайте выпьем чего-нибудь, поболтаем, я уверен, что вспомню. И вы, может быть, тоже.

АНЯ. Я как-нибудь обойдусь!

Уходит.

ИВАН. Бармен! Повторите! Эй, красотка, давай познакомимся!

КРАСОТКА. Отвали, придурок!

ИВАН. Да что ж такое?..

Достает бумажник, считает деньги. С удивлением достает золотистую визитку, недоуменно разглядывает, потом вспоминает. Недолго думает. Набирает номер с визитки на мобильном.

ИВАН. Алло! Алло, это Алексей? Алекс, здравствуйте. Это Иван. Вы меня не помните... Это Иван! Алло! Здесь очень плохо слышно! Я сейчас перезвоню.

Встает. По пути замечает, как возле одного из столиков Лера начинает ссориться с парнем. Отчаянно жестикулируя, оба громко орут друг на друга, пытаясь перекричать музыку. Лера не выдерживает и толкает парня в грудь, тот в ответ с размаху бьет ее по лицу. Лера падает прямо перед Иваном. Иван не раздумывая кидается на парня с кулаками. К драке присоединяются еще несколько человек. Сквозь танцпол к эпицентру событий пробираются дюжие охранники. Музыка продолжает поражать децибелами, ди-джей заводит очередной хит, сотня тел, визжа от восторга, продолжает извиваться в танце...

У входа в клуб «Луна». Немного помятый Иван то ли опирается на Леру, то ли обнимает ее.

ЛЕРА. Тебя как зовут хоть?

ИВАН. Ты не помнишь?

ЛЕРА. А должна?

ИВАН. Ну... мы вчера с тобой выпивали, а потом пошли в туалет и... там... ну...

ЛЕРА. Что?

ИВАН. Ты не помнишь?

ЛЕРА *(помолчав)*. Помню.

ИВАН. Ваня.

ЛЕРА. Лера.

ИВАН. Ну и... что это было?

ЛЕРА. Да мудак он! Шел бы на хер! Не хочу его больше ни видеть, ни слышать!

ИВАН. Нет, я про вчера.

ЛЕРА. А что вчера?

ИВАН. Ну прекрати уже! Что вчера?! Мы выпили с тобой у барной стойки, уже через десять минут ты сделала мне лучший минет в моей жизни, а потом просто ушла! Как я должен это все

понимать?! Я даже не успел спросить твоего имени!

ЛЕРА. Я просто немного перебрала.

ИВАН. И все?

ЛЕРА. Что еще?

ИВАН. Для тебя это нормально?

ЛЕРА. Нет.

ИВАН. Хорошо, забудь... *(После паузы.)* Что будем делать?

ЛЕРА. Не знаю, в таком виде уже никуда не пустят.

ИВАН. Может, выпьем чего-нибудь?

ЛЕРА. Давай.

Сцена 12

Детская площадка в одном из городских дворов. Свет одинокого фонаря. Иван сидит на скамейке, Лера стоит рядом. На скамейке постепенно пустеет бутылка коньяка.

ЛЕРА. Так, значит, ты мент?

ИВАН. Не совсем, я... частный сыщик.

ЛЕРА. О! И что же ты сейчас расследуешь?

ИВАН. Есть одно дело, но я не уверен, что имею право о нем рассказывать...

ЛЕРА. Да ладно, ничего не изменится, если я узнаю.

ИВАН. Хорошо, но это реально секретная информация! Обещай, что ты будешь нема как рыба?

ЛЕРА. Уже!

ИВАН. В общем, тут на днях нашли одну мертвую девушку без головы. Известно, что в ночь убийства она была в нескольких ночных клубах, мы думаем... ну, то есть, я думаю, что она ехала как раз сюда в «Луну», но где-то по дороге встретилась с убийцей, не просто с убийцей, с маньяком, который убил ее и отрезал голову.

ЛЕРА. Ого! А есть приметы этого маньяка?

ИВАН. Это... мужчина. Мужчина физически сильный... Ну и... пока все на этом.

ЛЕРА. Значит, пока вы, то есть, ты даже не знаешь, кого искать.

ИВАН. Я работаю над этим!

ЛЕРА. А с чего ты взял, что убийца обязательно мужчина?

ИВАН. Потому что убийца – маньяк, а в истории криминалистики буквально пара случаев, когда серийным убийцей оказывалась женщина. Например, была в Румынии одна гадалка, которая человек двадцать замочила, но в основном это мужчины, у которых были проблемы в период полового созревания.

ЛЕРА. Но женщину же в любом случае нельзя исключать, возможно, у нее был повод?

ИВАН. Две молодые девушки поссорились, и одна другой отрубила голову?

ЛЕРА. Вот все мужчины уверены, что девки дерутся обязательно в нижнем белье и в каком-нибудь желе, или на крайний случай подушками!

ИВАН. А потом еще часа два обязательно мирятся!

ЛЕРА. Но на самом деле это вообще не так. Девки дерутся очень страшно, просто берут и сразу кулаком по ебалу! Десять человек – стенка на стенку. Или там втроем кого-нибудь подкараулят, свалят на землю, а дальше уже одна на волосы наступит – держит, а двое каблуками топчут.

ИВАН. Ты все это видела?

ЛЕРА. Я в такой школе училась, там девки всем рулили.

ИВАН. А зачем им было драться между собой?

ЛЕРА. Да из-за мужиков всегда! Один раз только, помню, чтобы из-за сфер влияния подрались, одна рулила своим классом, другая своим...

ИВАН. У каждой свой класс, что им делить?

ЛЕРА. Понимаешь, было круто рулить всей параллелью, ну и вот все, как полагается, забили стрелу, встретились...

ИВАН. Ну это не совсем тот случай, они же при этом не убивали никого насмерть и не заметали потом следы так, что невозможно было найти ни одной улики.

ЛЕРА. Ты у нас детектив, ты и думай, а я просто говорю, как это бывает.

ИВАН. Слушай, хорошо сидим, конечно, но все-таки не май-месяц, а у меня там дома целая бутылка чинзано лежит...

ЛЕРА. Едем!

Сцена 13

Раннее утро. Моросит дождь. Овраг на окраине города. Марьин пробирается к месту, вокруг которого стоят люди в форме. При виде Марьина коллеги расступаются, пропуская его вперед.

МАРЬИН. Это он?..

МОРГУНОВ. Да, при нем было удостоверение, и паспорт, Лужин Иван Александрович, 1984-го года рождения...

МАРЬИН. Не продолжайте!

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Значит так, Петрович, нам всем сейчас нелегко, но поверь мне, мы сделаем все, что можем.

МАРЬИН. То есть?..

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. То есть, учитывая все обстоятельства, возраст твой, опять же, я тебя освобождаю от этого дела. Ты ведь так не хотел этим всем заниматься.

МАРЬИН. Но теперь все стало совсем по-другому!

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Вот именно! Все стало гораздо серьезнее! Убили сотрудника правоохранительных органов! Отрезали голову!!! Это тебе уже не... Тут тебе не там!.. Эмоции лишние здесь не нужны, накажем по всей строгости!

МАРЬИН. Так что мне теперь делать?

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Ты давай мне подробный отчет о всех ваших оперативно-разыскных предоставь в письменном виде, а потом поезжай домой, отдохни. Мы уж тут разберемся.

МАРЬИН. Есть. А...

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Что?

МАРЬИН. Какие-нибудь улики, следы? Что-нибудь нашли?

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Ищем!

МАРЬИН. Опять ничего?

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Как это ничего?! Как это ничего?! Ничего без ничего не бывает, понимаешь! Так что ты давай не сей тут в рядах – отчет к обеду, чтоб на столе у меня лежал!

МАРЬИН. Слушаюсь. Разрешите идти?

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Разрешаю. И без тебя тут то одно, то другое, то боевики, то власть меняется...

Марьин уходит.

МОРГУНОВ. Аллаяров! Ибатуллин! Идите сюда!

Аллаяров и Ибатуллин чуть ли не наперегонки бегут к Моргунову.

МОРГУНОВ. Значит, смотрите. Вот это все сейчас отсюда увезут, а вы вдвоем останетесь...

ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Что это?

МОРГУНОВ. Так, Аллаяров! Что это у тебя за пятно на форме?

АЛЛАЯРОВ. Что?

МОРГУНОВ. Что за пятно на форме у тебя?

АЛЛАЯРОВ. Что?
МОРГУНОВ. Это я тебя спрашиваю: что?!
ИБАТУЛЛИН. Так это, он кетчуп вчера еще на себя пролил.
АЛЛАЯРОВ. Заткнись!
МОРГУНОВ. А ты, Ибатуллин, сам-то! Заправься нормально! Почему небрит? Что за внешний вид вообще у обоих?! По вам судят обо всей милиции! А вы тут стоите две размазни!
ИБАТУЛЛИН. Извините...
МОРГУНОВ. Ладно, не до этого сейчас... Останетесь здесь, глаза особо не мозольте, присматривайте за оврагом. Что-то подозрительное обнаружите, немедленно сигнальте. Все понятно?
АЛЛАЯРОВ. Да.
МОРГУНОВ. Выполняйте!
АЛЛАЯРОВ и ИБАТУЛЛИН *(хором)*. Есть!

Моргунов и подполковник Розин уходят.

АЛЛАЯРОВ. Ты не мог промолчать?! Что ты вылез? Идиот!
ИБАТУЛЛИН. Сам идиот.
АЛЛАЯРОВ. Ты учти, в полицию таких идиотов не возьмут!
ИБАТУЛЛИН. Чего?
АЛЛАЯРОВ. Ты не в курсе, что ли?
ИБАТУЛЛИН. Чего не в курсе?
АЛЛАЯРОВ. В полицию же нас будут переименовывать!
ИБАТУЛЛИН. Зачем?
АЛЛАЯРОВ. Ну как?.. Чтобы лучше боролись с этими... всякими там...
ИБАТУЛЛИН. С кем?
АЛЛАЯРОВ. С террористами!

Ибатуллин бледнеет.

АЛЛАЯРОВ. И прочими криминальными элементами.
ИБАТУЛЛИН. Так тебя тоже в полицию не возьмут.
АЛЛАЯРОВ. Почему это?
ИБАТУЛЛИН. Ты взятки берешь!
АЛЛАЯРОВ. А ты!.. Как достал ты меня уже! Идиот!

Аллаяров разворачивается и идет по оврагу. Ибатуллин стоит на месте и смотрит ему вслед. Потом, спохватившись, пускается вдогонку.

Сцена 14

Городское бистро. За столиком сидит Марьин. Перед ним бутылка водки, какая-то закуска. Марьин много курит и немигающим взглядом смотрит куда-то вдаль. Звонит телефон.

МАРЬИН. Алло?..
МАШЕНЬКА. Алексей Петрович, это Маша из деканата...
МАРЬИН. Да, Машенька, здравствуйте...
МАШЕНЬКА. Алексей Петрович, а вы где?
МАРЬИН. Я? Ну я в центре, если вас интересует.
МАШЕНЬКА. Каком центре, Алексей Петрович?
МАРЬИН. Городском, Машенька, центре. В ресторане я сижу.
МАШЕНЬКА. Алексей Петрович! Так вы что же? Забыли?!
МАРЬИН. О чем?
МАШЕНЬКА. Так у вас же лекция по расписанию десять минут назад должна была начаться,

студенты ждут!

МАРЬИН. Ах да! Я совсем забыл, какой сегодня день...

МАШЕНЬКА. Так что же теперь делать?

МАРЬИН. Да вы отпустите их с миром, Машенька, они только рады будут, я потом догоню все. Что-то у меня совершенно из головы вылетело...

МАШЕНЬКА. Как скажете, Алексей Петрович, до свидания!..

Марьин пытается вернуться в медитативное состояние, но его внимание привлекают Андрей и Аня, сидящие за столом в углу того же заведения. Марьин, опрокинув очередную рюмку, поднимается и идет к ним.

МАРЬИН. Так вот чем ты занимаешься, безголовая?!

АНДРЕЙ (вскакивая из-за стола и хватая Марьина). Что ты сказал?!

АНЯ. Прекратите! Отпусти его!

МАРЬИН. Я и не держу!

АНЯ. Я не тебе, дурень!

МАРЬИН. Как ты разговариваешь с отцом?!

АНДРЕЙ. С кем?

МАРЬИН. Да, молодой человек, представьте себе!

АНДРЕЙ. Кхм... А я Андрей...

МАРЬИН. Сходи погуляй.

АНЯ. Все нормально.

Андрей уходит.

АНЯ. Что ты устраиваешь?

МАРЬИН. А ты что устраиваешь? Что ты здесь делаешь?

АНЯ. Какая тебе разница?

МАРЬИН. Я отец твой, вот какая мне разница!

АНЯ. Вспомнил!.. Я встречаюсь со своим парнем!

МАРЬИН. С парнем! И давно ли он твой парень?

АНЯ. Неважно!

МАРЬИН. Неважно? Какого цвета у него глаза?

АНЯ. Что?

МАРЬИН. Какого цвета глаза у твоего парня?

АНЯ. Ты сбрендил, что ли, совсем? Что за вопросы?

МАРЬИН. Ты просто не знаешь. Какой он тебе парень?

АНЯ. Отстань!

МАРЬИН. Где ты нашла этого психопата?! Он что, всегда так на людей бросается? Почему нельзя общаться с нормальным, воспитанным молодым человеком?

АНЯ. Ага. Ты, что ли, мне такого приведешь?

МАРЬИН. «Приведешь»... Эх... Дура ты, Анька... Вчера бы еще привел... А сегодня...

АНЯ. Что ты мелешь?! Ты пьяный опять?

МАРЬИН. Откуда такая озлобленность? Я тебе разве вреда желаю?

АНЯ. Да ты вспоминаешь о нас раз в полгода и принимаешься учить жизни! Никакого вреда, но никому уже этого не надо давно!

МАРЬИН. Разве ты плохо живешь? Ты когда-нибудь в чем-то нуждалась?

АНЯ. Хватит! Проходили это уже сто раз, все, мне пора. Пока!

МАРЬИН. Не позже двенадцати домой!

АНЯ. Мы сегодня в клуб пойдем.

МАРЬИН. Что? В какой клуб?

АНЯ. В обычный клуб!

МАРЬИН. В какой именно? Как называется?
АНЯ. Ну что ты пристал? Тебе название все равно ничего скажет.
МАРЬИН. Скажет!
АНЯ. Да брось, меня ждут уже!
МАРЬИН. Ты хоть знаешь, что сейчас в клубах происходит?
АНЯ. Ой, пап, ну ты тоже наслушался, что ли, всех этих историй про спидозные иголки?
МАРЬИН. Иголки?..
АНЯ. Счастливо!

Марьин растеряно смотрит ей вслед, потом возвращается за свой стол. Он допивает водку, достает бумажник, вытаскивает деньги, пересчитывает, оставляет на столе. Высыпает туда же всю имеющуюся мелочь. Поднимается и уходит.

Сцена 15

Торговый центр. Пятачок с десятком разных банкоматов. Марьин стоит рядом с ними и перебирает пачку квитанций.

МАРЬИН. Мимо... Мимо... И тут ни хрена нет!.. Так... Так, что же делать-то?..

Звонит телефон.

МАРЬИН (на минуту замирает, закатывает глаза к потолку). Третья квитанция! Седьмая строчка сверху! *(Лихорадочно перебирает бумажки.)* «Код авторизации... PRN 479613...».

Звонит телефон.

МАРЬИН. Слушаю.
ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Марьин?.. Я же говорил, что разберемся! Все, поймали мы маньяка! Ты не поверишь, кто это?
МАРЬИН. Что? Как? Кто?!
ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Гражданка Валерия Симонова! Их вчера видели вместе незадолго до смерти Лужина!
МАРЬИН. Подождите! Вы что, убийца-девушка?
ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Девушка она или не девушка, я не проверял, и это, в общем, меня не касается, но факт ее причастности доказан!
МАРЬИН. Не может этого быть! Я сейчас приеду!
ПОДПОЛКОВНИК РОЗИН. Так! Я сказал: «Отставить!» У тебя сегодня выходной! Все! Отбой!
МАРЬИН *(смотрит на телефон)*. Валерия Симонова... Бред какой-то... Не может это быть женщина... Ладно, это больше не моя головная боль...

Снова начинает растеряно перебирать карточки и квитанции. Опять звонит телефон. Марьин видит номер и машинально отходит в угол. Озирается по сторонам.

МАРЬИН *(вполголоса)*. Алло!.. Привет-привет!.. Прости, я немного замотался, тут очень много дел как-то сразу навалилось, голова разрывается уже... Нет... Конечно... А когда? И куда?.. Нет! Ну ты что? Как я могу поехать с тобой в Италию?.. Дело не в деньгах... Я хочу, очень хочу, но как ты себе это представляешь? Что я скажу жене?.. Ну не обижайся... Скажи мне, чем ты сейчас занимаешься?.. Может быть, я возьму бутылочку чего-нибудь вкусненького, приеду, и мы обо всем этом поговорим? Что скажешь?.. Все! Скоро буду, не скучай!

Стоит, задумавшись.

МАРЬИН. Четвертая квитанция. Десятая строчка. *(Листает.)* «Спасибо!»

Марьин быстрым шагом выходит из торгового центра.

Сцена 16

Клуб. Аня идет между людей, словно в поисках чего-то. Ей явно не по себе. Она обнаруживает небольшое помещение перед туалетами. Здесь сильно накурено, туда-сюда постоянно снуют разные люди, но самое главное – здесь тихо. Аня с облегчением вздыхает и недовольно смотрит на свое отражение в зеркале. Неожиданно появляется Андрей.

АНДРЕЙ. Вот ты где!

АНЯ. Да я тут просто... ну мне надо было, в общем.

АНДРЕЙ. С тобой нормально все? Ты просто резко так пропала...

АНЯ. Да, да, вполне...

АНДРЕЙ. Идем обратно?

АНЯ. Может...

АНДРЕЙ. Что?

АНЯ. Не знаю, мне там не нравится.

АНДРЕЙ. В смысле? Что не нравится? Все только начинается! Будет круто!

АНЯ. Не сомневаюсь, но мне как-то там не по себе.

АНДРЕЙ. Да ты объясни нормально, что тебя не устраивает!

АНЯ. Там твои друзья, я как-то не в своей тарелке себя с ними ощущаю.

АНДРЕЙ. Это нормально, там все клевые люди, ты скоро привыкнешь.

АНЯ. Нет, не хочу.

АНДРЕЙ. Что происходит с тобой? Хорошо, сегодня друзья мои тебя не устраивают, а в прошлый раз? Что в прошлый раз тебя не устраивало?

АНЯ. Ты знаешь, мне кажется, что все эти клубы, все эти понты, это вообще не мое.

АНДРЕЙ. Какие понты еще?

АНЯ. Посмотри по сторонам, здесь же даже уборщики негры! Это не понты?

АНДРЕЙ. Это иностранные студенты подрабатывают, что за расизм у тебя?

АНЯ. Да причем здесь расизм? Ну ладно негры не понты, просто посмотри на людей, как они выглядят, как они себя ведут, странный необоснованный пафос во всем.

АНДРЕЙ. Да брось, люди просто веселятся, проводят время...

АНЯ. Давай уйдем, а?..

АНДРЕЙ. Мы же только приехали!

АНЯ. Я прошу тебя, давай уйдем!

АНДРЕЙ. Подожди!.. Я все понял!..

АНЯ. Что-то мне страшно уже стало...

АНДРЕЙ. Я понял все! Я знаю, что тебя не устраивает! Ну что, поедем ко мне, маленькая развратница, да?

АНЯ. Не-не-не, нет, к тебе мы не поедем!

АНДРЕЙ. А куда? У тебя же родители дома!

АНЯ. И ко мне тоже не поедем.

АНДРЕЙ. Так... ну а какое же тогда твое предложение?

АНЯ. Мое? Ну давай просто, может быть, погуляем?

АНДРЕЙ. Ты с ума сошла? Тебе сколько лет? Двенадцать? Что за детский сад – просто погуляем?

АНЯ. Ничего плохого в этом нет.

АНДРЕЙ. Ты моя девушка вообще-то!

АНЯ. Допустим.

АНДРЕЙ. Ты знаешь, что если парень и девушка встречаются друг с другом, то вполне обычное явление, если при этом они занимаются сексом?

АНЯ. Да, что-то слышала.

АНДРЕЙ. Ну и в чем дело?

АНЯ. В том, что мы знакомы с тобой всего неделю!

АНДРЕЙ. Целую неделю уже! Ты, кстати, знаешь, к чему ведет неудовлетворенное желание?

АНЯ. К чему?

АНДРЕЙ. К тому, что люди превращаются в злобных психованных маньяков!

АНЯ. Ты мне предлагаешь спасти человечество сейчас?

АНДРЕЙ. Такая мотивация меня вполне устроит.

АНЯ. Знаешь, что? Я тут подумала… Давай расстанемся!

АНДРЕЙ. Что?!

АНЯ. Ну, правда, мне кажется, это все было ошибкой с моей стороны.

АНДРЕЙ. Хорошо, я понял, ладно, давай не будем торопить события, когда будешь готова, тогда будешь готова, – я подожду.

АНЯ. Нет, я не буду готова. Я повелась на твою внешность, слова красивые, но сейчас я вижу, что у нас вообще ничего общего нет.

АНДРЕЙ. У тебя голова на плечах есть?

АНЯ. Есть, так что, как это?.. Пойми, дело не в тебе, дело во мне!

АНДРЕЙ. Ты не можешь меня бросить!

АНЯ. Почему не могу? Могу!

АНДРЕЙ. Так, значит? Ладно! Ты еще пожалеешь об этом!

АНЯ. Не сомневаюсь.

АНДРЕЙ. Ты будешь ползать на коленях и просить у меня прощения! Но это не поможет! Ясно тебе?!

АНЯ. Да, улавливаю.

АНДРЕЙ. Сука!

Стремительно разворачивается и уходит.

АНЯ *(облегченно вздыхая)*. Как мило.

Аня оглядывается на невольных свидетелей сцены и молча идет к выходу.

Сцена 17

Уже полюбившийся всем овраг. Раннее утро. Аллаяров и Ибатуллин справляют малую нужду в кустах.

АЛЛАЯРОВ. Льет и льет, льет и льет, надоело уже.

ИБАТУЛЛИН. Так это, пить меньше надо.

АЛЛАЯРОВ. Дождь, говорю, льет и льет без конца!

ИБАТУЛЛИН. Зима скоро. Перестанет.

Не спеша идут по оврагу.

АЛЛАЯРОВ. Вот угораздило! Торчим здесь уже который день, какой толк от этого?

ИБАТУЛЛИН. Говорят, что убийца всегда возвращается на место преступления. Слышал?

АЛЛАЯРОВ. Слышал! Не дурак! А ты знаешь, что мы не на месте преступления? Сюда уже только мертвых приносят!

ИБАТУЛЛИН. Может, прям здесь и убивают, кто их знает?

АЛЛАЯРОВ. Так, может, тебя тогда следующим и того?..

ИБАТУЛЛИН. Чего того?

АЛЛАЯРОВ. Чего-чего? Без головы тебя следующим найдут, вот чего!

ИБАТУЛЛИН. Как это меня? Вот же я, вот голова моя, не надо меня искать!

АЛЛАЯРОВ. А вдруг террористы?

Ибатуллин бледнеет.

АЛЛАЯРОВ. Да ладно-ладно, нет никаких террористов. Шучу я. Поймали же убийцу-то!

ИБАТУЛЛИН. А если это не она?

АЛЛАЯРОВ. Она, кто же еще?

ИБАТУЛЛИН. Ну она же отрицает все.

АЛЛАЯРОВ. А ты бы сразу так и признался?

ИБАТУЛЛИН. А че я-то?

АЛЛАЯРОВ. Ну, к примеру! Вот представь, что ты убийца и тебе светит вышка, ты бы признался?

ИБАТУЛЛИН *(замявшись)*. Нет.

АЛЛАЯРОВ. Вот видишь!

ИБАТУЛЛИН. Это, ну, как она сама смогла-то головы им отпилить?

АЛЛАЯРОВ. Соображаешь! Значит, у нее есть подельник, а может быть, сразу два! Целая банда боевиков уже.

ИБАТУЛЛИН. А они где?

АЛЛАЯРОВ. Где? Известно где! В бегах! Или на дно залегли, ждут, пока баба эта в молчанку играет. Так что, еще раз тебе говорю, нет смысла никакого в том, что мы здесь торчим. Никто сюда больше не придет.

ИБАТУЛЛИН. Хорошо бы.

АЛЛАЯРОВ. Подожди... Что это вон там?

ИБАТУЛЛИН. Где?

АЛЛАЯРОВ. Вон, лежит, что это?

ИБАТУЛЛИН. Мешок какой-то...

АЛЛАЯРОВ. Пойдем посмотрим...

Подходят.

АЛЛАЯРОВ и ИБАТУЛЛИН (хором). Блядь!!!

АЛЛАЯРОВ (выхватывает оружие и начинает озираться по сторонам). Кто здесь?! Кто здесь?! А ну выходи! Стрелять буду!!!

ИБАТУЛЛИН. Мы должны объявить КТО... Мы должны объявить КТО...

АЛЛАЯРОВ. Че ты бормочешь там?! Как мы объявим, кто это? Мы же не видели ничего и никого!

ИБАТУЛЛИН. Контр... контр...

АЛЛАЯРОВ. Как оно сюда попало?! Не может же такого быть! Надо звонить, там, вызывать экспертов, всех остальных. От Моргунова огребем опять сегодня!

ИБАТУЛЛИН. Контрте...те...

АЛЛАЯРОВ. Слушай, а это не... Что ты бормочешь там? Одежда тебе знакомой не кажется?

ИБАТУЛЛИН. Терро... терро...

АЛЛАЯРОВ. Ну-ка, может, бумажник есть или документы?..

ИБАТУЛЛИН. Контртеррор...

Аллаяров склоняется над телом и вытаскивает из внутреннего кармана удостоверение. Медленно раскрывает корочки.

АЛЛАЯРОВ. Марьин... Вот бывает же! Сколько человеку оставалось? Пару дней буквально.

Аллаяров оглядывается по сторонам. Ибатуллин исчез.

АЛЛАЯРОВ. Э!.. Ибатуллин!.. Ибатуллин, ты где?!.. Ибатуллин!..

ЗАНАВЕС

Уфа – Москва
2011

Виктор СЕЛЕЗНЕВ

«ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК ПО РАЗРЯДУ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

Как А.В. Сухово-Кобылин был избран в Императорскую Академию наук

26 февраля 1902 года ординарный академик Императорской академии наук Н.П. Кондаков шлет телеграмму А.П. Чехову: «Почетными академиками избраны двое Сухово-Кобылин и Максим Горький»[1].

Великий русский драматург и философ А.В. Сухово-Кобылин никогда не был избалован, тактично выражаясь, официальными юбилейными торжествами, правительственными наградами и почестями. Тем более неожиданной оказалась для писателя весть об избрании его почетным академиком по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук.

Это звание было учреждено 29 апреля 1899 года, к столетию со дня рождения Пушкина. 8 января 1900 года первыми почетными академиками были избраны писатели Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.А. Потехин, В.Г. Короленко, великий князь Константин Константинович, который публиковался под псевдонимом К.Р., А.М. Жемчужников, А.А. Голенищев-Кутузов, литературный критик и публицист К.К. Арсеньев, философ В.С. Соловьев, правовед А.Ф. Кони[2].

О Сухово-Кобылине, как водится на Руси, благополучно позабыли. Впрочем, кто в ту пору догадывался об истинном масштабе дарования творца трилогии «Картины прошедшего».

Но газета «Новое Время», давнишнего доброжелателя писателя А.С. Суворина, дважды напомнила забывчивым академикам, да и прочим современникам, о Сухово-Кобылине.

23 января 1900 года публицист и писатель С.Н. Сыромятников, возмущаясь произвольностью списка избранных академиков, дивится, что самое высокое научное учреждение России проглядело многих известных писателей, в том числе и Сухово-Кобылина[3].

На следующий день аргументированное слово о здравствующем драматурге, авторе «Свадьбы Кречинского», «Дела» и «Смерти Тарелкина», сказал его старый друг и покровитель В.С. Кривенко. Как он напомнил в статье «Забытый», «Свадьба Кречинского» «давно стала не только репертуарной по всей России, но без преувеличения – классической. Типы Кречинского и Расплюева как живые запечатлелись перед нами в изображении лучших отечественных артистов. Многие яркие выражения из «Свадьбы Кречинского» вошли в повседневную жизнь в виде излюбленных поговорок и пословиц». А драма «Дело» рисует «недавнее прошлое сильнее и ярче, чем многие тома исторических исследований, мемуаров и министерских записок». В.С. Кривенко надеется, «что в следующем списке во главе целого ряда желанных новых академиков будет красоваться и ... имя» Сухово-Кобылина[4].

Пожелание критика сбылось в 1902 году, когда драматург вместе с Максимом Горьким был избран почетным академиком. Подробности избрания узнаем из письма Н.П. Кондакова к А.П. Чехову: «Выборы шли так туго, как никогда, и так как требовалось 2/3, т. е. 9 шаров белых при 4 черных, то по одному разу вышел только Сухово-Кобылин, получивший (был записан 2 голоса-

---

[1] Письма Н.П. Кондакова к А.П. Чехову. Публикации и примечания Н.Н. Гитович // Известия АН СССР.

[2] См.: Хроника театра и искусства // Театр и Искусство. СПб. 1900. № 5. 30 января. С. 102.

[3] См.: Сигма <Сыромятников С. Н.>. О Российской Академии // Новое Время. СПб.1900. № 8587. 23 января (4 февраля) № С. 2.

[4] В.С.К. < В. С. Кривенко> Забытый // Новое Время. 1900. № 8588. 24 января (5 февраля). С. 3.

ми) 12 белых».[1] А нижегородский Буревестник вместе с прочими кандидатами баллотировался 22 раза, пока не набрал наконец-то нужного числа белых шаров[2].

1 марта «Новое Время» извещает: В «соединенном заседании Императорской Академии Наук и разряда изящной словесности закрытою баллотировкою шарами, были произведены согласно с существующими постановлениями выборы в почетные академики разряда изящной словесности. Избранными оказались: Александр Васильевич Сухово-Кобылин и Алексей Максимович Пешков (Максим Горький)»[3].

Художник Карл Штейн посвятил новым академикам остроумный шарж в «Петербургской Газете». Сухово-Кобылин, прибывший в своем экипаже, поднимается по парадной лестнице в академию, где заседают почетные академики А.П. Чехов, А.А. Потехин и В.Г. Короленко. Перед академией, около телеги, на которой сидят босяки, стоит Горький, одетый как крестьянин-извозчик, держит на поводу лошадь и удивляется: «И сам я никак не ожидал, что моя клячонка с такими седоками привезет меня сюда, да еще одновременно с Сухово-Кобылиным».[4] Шарж на эту же тему опубликовал и петербургский художественный журнал «Шут»[5].

Казалось бы, запоздалый, очень запоздалый – на 85-м году жизни! – но безоговорочный триумф великого писателя. Однако заглянем за кулисы выборов почетных академиков.

Накануне выборов Председательствующий в Отделении русского языка и словесности академик Александр Николаевич Веселовский получил от 13 академиков, в том числе от В.Г. Короленко, А.А. Потехина, А.Н. Пыпина, П.Д. Боборыкина, А.Ф. Кони, В.В. Стасова, предложения о кандидатах в почетные академики. И ни в одном из предложений не было названо имя Сухово-Кобылина![6] Что ж, неужели снова забыт?

Но открываем «Сводный список лиц, сделанный рукою А.Н. Веселовского, кандидатов в почетные академики, представленных от 14 лиц»[7]. И тут-то впервые находим имя Сухово-Кобылина! Великий филолог не только сам внес драматурга в сводный список, но он же, видимо, и уговорил академиков проголосовать за него. Вот почему почти все сразу поддержали Сухово-Кобылина. Сам писатель об этих закулисных подробностях, разумеется, так ничего не знал и не узнал.

25 февраля 1902 года диплом нового почетного академика на бумаге с гербом Российской империи был готов:

«В соединенном собрании Отделения русского языка и литературы и Разряда изящной словесности И м п е р а т о р с к о й Академии Наук 25-го февраля 1902 года избран в Почетные Академики Александр Васильевич Сухово-Кобылин.

Президент
И м п е р а т о р с к о й Академии Наук Константин
Председательствующий в Отделении
Русского языка и словесности, Академик А. Веселовский»[8]

---

[1] *Письма Н.П. Кондакова к А.П. Чехову. С. 38.*
[2] *Там же.*
[3] *Хроника // Новое Время. 1902. № 9335. 1 (14) марта. С. 3. Подчеркнуто в тексте и надпись Сухово-Кобылина слева на полях: «Нов. Время. 1-го Марта 1902 г.» (РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 353. Л. 431. Альбом газетных вырезок драматурга).*
[4] *Петербургская Газета. 1902. № 67. 10 марта. С. 6.*
[5] *Шут. СПб. 1902. № 10. С. 2.*
[6] *См.: Архив РАН. Петербургский филиал. Ф. 9. Оп. 5. Е. хр. 3. Л. 36, 38, 40-44, 46-47, 49-52.*
[7] *Там же. Беловой автограф черными чернилами. Л. 53. На самом деле списки представили 13 человек: Чехов в это время жил в Ялте.*
[8] *РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 312. Л. 1.*

Но как известить об этом Сухово-Кобылина, живущего во Франции? 26 февраля Великий князь Константин Константинович пишет П.Д. Боборыкину: «Имею честь покорнейше просить Вас не отказать принять на себя труд передать прилагаемое при сем письмо с извещением о выборе в Почетные Академики А.В. Сухово-Кобылина»[1].

А вот текст «прилагаемого при сем письма» Президента Императорской Академии наук Сухово-Кобылину:

«Милостивый Государь
Александр Васильевич!

Имею честь уведомить Вас, что соединенное собрание Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности Императорской Академии Наук в последнем своем заседании, состоявшемся 25-го сего февраля, избрало Вас в Почетные Академики по Разряду изящной словесности.

Диплом на означенное звание будет доставлен Вам по настоящему адресу в самом непродолжительном времени»[2].

А Сухово-Кобылин, как он записывает в дневнике, узнал радостную новость вечером 2 (15 марта),[3] получив номер «Нового Времени». Драматург, сроду не видавший никаких официальных наград или почетных званий, не знает, как следует поступать в такой необычной для него ситуации. Его добрый знакомый, сосед по вилле в Больё – историк и социолог М.М. Ковалевского тактично подсказывает: «Когда будет получен Диплом от Председателя, Великого Князя, то надо будет ответить и благодарить»[4].

Наконец, запись 23 марта (5 апреля): «Получен от Президента Импер<аторской> Академ<ии> Наук Великого Князя Конст<антина> Констант<иновича> Диплом Почетного Академика».[5] Диплом и письмо, понятно, привез П.Д. Боборыкин. О своем приезде в Больё романист кратко упоминает в своих мемуарах, не забыв добавить, что он положил за Сухово-Кобылина «шар, когда его баллотировали в почетные академики»[6].

И Сухово-Кобылин начинает писать ответ Великому князю Константину Константиновичу:

«Ваше Императорское Высочество
Великий Князь Константин Константинович.

Спешу принести мое искреннейшее Благодарение за Внимание Вашего Высочества к моим посильным трудам в сфере изящной Литературы.

Имею честь пребыть Вашего Императорского Высочества
покорным и преданным Слугою

А. Сухово-Кобылин.
28 Mars 1902.
Villa Ma Maisonnette.
Beaulieu. Alpes M-mes»[7]

---

[1] *Там же. Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 54.*

[2] *Цит. по: Гроссман Л.П.Преступление Сухово-Кобылина. 2-е изд., доп. – Л.: Прибой. С. 267.*

[3] *См.: РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 253. Л. 75.*

[4] *Там же.*

[5] *Там же. Л. 76.*

[6] *Боборыкин П.Д. За полвека // Дело Сухово-Кобылина. – М.: Новое литературное обозрение. 2002. С. 369.*

[7] *Архив РАН. Петербургский филиал. Ф. 9. Оп. 5. Ед. хр. 3. Л. 59. Писарская копия. Слова «покорным и преданным Слугою» и подпись – рукою Сухово-Кобылина. Впервые напеч. (без выделения слов, начинающихся с прописных букв): Гроссман Л.П. Указ. Соч. С. 267.*

Это скромное официальное послание, над которым драматург сверх тщательно трудился несколько дней, было отправлено только 28 марта (10 апреля)! В архиве Сухово-Кобылина сохранилось 13 (!) авторских и писарских копий с его правкой[1].

Больше всех и искреннее всех радовались официальному признанию литературных заслуг Сухово-Кобылина его родные. Первое поздравление драматургу, датированное 2 марта, пришло из Тамбова, от его любимого племянника Василия Михайловича Петрово-Соловово, сына Евдокии Васильевны, младшей сестры писателя.

«Любезный друг Дядя!

Сегодня утром прочел я в газетах об избрании тебя почетным академиком Академии Наук. От всей души поздравляю тебя и радуюсь, что твои литературные заслуги нашли наконец достойную оценку. Отныне имя Сухово-Кобылина будет красоваться в Пантеоне русской науки наряду с именами тех, кто тем или иным способом содействовал возвышению нашей духовной культуры. После всех огорчений и разочарований, которые в таком изобилии доставила тебе жизнь, такое хотя и позднее признание твоих заслуг перед Россией особо отрадно и тебе самому и всем, кто питает к тебе чувства дружбы и привязанности»[2].

[1] *См.: РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 261. Л. 1-13.*

[2] *РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 293. Л. 1-1 об. Беловой автограф.*

Сергей СЛЕПУХИН

В УНИСОН С ВЕКОМ

Надежда Мальцева. Навязчивый мотив: 1990–2001. – М.: Водолей, 2011. – 160 с.

Два-три звука, объединенные акцентом, простейшая часть музыкального сюжета – мотив.

Кружевной или вышитый узор на ткани судьбы. Докучливый, безотвязный, надоедливый, прилипчивый и нахальный. Навязчивый, неотступный, непроизвольный, болезненный...

Так всегда: выявляешь для себя опорные ориентиры, рисуешь мелодическую линию, сопоставляешь планы – тональный и гармонический, отмечаешь особенности фактуры и формы, добиваешься художественной выразительности. Рождается музыкальная память. Она неразрывна с памятью зрительной, словесно-логической и эмоциональной. Вместе они составляют жизнь, век человека.

Считается, что слова ненадежные посредники для передачи главного. Только музыка вызывает вдохновение, дает полное ощущение жизни, очищает от беспокойства, напряжения, чувства вины и страха. В этом легко убедиться, взяв в руки книгу «Навязчивый мотив». Надежда Мальцева писала ее почти двадцать лет, а это, согласитесь, существенная часть человеческой жизни.

Автор сборника – поэт старшего поколения. Пятнадцатилетняя Надя свои стихи читала еще Анне Ахматовой, и Ахматовой они нравились. В начале шестидесятых Мальцеву жестко критиковали. Потом наступило время замалчивания и отлучения от литературных журналов. Многие годы московская интеллигенция знакомилась со стихами Надежды, передавая их из рук в руки... Круг читателей был достаточно обширным и при этом сохранял неформальный характер. Взаимное доверие и понимание переживалось как чувство общности и сопричастности. Стихи Мальцевой были ориентированы на возникшую в те годы авторскую песню, «поющуюся поэзию», как называл ее Булат Окуджава. Поэтому стихотворчество навсегда стало для Надежды Мальцевой искусством глубоко интимным и даже исповедальным.

Жизнь, «играющая тебя в балагане», не имеет строго определенной музыкальной формы. Чаще всего она, жизнь, совершает полный оборот в два такта с тремя шагами в каждом. «Вальс, плывущий в тумане», «вальс в три четверти века», «вальс в тысячу тактов для шапито на необитаемом острове». Летит, «словно черный косяк оргий, феерий, валькирий, викторий». Плывет, как пророчил Бенн, «пока не опустилась мгла».

Отпускаю тебя... Отпускаю!
Видишь, небо открылось? Лети!

Время то кружится в «мазурке отпа́дной» (пунктирный ритм, резкие скачки), то переходит на быстрый мелкий скользящий шаг в синкопированном ритме – фокстрот «на разрыв аорты». Бывает патетично, стремительно, переполнено импровизациями, как венгерка из рапсодий Листа, а иногда способно всех выстроить цепью, сомкнуть круг, увлечь в пляс, хоровод, коло, хору, сырбу... В финале жизни особенно бывает популярна величественная чакона – для скрипки с басом или для скрипки соло.

Дека треснула, ступился щипок,
струны порваны – одна уцелела,
за нее-то и держусь, видит Бог,
лишь бы плакала она, лишь бы пела.

Считалось, «нам песня строить и жить помогает». С детства она вела то в пионерский лагерь, то – в лагерь концентрационный. Звала на субботник, целину, полюс, БАМ, Афганистан. С песней наши соотечественники мечтали о Парнасе Светлого будущего и уходили в темный Аид Гулага...

В белом платке вниз по реке
и в черном платке вверх по реке,
но смерть всегда по левой руке,
а жизнь по правой руке.

К началу семидесятых, периоду творческо-

го взросления поэта, обретения им мастерства, многим стало очевидно, что «розовые» надежды на «социализм с человеческим лицом», увы, не оправдались. «И вот мы одни – не поем и не строим, / не славим ни старый, ни новый режим...» «Пражская весна» сменилась «заморозками», борьбой с «абстракционизьмом», «ревизионизьмом», всеобщей апатией и шизофренией. Реакцией на сладкозвучное и приглаженное официальное стихотворчество стала в те годы поэзия «внутренней эмиграции», катакомбная культура, позднее названная «андерграундом».

Так поделимся пеплом, летящим сквозь
город на святки,
переходом в иные пространства,
веселым вертепом,
где спасется дитя, что играет
Везувием в прятки,
что играет еще в Вифлеем с этим
миром нелепым!

Вот и зернышко «Навязчивого мотива» было посеяно в то далекое время. Семя выпало из ладони Нади Мальцевой, а руку песнопевца направили Осип Мандельштам, Александр Галич, Аркадий Штейнберг, Ляля Черная, Юз Алешковский. И еще многие другие барды, гусляры, кобзари.

С начала девяностых до teen-десятилетия нового века Мальцева собирала книгу. Главная задача виделась ею в том, чтобы убедительно воспроизвести все звуковые особенности мелодии эпохи, найти верное слово, музыкальную интонацию, тембр голоса, артикуляцию, мимику, жест.

Инструменты? – Пожалуйста!

Рояль – любительский, профессиональный, статусный или антуражный. C.Bechstein, Steinway&Sons, Bösendorfer, Fazioli.

Не премиум-класс? Низкобюджетный? – Имеется и такой!

Фортепьяно, скрипка, губная гармоника, орган, рожок, кельтская арфа.

Топор и пила. Ветер и корабельные склянки. Спичечные коробки. Шипение кислородного баллона.

Тромба марина, Trumscheit, «морская труба». Сигнал бедствия затонувших субмарин «Максим Горький», «Комсомолец», «Курск».

Ключ Морзе, винтажный «виброплекс», прием на высоких скоростях, сто двадцать пять знаков в минуту.

Языки колоколов и колокольчиков – благовестников и курантов, рынд и карильонов.

Язычки, колеблемые воздушной волной харпера – блюграсс, блюз-рок, фольк и поп.

Соловьиные язычки а-ля леди Макбет.

Язычок менестрельский прищелкивающий. Голос непоставленный.

«Lied ohne Worte», «песня без слов». Пропущенные такты. Трехминутное молчание.

Хрипящая радиола, «затертая» пластинка, «жеваная» магнитофонная лента...

Tapeur в переводе с французского означает «хлопать», «стучать». Тапером называли музыканта, преимущественно пианиста, сопровождавшего своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии – немые фильмы. Его пианино было инструментом низкого качества, бедняга вынужден был отчаянно стучать по клавишам. «Не стреляйте в тапёра, он играет как умеет!» – гласит старый американский анекдот. Жизнь тоже иногда бесчувственно играет наши судьбы, хотя и старается правдоподобно воспроизвести польки, вальсы, кадрили.

На месте ли небо? На месте, на месте,
и так-таки вертится шар голубой,
и старый тапер на разбитой челесте
играет вступление в вечный покой.

Маэстро Мальцева подхватывает мелодию, начинается игра в четыре руки. Пылкий темперамент. Живо и глубоко. Псалмы, стихиры, канты, плачи, благовесты. Романсы, элегии, серенады. Колыбельные и реквиемы. У автора «Навязчивого мотива» безупречный вкус и слух, он отлично ощущает звучание слова. Его манера запоминается: выдумка и безграничное разнообразие приемов. Музыка льется легко,

без аффектации, дыхание – спирает! Тапер? – Нет! Виртуоз-импровизатор!

Кто заказывал музыку, тот господин
в голубом?
Передайте ему, что сегодня рояль
в отпуску,
что сгорел таксопарк, что вот-вот
повезет дураку,
что, разбив зеркала, в ту же стену
врубаешься лбом!..

Музыка – не только прекрасный способ стирания мыслей, но и средство извлечения из памяти прошлого. Когда поэтом овладевают музы, он пьет из источника знания Мнемосины. Это значит, он прикасается к познанию «истоков» и «начал».

В сборнике Мальцева нередко обращается к музыкальной реминисценции. Reminiscentia означает «воспоминание». Поэт, исполняющий роль композитора, использует мотив как напоминание о первом, более раннем его проведении. Название стихотворения «По вечерам за фортепьянами» вызывает в памяти блоковские строки о Незнакомке, «Старая, старая песня» – «Старую старую сказку», «Ночи черные» – «Очи черные», «Рондо для сорока тысяч братьев» – одновременно «Рокко и его братьев» и «сорок разбойников».

По разбитым дорогам
в одеяньи убогом
принц неузнанный датский,
позабыт-позаброшен,
как и прежде, бредет...
И матросик кронштадский
по датчанину влёт
бьёт и бьёт из рогатки
горстью спелых горошин,
спертых в срочном порядке
с императорской кухни:
«Эх, зеленая, ухни!..
Ты пойдешь ли сама?»

Эту же роль в книге Мальцевой играет эпиграф. Большинство стихотворцев «отталкивается» от выделенных, набранных курсивом строк, развивает мысль, в них заключенную, Мальцева же использует эпиграф для того, чтобы напомнить целое стихотворение и нередко версию стиха, положенную на музыку. С матричным текстом она спорит, отражает в нем собственное стихотворение. Вот эпиграф из городской безделицы: «тра-та-та на розовом слоне». И оказывается, глупенькая песня-однодневка способна вызвать на свет вечное и бессмертное: «Не жалею, не зову, не плачу, / Все пройдет, как с белых яблонь дым. /Увяданья золотом охваченный, / Я не буду больше молодым».

Если эра «великих строек» пыталась во всем утвердить духовный консонанс, то мотивы человеческих судеб постоянно вступали с этим утверждением в яростное противоречие. Но как в стихотворении показать это несоответствие? – Негармоничным сочетанием музыкальных звуков, неслитным звучанием тонов, противопоставлением. Диссонансом, одним словом! Если вещий ворон Эдгара По кричит «Nevermore!» («Никогда!»), то созвучным этому может быть только «Мэри молвит: “Карр!..”». Умный да поймет, что это диссонанс лозунговому «Пусть всегда!».

Часто автор устраивает для себя и читателя небольшое развлечение, дивертисме нт (от французского divertissement — «увеселение»). Так еще музыканты называют сочинение, составленное из нескольких небольших, легко обработанных пьес. Вот и сочиняет Надежда Мальцева легко и принужденно «под килечку на черствой корке» стихотворение-дивертисмент, где нет-нет, да и проскочит (хохмы ради, или потому что «сказка – ложь, да в ней намек»?) инородная строчка из чужого сада-огорода. «Пара гнедых, только пара гнедых...» – из старинного романса; «...если я усну, шмонать меня не надо» – из блатного «шансона»; «здесь под небом чужим я как гость нежеланный» – лагерные «Журавли», хит 50-х, зазвучавший сразу после смерти Сталина «на ребрах» – кустарных пластинках из использованной рентгеновской фотопленки; «нам нет преград ни в море, ни на суше!..» – конечно же, «Марш энтузиастов» с жизнеутверждающей музыкой Исаака Дунаевского. Многоголосие эпохи, полифония советской столицы. Веселый грохот, огни и звоны «страны мечтателей, страны ученых», людей, умеющих в этой дикой какофонии скрыть свое неподдельное горе.

Жизнь течет, как текла. Как же страшно,
что мы уцелели.
С толком мыля веревку и сдавшись обычной
хандре,
мы и в лучшие годы дышали уже еле-еле,
и застыли во времени, как мошкара в янтаре,
в ожиданьи суда, без надежды на фатер
и муттер,
проживая века за один только сердца удар,
но по-своему правит нас куцей программой
компьютер
и намеренно Божий с яичницей путает дар.

Хорошо известно, что стихи Надежды Мальцевой высоко ценила великая пианистка Мария Юдина. Но «Навязчивый мотив» адресован далеко не всем и не каждому. Строки эти обращены к тем, кому автор доверяет, кто готов разделить с ним мысли и чувства, кто настроен в унисон с веком.

Елена ВЛАДИМИРОВА

ЛЮБОВЬ НА ОЩУПЬ И НА ВКУС...

Алексей А. Шепелёв. Сахар: сладкое стекло/ Предисл. С. Бирюкова. – М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2011. – 64 с.

Алексей А. Шепелёв продолжает удивлять литературных гурманов, восхищать нонконформистов и шокировать благонадежных критиков. Его книга «сахар: сладкое стекло» являет поэтические тексты декады 1997–2007 годов.

Чтобы создать что-то совершенное, нужно обладать либо бесстрастием демиурга, либо божественной любовью. Человеку не дано ни того, ни другого. И в результате получается мир, в котором перестарались с какой-то одной краской. Красной? Или черной? Или она вообще за пределами спектра? Потому что на первый взгляд все привычно, кроме, может быть, формы стиха. Все обставлено знакомыми вещами, лицами, которые мы привыкли видеть каждый день. Но всего один миг, секундное движение глаз, неосторожно спугнувших устоявшуюся картинку, – и ты видишь, каково оно все изнутри: «существо парное копытное», «шпрынцовка толстая как шампиньон», аромат «свежевы» и мытого пола, и многое другое.

Человек обиделся на Бога, в котором не нашел Отца, а нашел только равнодушного экспериментатора. И в ответ тоже решил поэкспериментировать с Богом, который есть Любовь и который был вначале. Авангардистские эксперименты Алексея А. Шепелёва со Словом по-настоящему вызывающи. Здесь подлинная и сильная, до тряски в руках, ненависть к пошлости. Пошлость – это уверенная в себе добродетель, это «мальчик молчит / где девочка очень / пропасть в пропасти норовит...». Стихотворение «Великолепная система», думается, вообще посвящено тем, кто хочет прикоснуться к манифесту отрицания, не имея для этого ни смелости, ни призвания, ни соответствующего жизненного опыта.

Может быть, «сочным свиным небесам» можно бы противопоставить что-то возвышенное. Только пафос, по Шепелёву, более пошл, чем цинизм. И если «поющие в терновнике» – это вершина, апофеоз, пусть даже апофеоз боли, то «гниющие в кружовнике» – это дно, экстремум падения. Тоже своего рода вершина. Тем более что и у крыжовника есть шипы...

Эксперименты с любовью – тема больная и опасная. Любовь уже стоит за спиной со скальпелем в руке и плотоядной улыбочкой маньяка. Скальпель, правда, еще и орудие врача. Но автор не позволяет залечивать раны. Он их, скорее, бередит. Возможно, потому что слышал о том, что через страдание приходят истина и спасение. Только, кажется, это не то страдание, что обычно связывают с искуплением. Но что значит «то» страдание? И где «та» любовь, та самая, что «долго терпит, милосердствует, не ищет своего...»?

Автор этого тоже не знает. Ему знакома любовь-уничтожение, любовь, с которой играть опасно, как с огнем, но не играть невозможно. Потому что каждое движение любви – это вызов. Если у тебя не хватает духу кинуться грудью на скальпель, ты проиграл. Но и принятие вызова не гарантирует того, что ты не окажешься в роли побежденного, которому ничего не остается, как отыгрываться уже на своих собственных жертвах.

Победа невозможна, удовлетворение в любви невозможно в принципе, но хотя бы вырисовываются «гениальные» строки. Только обретая болезненную сверхчувствительность, можно создать что-то стоящее. Если исключить чифир, то сверхчувствительность можно получить, если жизнь тебя хорошенько побьет. Разница между первым и вторым для неосведомленных неразличима. Особенно если побитый с вызывающим цинизмом будет отрицать, что страдает. Все равно никто не поверит.

Елена ТРУБЕЦКОВА

ПИСАТЕЛЬ ДЛЯ «ЗАЧЕРКНУТЫХ»

А.В. Сухово-Кобылин: pro et contra / Вступ. статья В.М. Селезнева; сост., подготовка текста и коммент. В.М. Селезнева и Е.О. Селезневой. – СПб.: РХГА, 2010. –768 с. – (Русский Путь)

Сигизмунд Кржижановский, тонкий прозаик 20–30-х годов, говорил, что все писатели делятся на «зачеркнутых» и «зачеркивающих». Настоящая литература, по его мнению, всегда о «зачеркнутом» и для «зачеркнутых».

Посвящение очередного тома академической серии «Русский Путь», более известной широкому читателю как «Pro et contra», Сухово-Кобылину, на первый взгляд, неожиданно. До этого вышли книги о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Тютчеве, Толстом, Чехове, Бунине, Ахматовой, Набокове... Сухово-Кобылин, казалось бы, – писатель другого масштаба. Его имя лишь эпизодически упоминается в вузовских учебниках и зачастую отсутствует даже в программах филологических факультетов университетов. Но из материалов, представленных в антологии (мемуаров, критических статей и рецензий, по крупицам собранных составителями тома в фондах литературных архивов и на страницах периодики XIX – нач. XX вв.), перед нами предстает очень интересная, самобытная личность драматурга и мыслителя, отразившего противоречивую эпоху XIX века, а в чем-то и предвосхитившего художественные искания XX столетия.

Большинству читателей, да и специалистов, А.В. Сухово-Кобылин известен как автор «Свадьбы Кречинского», шедшей с аншлагом на сцене московских и петербургских театров, сравниваемой современниками с «Горем от ума» и лучшими пьесами Островского. В XX веке были блестящие постановки «Свадьбы» В. Мейерхольда, Н. Анисимова, Л. Хейфеца. Две другие части трилогии Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» («Дело» и «Смерть Тарелкина») на долгое время были запрещены цензурой. Современники вспоминали, что когда в 1900 году после 35-летнего запрета «Смерть Тарелкина» была все-таки поставлена и по окончании спектакля стали вызывать автора, многие зашикали: были уверены, что Сухово-Кобылин давно умер (автору шел тогда восемьдесят третий год, а «Свадьба Кречинского» была впервые поставлена почти за полвека до этого – в 1855 году). Этот эпизод вызывает в памяти современного читателя и более поздний печальный аналог – недоумение западных журналистов при встрече с Ахматовой в послевоенные годы: некоторые из них считали, что она умерла в начале двадцатых, на протяжении четверти века они ничего не слышали о ней.

Собранные в антологиии отзывы актеров и режиссеров, прижизненные рецензии, отрывки из более поздних специальных исследований дают широкий спектр восприятия трилогии Сухово-Кобылина: от полного ее отрицания, суждения о ней как об обличительном памфлете, устаревшей плоской социальной сатире, до восхищения ее языком, юмором, сценичностью (А. Гнедич), утверждений о «проглядывании» в ней «черт древней символистской драмы» (А. Блок), вечной актуальности проблем и характеров (В. Мейерхольд, Н. Акимов), о предвосхищении кафкианского театра абсурда (Вяч. Вс. Иванов).

Из воспоминаний современников и писем (многие из которых публикуются впервые) складывается по штрихам биография Сухово-Кобылина, сама по себе представляющая романный сюжет: принадлежность к старинному дворянскому роду; знакомство в юности с К. Аксаковым, А. Герценом; Золотая медаль Московского университета за математическую работу по «Теории цепной линии»; учеба в Гейдельберге и Берлине; обвинение в убийстве

любовницы-француженки, тюрьма и изнуряющее следствие по этому делу на протяжении семи лет; пожар в усадьбе в 1899 году, уничтоживший многолетний труд писателя – перевод всех сочинений Гегеля на русский язык; цензурный запрет произведений и борьба за их выход на сцену; неожиданное избрание Почетным Академиком Российской Академии Наук в 1902 году...

Судьба писателя, не вписывающегося в свое время, «неудобного» и непредсказуемого, оказалась очень созвучной истории литературы XX века. И думается, многолетний интерес к творчеству Сухово-Кобылина составителя тома В.М. Селезнева – серьезного историка литературы, русской мысли и диссидентского движения, ученика Ю.Г. Оксмана – обусловлен не только эстетическими, но и личностными факторами. Материалы о Сухово-Кобылине В.М. Селезнев собирал по архивам несколько десятков лет. При деятельном участии Е.О. Селезневой он проделал работу, сопоставимую с трудом научно-исследовательского института. В 1985 году В.М. Селезневу удалось отыскать экземпляр лейпцигского издания второй части драматической трилогии писателя «Дело» (1861 год). Кроме библиографической ценности (книги этого издания считались утраченными), этот экземпляр уникален тем, что был подарен автором матери.

Том антологии сопровождает большая информативная вступительная статья исследователя и детальные комментарии, занимающие более полутораста страниц.

К сожалению, в книге отсутствует полная библиография произведений Сухово-Кобылина и работ о нем – раздел традиционный для серии «Pro et contra», о значимости которого для дальнейшего изучения писателя говорить излишне. Многие библиографические сведения содержатся в примечаниях и комментариях. Но выделение их в особый отдел было бы, несомненно, целесообразным.

Д. Галковский в романе «Бесконечный тупик» писал: «Если сейчас спросить о Сухово-Кобылине, то образованный русский скажет, что это автор известной трилогии, назовет Кречинского и т.д. И лишь один из тысячи образованных добавит, что Сухово-Кобылин последние двадцать лет своей жизни писал огромный труд по философии». Именно его он считал главным делом своей жизни. Десятки лет переводя сочинения Гегеля и развивая его идеи, Сухово-Кобылин создал «Учение Всемира», предложил математическую формулу для «поверки гегелизма». «Уравнение Всемира», синтез философского учения и математических формул у современного читателя сразу вызывает ассоциации с Велимиром Хлебниковым, но создано оно Сухово-Кобылиным до возникновения футуризма.

К сожалению, большая часть философских работ автора была утрачена: они сгорели во время пожара в усадьбе писателя в 1899 году. Сохранились отдельные фрагменты. Философские сочинения писателя остались непонятыми и невостребованными. Интерес к ним возник только спустя сто лет после их создания – в 1990-е (см. приводимый составителями список критических работ, посвященных вопросам философского наследия писателя на с. 707–709). И исследователи обнаружили удивительное предвосхищение в трудах Сухово-Кобылина философских и естественнонаучных концепций XX века. Писатель снова обогнал свое время...

Выход книги, содержащей редкие малодоступные материалы о Сухово-Кобылине, актуален; хочется надеяться, что он станет новым этапом в осмыслении творческого наследия писателя и философа.

Елена САФРОНОВА

СВОБОДА В СКОБКАХ

Александр Колесник. На воле. Повесть. – Урал, N 8, 2011.

Несколько слов об авторе повести. Александр Колесник – прозаик и драматург, родился в 1975 году в Днепропетровске. Закончил теплофизический факультет Днепропетровского металлургического института; работал режиссером на различных каналах Днепропетровского и Киевского телевидения. Пьеса «Авторский проект» заняла второе место на Международном конкурсе молодой драматургии «Свободный театр» (2007). Проза публи-

ковалась в «Урале». В настоящее время отбывает срок в местах лишения свободы.

Новая повесть Александра Колесника – «(на воле)» – называется именно так, это орфография оригинала. В журнале «Урал» она была названа «На воле»: связь с автором, по упомянутой выше причине, была прервана, нюансы остались без уточнения.

Однако вместе со скобками оказался, увы, утерян главный, весьма саркастический смысл, вложенный автором в название: свободы не существует, мы все существуем внутри скобок, то есть в мире ограничений. Далее, в первой же фразе (первая глава так и называется «Кусочки») этот смысл детализуется: «Ни разу не получалось объять все сразу. Только кусочек». (Кстати: как вам – так, сходу, – уровень притязаний?)

Повесть по объему невелика, литературными «изысками», скорее, бедна. Может быть, даже скудна, проста и резка, как разговор зеков или пацанов. Однако в ней есть потенциал, способный «потрясти» здание современной русской прозы. Как раз благодаря ее почти вызывающей непосредственности, простоте и резкости. Дело в том, что, на мой взгляд, это – одно из лучших сегодняшних произведений о трагическом несоответствии идеалов реальности благим жизненным правилам. На эту глубинную всечеловеческую тему невозможно написать «слишком много» – кстати сказать, и не пишется, так как, вероятно, немногие осмеливаются жить и действовать согласно идеалам (даже молодые герои молодых писателей). Потому повесть «(на воле)» стоит особняком среди других повестей и романов.

Вкратце обрисую сюжет. Центральный персонаж (парень 19-ти лет) попал в автомобильную катастрофу. Его обвиняют в том, что лобовое столкновение двух машин спровоцировал – и тем самым привел к смерти троих пассажиров встречного автомобиля – именно он. Заведено уголовное дело, обвинения против парня серьезны, он сидит в камере предварительного заключения... Фемида предполагает выплату колоссальной денежной компенсации. Если герой эту компенсацию выплатит, то наказание будет смягчено.

Вывод, который читается между строк – «внеуголовный»: оказывается, деньгами можно, в данном случае, вполне «залатать» трагедию потерпевшей стороны, равно как и собственную репутацию. И аннулировать чувство вины (а оно ведь гложет парня!..). Из «плохого» моментально стать «хорошим». Значит, все-таки выкуп?.. Ну, да Бог с ним, как ни называй, а эта выплата – главный сюжетообразующий ход повести.

Речь идет о крупной сумме (в тексте звучит «пятьдесят кусков», судя по всему, не украинской валюты). Молодого человека выпускают из тюрьмы на ограниченный (будто теми же, что в названии повести, скобками) срок – чтобы он собрал деньги. Краткий отрезок времени, в течение которого герой «тыняется» (излюбленный, очень украинский глагол Александра Колесника, семантически подчеркивающий разом монотонность и безнадежность попыток) раздобыть гигантскую сумму, автор и назвал без затей словами «(на воле)».

После катастрофы и кратковременного предварительного заключения (далее – он ожидает суда по подписке о невыезде) у парня «открылись глаза», и он видит мир совсем иным: то в нем назойливо выходит на первый план «memento mori», то бьет под дых откровенная фальшь благополучного бытия остальных, не побывавших в такой переделке, хотя и не застрахованных от нее. Никто не рвется помочь парню деньгами, но все обожают зазывать его в гости и выслушивать его «скорбную повесть».

На этом лицемерном фоне герой тянется, как к последнему упованию, к некоему безымянному «террористу», который призывает его заработать деньги, заодно перевернув общественные устои. Молодые люди пытаются разжиться деньгами, а заодно и превесело провести время; все вместе – по классической американской формуле: «Sex, drugs and rock-n-roll». Весьма карикатурно описывается, как они начинают съемки любительского порно – не могут продать ни ролика, так как лучшим кадром в унылой тягомотине оказывается... фрагмент фильма «Челюсти», случайно выхваченный из работающего телевизора. Затем они пытаются продать несуществующие наркотики, надеясь, что получится, опять же, как в американском кино: на встрече полиции и мафии противоположные стороны друг дру-

га перестреляют, а мошенникам (как «умным обезьянам») достанутся деньги от одних и наркотики от других.

Но наша мафия, равно как и наша милиция, вполне обходится без киношно-американизированных героев. Тогда упомянутые герои начинают совершать террористические акты (не пугайтесь – без жертв!) – ради компенсационных денег (мотив персонажа-рассказчика) и ради того, чтобы «просто повзрывать» (мотив террориста). Тут-то рассказчика и вяжут. А террорист исчезает неизвестно куда. Отбывая предварительное заключение по уже разросшемуся уголовному делу, рассказчик узнает от адвоката, что долгая экспертиза показала... его невиновность в деле об автомобильной катастрофе. Она, оказывается, произошла из-за неполадки с деталями: «виновата» как бы машина. Там, в том деле, он невиновен. Но здесь, в новой заварухе, несет ответственность за терроризм.

Бросается в глаза и не оставляет равнодушным подчеркнутая детскость главного героя повести Александра Колесника, наивность и прямота его, граничащая с подростковой жестокостью и неразборчивостью в средствах достижения своей цели. Но в том, что цель поставлена изначально ложная, виноват ли он один – либо все те, кто ставит его в такие условия?.. Варварская честность молодого парня диссонирует с изворотливостью «правосудия» – как целенаправленного, узко-уголовного, так и более широкого – житейского, трафаретно-этического.

Ибо «в мире взрослых», в чуждом парню мире, неизбывная вина и экзистенциальная трагедия автоматически переводятся в разряд ободрительного похлопывания по плечу – были бы деньги. Так что диссонанс происходит даже не с системой юрисдикции – масштаб-то изначально заявлен исполинский, даже если это не вполне по силам и не по силенкам ни герою, ни автору – а с изворотливостью «мира взрослых людей», то есть данного нам.

А кто, собственно, герой Александра Колесника? А он... романтик! Ведь романтизм – как философия, так и литературное течение – есть не что иное, как жесточайший терроризм. Беспощадные террористические взрывы сознания.... Кого? Безоблачных, безбурных, безмятежных, прекраснодушных аборигенов сего мира.

А вот старания парня вписаться во «взрослую жизнь» – тщетны. Ведь все его попытки, списанные с романтического героя-одиночки, от странствующего рыцаря до благородного разбойника либо «честного полицейского» – с образа, не существующего в реальности, но кем-то правдоподобно придуманного, – достать жизненно важную сумму, оканчиваются пшиком. И потому симпатии читателя, как в случае, допустим, с Робином Гудом либо жуликами О.Генри, остаются на стороне этого бедолаги. Тем более что он неподдельно страдает, переживая (и пересказывая) свою вину, которой буквально дышит повесть.

Можно, пожалуй, сказать, что писатель Александр Колесник вывел нового архетипического героя будущего – это (цитирую, с его разрешения, частное высказывание автора) двенадцатилетний мальчуган с пластмассовым пехалем в кулаке (данное оружие заменило меч-Экскалибур, но натура его носителя осталась прежней). Таких противоречивых и живых образов в современной русскоязычной литературе немного.

За создание и убедительное транслирование образа нового «героя нашего времени» (где слово «герой» употреблено без иронии, но с горечью и сочувствием) писателю моя благодарность критика.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ИНФОРМАЦИЯ К ПОРАЖЕНИЮ

Новейшая история обыкновенного безумия

Роман Сенчин. Информация. – М.: ЭКСМО, 2011. – 488 с.

Роман Сенчин – 40 лет, Москва, писатель, в последней книге «Информация» в очередной раз, петляя и скрипя тормозами, выходит на основную свою колею – историю провинциала, маленького, лишнего человека, снова потерпевшего поражение.

Природа житейских драм и крахов, по Сенчину, жестока и бесспорна: изменчивый мир никогда не прогнется под нас – это пустая

и вредная иллюзия. Но и прогибаться под него – лишено смысла. Гнешься, гнешься, раз – и сломался.

Об этом все книги и персонажи писателя – мелкие коммерсы, ларечные продавщицы, вхолостую лабающие рокеры, их подружки, соседи и собутыльники. Семейство милицейского капитана, съехавшее на погибель в деревню...

Казалось, куда дальше «Елтышевых» – с их надсадной скоростью умерщвления и реальным вкусом земли во рту после прочтения романа. Оказалось, можно и нужно. Не по фактуре и фабуле, но – в инструментах и методах. В «Информации» процесс перехода социального реализма в тотальный абсурд почти не поддается фиксации и пропорциям. Это уже какое-то ровное русское поле экспериментов – не то социальный абсурд, не то абсурдный реализм. Причем вывозит нас Сенчин на эту поляну на щадящей скорости, без помощи сильнодействующих средств.

Он долго и трудолюбиво шел к своему нынешнему – негромкому – статусу. Русского писателя вне поколений, литературоведческих кластеров и даже вне географии. Родился в Кызыле (Тыва), живал в деревне, Питере, Абакане и Минусинске – похоже на мистическую контурную карту, при этом ровный, интонационно и эмоционально, Сенчин воинственно не приемлет любой мистики, иной реальности, кроме как во время делирия. Герой «Информации», умиляющийся наличию идеалов в собственном прошлом и выхолостивший на сей счет настоящее, всерьез готов обсуждать только свой атеизм.

Армия, разнообразные работы, литинститут, Москва; печатается с 1997-го, кажется, года, книжные публикации – с начала нулевых, и, как теперь выяснилось – пишет всю жизнь одну книгу – сагу о трудных отношениях своих героев с миром, сага семейная, потому что связь героев со средой – всегда интимная и подчас кровосмесительная. БДСМ, само собой.

Сенчин – подчеркнуто, в насмешку устаревшим классификациям, не интеллигентен, но и совершенно не народен. Провинциал, но отнюдь не маргинал. Этот, когда-то модный, ярлык у него вручается персонажам, вызывающим живую неприязнь. «Никита, – окликнула Ангелина прилизанного почти мальчика с перепуганным лицом. – Никит, подходите к нам! Что вы там, как маргинал?»

Сенчин всегда писал многословно, с избыточными, казалось, подробностями, пробуксовыванием довольно примитивного сюжета (шаг вперед – два шага назад). Он, однако, как никто умеет находить занимательность в обыденности, и занимательность эта довольно странного свойства.

Сенчин не навязывает читателю сопереживания, делать жизнь с его героев, которых жизнь «сделала» – извращение сродни мазохизму. Даже краткие и временные победы и удовольствия персонажей напрочь исключают элемент «подсаживания». Читатель не хочет его женщин (описание секса у Романа – стиль даже не медицинского справочника, но энтомологического словаря; Сенчину вообще очень близок шукшинский мотив – женщины-врага. А с женскими людьми, которые могут показаться симпатичными, – всерьез не получается).

Работать его работы скушно и тошно. Пьянки заурядны и как-то совсем буднично мотивированы, запои выжигают, но не обновляют, никакого волшебства даже в белой горячке, сплошной ужас и черный гроб, как говорил Булгаков по другому поводу. Друзья примитивны и опасны, провинция и Москва с Питером – один хрен и проблемы аналогичны, только масштаб разный. Странствия утомляют, не обогащая, и ничего не меняя – в той же «Информации» между Иркутском и Дагестаном – практически нет отличий: и там, и там пустые улицы, кафе и вечера, люди пугливы и себе на уме. Разве что в кавказской республике нет стриптиз-бара, зато телевизор в номере – везде.

Словарь заурядный, стертый даже в ругательствах. Чаще прочего употребляемы «тварь» и «гнида» (по адресу женщин и даже жен, как вы сами догадались). Еще «геморрои» – во множественном числе, и довольно точно – ибо жизненные переплеты героя напоминают историю именно этой болезни – шишковатые сюжетцы, в общем, не смертельны, но мучительны и противны. Нередко попадается «быдло» и его производные.

Тем не менее, этот поток читателя уносит, и если не складывать лапок, в какой-то момент

понимаешь, что у тебя есть товарищ по энергии преодоления – сам автор. Который из всего этого литературу делает, и неряшливая словесная масса с проблемными, как один, персонажами – его метод, способ заговаривания жизни, поиски лучшего и настоящего. Мелькают в мутно-дневниковом повествовании куски подлинной боли, холодный блеск дефиниций, гранулы фирменной сенчинской иронии. Возрождая старый спор литературных мерчандайзеров о том, где лучше сверкать брильянту – на ювелирном прилавке или в куче навоза.

Тут любопытно замечание Дмитрия Быкова, который выводит Сенчина из Гашека-Швейка: «В России сейчас нечто подобное делает Роман Сенчин, чья проза о быте мелких «новых русских» или средних провинциалов сначала заставляет скучать, а потом хохотать (и, думаю, автор рассчитывает именно на такой эффект)».

Тем не менее, к скуке и смеховому катарсису Сенчина не сведешь – основное у него, на мой взгляд, претензия на эпос девяностых–нулевых, все трудней маскирующийся под бытописательство и все больше тяготеющий к обобщению. И – описание адекватного времени героя, чье главное занятие – бегство, уход, прятки. Героев Сенчина можно назвать, как приверженцев русской мистической секты – бегунами. Или, по законам военного времени – дезертирами. При этом рефлексирующие «сенчинцы» (ну, как Лимонов придумал особый народ – «достоевцы») заявляют о своем поражении не без гордости и оглядки на вечность. В «Информации» – лучшей пока, на мой взгляд, книге Романа – это особенно заметно.

Итак, «Информация», для героя которой автор пожалел имени (а догадка о протагонисте пропадает, как только в окружении повествователя обнаруживается журналист и писатель Олег Свечин, родом из Абакана, издавший три книги). Герой предупреждает, что описывает обстоятельства последних лет собственной жизни. Сделав схрон из собственной квартиры, закупив еды и водки, передвигаясь по дому на цыпочках, отключив мобильник и городской, он прячется сразу от всех и мира в целом.

А обстоятельства таковы (Сенчина легко пересказывать). Провинциал, родом из поволжских столиц (Самара, очевидно), перебирается в Москву, земляк и товарищ юности пристраивает в информагентство, герой неплохо зарабатывает на ниве полупиара, полужурналистики, а точнее, торгует ресурсом доступа к полосам, лентам и эфирам, и, в общем, успешно обживается в столице. Перевозит подругу, женится. «Вообще, последние годы казались мне неким сном, в котором что-то делаешь, даже размышляешь и соображаешь, отыскивая выходы из сложных ситуаций; бывает, расстраиваешься, бесишься, но все же остаешься в этом сне, уютном, удобном. И просыпаться не испытываешь потребности».

Сон обрывается изменой жены – о которой герой узнает, прочитав, как водится, смс в ее мобильнике. Пьянка, ограбление, едва не потеря обмороженной ноги, пересмотр всех прежних взглядов и установок, жажда новой жизни, покупка квартиры и машины. Развод, изнурительные дружбы, любови и суды, поиск смыслов и девушек. Пьянки, утомительные даже в перечислении водок и закусок, запои с парой делириев, и – финал, с обещанием повествователя быстрей до него добраться и погружением читателя в новые многостраничные «геморрои».

Психика героя, конечно, разорвана и пошла вразнос, впрочем, предупреждая читательское хихиканье, он аккуратно перечисляет реальные и, в основном, мнимые угрозы – интернет-тролль с аватаром в кавказской папахе обещал подъехать в Москву и наказать за статью о дагестанских делах. По пьяни сболтнул, что бывшую жену легче заказать, чем заплатить, и теперь боится мести нынешнего мужа-банкира. Обещали разобраться родственники девушки, которой делал предложение, а потом спрыгнул... После случайного пересыпа с подругой юности объявился, в свою очередь, муж и требует встречи, «если ты мужик, а не пидор...». С работы уволился, права отобрали...

Конечно, смешно, глупо, никакой безымянный герой не потаскун и бабник, для этого он слишком вял и пьющ, и все мы знаем, с какой легкостью сейчас бросаются угрозами, разучившись отвечать за базар... Он просто тихий, но прогрессирующий сумасшедший, и путаная исповедь его вроде истории болезни,

«написанной им самим», вот только несмотря на все подробности и монотонности совершенно не фиксируется, когда у нашего парня поехала крыша.

Зато вся история происходит на фоне, дотошно и с удовольствием прописанном, поздних нулевых, с их потребительски-кредитным бумом, ресторанно-клубной Москвой, победами сборной на «Евро–2008», Цхинвалом, кризисом; «несогласными» и «нашими», смертью Егора Летова, нашествием мигрантов, литературными тусовками «нового поколения» (легко, помимо самого Сенчина, угадываются Сергей Шаргунов, Сева Емелин, вот только прототипа Ангелины я не смог определить, но, может, и не надо). В отличие от сдвигов крыши, легко фиксируются развилки судьбы, мимо которых проскочил герой, и где, быть может, могло бы что-нибудь получиться...

...Тут легче всего отыскать авторский замысел – дескать, не захотел примкнуть к молодым поэтам-писателям-философам, не прозрел жизнь настоящую, вот и оказался, не включая света, с помутненным рассудком наедине с ноутбуком и бутылкой. А ведь увлекался радикализмом, контркультурой, 68-м годом, Селином–Сартром, да и сейчас торчит от Паланика с Уэльбеком, и старые эссе можно подправить и напечатать. Но. Герой, любя свое юное продвинутое, посмеивается над нынешними неформалами, это не снобизм и чужеродность, но нормальный обывательский скепсис. Ирония, не разящая, а здоровая, весомую часть которой, это заметно, разделяет и Сенчин.

...Еще проще угадать в тихом пьянице-безумце метафору модного ныне несогласного – который прятался от режима с его гопотой, а потом достало, заштормило, он и дунул, уже после книги, на Болотную, а там и на проспект Сахарова. Ну, как Чацкий, а за ним Онегин должны были оказаться в декабристах.

И уж совсем на поверхности (благо, рассуждений о религии и атеизме, по-своему искренних и глубоких, в книге полно) – отказался от Бога, ну и оказался в жопе.

Все это, конечно, ерунда. Шняга, как выразились бы «сенчинцы». Дезертирует герой и трещит его судьба не потому, что просмотрел, проспал, пропил какие-то варианты. А потому, что был адекватен своему гнилому времени – околонулевым. Не мужчина – а штаны в облаке обывательского цинизма. Как говорила в «Информации» девушка Алла – «планктоша» – вкладывая в словцо не офисную, а мировоззренческую принадлежность. Афористичней всего об этом сказано в «Бумере» Петра Буслова – «не мы такие, жизнь такая». Сохранили личность (если было что сохранять) люди, предпочитавшие маргинальные стратегии, как та же Алла, с ее кокаином и бильярдом, или Олег Свечин, с его литературой, халтурой и откровенно вторичным рок-н-роллом, а вот жестоко тратились те, кто, подобно герою «Информации», считали, что подобные правила одни и навсегда. Впрочем, далеко не все решались дезертировать, и тихий подвиг героя – не в слив, но в плюс ему. История обыкновенного безумия в необыкновенное время. Или наоборот?

Да, интересный писатель, хороший, непростой роман. Похоже, «Информация» задумывалась как ответ «Черной обезьяне» Захара Прилепина. А получился не ответ, но дуэт. Романы в основных линиях поразительно схожи – их герои, разные люди нулевых, завершают десятилетие с одинаково разгромным результатом, диагнозом и местопребыванием. Так же блуждают в доставшемся времени, как в лесу, помня, что когда-то были компас и тропинка... Обстоятельно и вдумчиво анализируют порнографию. Одинаково взаимодействуют с женщинами: мечутся между неверными женами и верными подругами (и наоборот), пытаясь открыть в проститутках нечто, скрытое под функционалом... Достоевский, словом, на новой фене.

Сенчин, кстати, этот мячик нам подбрасывает, напрямую, в тексте, указывая на роман «Подросток». И, дабы не показать нам, будто впал в амбицию, ругает «Подростка» худшим романом ФМ, ворчит о неряшливости слога и неоправданности дневникового приема.

Заказывали в XX-м веке Льва Толстого? С Толстыми и в XXI-м по-прежнему глухо, но Достоевские, один за другим, уже трезвонят в парадное.

Иван КОЗЛОВ

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ФАВОРИТЫ

«Древо жизни» (Золотая ветвь Каннского кинофестиваля)

Теренс Малик может себе позволить снимать по одному фильму в десятилетие. Легендарный статус живого классика позволяет ему работать со звездами первой величины; актеры тоже люди и, кроме естественного желания заработать много денег за роли в мэйнстримовской жвачке, им тоже хочется хотя бы иногда играть в настоящем кино. В этой картине снялись Шон Пенн и Брэд Питт, последний выступил также «в роли» одного из продюсеров фильма.

«Древо жизни» – опус магнум Малика. Кино-«роман воспитания» с неизбежным для Америки фрейдистским бэкграундом сам по себе был бы вполне достаточен для такого названия – тяжелого и ко многому обязывающего. Но Малику мало человеческого измерения. Добрая половина фильма представляет собой визуальные медитации в духе трилогии «Каци» Годфри Реджио, и ритм этих вставок резко контрастирует с сюжетным ритмом – фильм снят в режиме сотен крошечных микросцен, тех значимых мелочей, из которых, собственно, и складывается жизнь.

Мы запомним морщинистое лицо Шона Пенна, герой которого вспоминает свое детство, навязчивые стеклянные поверхности, которые всех разделяют и в которых всё отражается, цветные пятна внутреннего космоса, небо, вулканы и динозавров. Вспомним Сэлинджера и книгу Иова, цитатой из которой начинается фильм. Вспомним множество фильмов о любящей матери и требовательном отце, которому никак не может угодить сын. Но этот фильм особенный – в него заходишь, как в речную протоку, а оказываешься в океане. И от растворения спасают только финальные титры.

«Туринская лошадь» (Серебряный Медведь, Гран-при Берлинского кинофестиваля)

Последний фильм венгра Белы Тарра угрожает стать действительно последним – режиссер объявил, что уходит из кино. На вопрос «Почему?» он ответил: «А вы что, не видели этот фильм?» Действительно, дальше «ехать некуда»: пути разобраны, локомотив сгнил, машинист неадекватен (в последнее время это слово употребляется уже без уточнения «чему?» И правда, надо ли уточнять?).

Впрочем, нет. С ума сошел Ницше, обняв избиваемую лошадь, история известная. (Замечу в скобках, что избиение лошади весьма значимо для отечественной словесности, вспомним блуждания Раскольникова, стихи Некрасова и Маяковского. С лошадьми нельзя так обращаться, они становятся агрессивными и опасными. Меня однажды укусил конь перед входом в кафетерий и, несмотря на пиджак из плотной ткани, синяк на руке болел недели две.)

Белу Тарра интересует «история лошади» после встречи с Ницше. Зная день, в который произошло это событие, мы можем вычислить, что в фильме действие происходит 3–8 октября 1889 года. Действие, вернее, действия воспроизводятся день за днем в одинаковой последовательности – живущая на отшибе девушка одевает своего сухорукого отца, идет за водой, варит картошку. Вы сами, конечно, можете вспомнить некоторое количество ежедневных движений, наверняка доведенных до автоматизма, которые призваны поддерживать нашу жизнь. Кто-то возмущается нашей роботизированностью, кто-то предлагает именно их использовать для медитативных

техник. Ограниченный круг действий, ограниченный набор вещей, которые, таким образом, мы будем внимательно рассматривать – шаль, сундук, птичья клетка.

Но у героев Тарра начинается сбой – лошадь отказывается везти повозку, в колодце заканчивается вода, в лампе есть масло, но оно не горит, свет исчезает и снаружи. Шесть дней творения отсчитываются в обратном порядке. Дует сильный ветер, заполняя экран мелкой листвой. Нет выхода, нет спасения, все заканчивается в буквальном смысле, наглядно и неотвратимо под музыку, напоминающую похоронный марш. Можно сказать, что это архаичный вариант «Меланхолии» Триера – герой выглядит как греческий бог старшего пантеона.

Но спасительным оказывается метауровень. Голос за кадром в начале фильма не может подобрать имя извозчику, но в середине четко названа его фамилия. Бешенство носимой листвы неожиданно «рифмуется» с черточками и точками, бегающими по экрану, когда заканчивается один день и начинается следующий – это решено как смена частей фильма, сопровождавшаяся в стародавние времена подобными эффектами. Стилизация вот таких фактурных мелочей и напоминает нам о том, что это кино, а не проповедь.

«Однажды в Анатолии» (Гран-при Каннского кинофестиваля)

Нури Бильге Джейлан снял «ночной» фильм. Три автомобиля колесят по холмам и равнинам, свет их фар спорит с заходящим солнцем. В кавалькаде едут главные герои ленты – прокурор, полицейский и доктор. В одной из машин – арестованный преступник, который должен показать, где спрятано тело. Проблема в том, что «ночью все кошки серы» и найти пейзаж с деревом, полем и источником весьма затруднительно.

Внимание зрителей сосредоточено отнюдь не на поединке преступника с полицейским, злодей, конечно, значим, его судьба и резон его поступков к концу фильма приобретают мелодраматический аспект, но, тем не менее, напряжение между персонажами по ту сторону баррикад – полицейским, прокурором и доктором становится главным стержнем фильма.

Как это часто бывает у Джейлана, у всех всё в порядке, но что-то главное безнадежно утрачено, компромиссы съели душу, жизнь проиграна. Об этом были его ленты «Отчуждение», «Времена года», «Три обезьяны». То же и здесь. Расследование убийства мало-помалу выявляет и проясняет историю еще одной смерти, причины которой оказываются совсем иными, нежели предполагалось вначале. Но это – частная жизнь, разговор об этом идет мельком, время от времени, без имен. «Жена моего знакомого»... Доктор понимает, что речь идет о жене прокурора, прокурор понимает, что доктор это понимает, но... мы же взрослые люди, тактичные и разумные...

Первые кадры фильма – грязное стекло. Постепенно меняется фокус, и мы видим людей, которые сидят в помещении и ведут беседу. Так и на протяжении фильма – стоит чуть ослабить хватку, и все расплывается в грязных разводах лжи и страха. Нас будут пугать лица, смотрящие из каменных глыб – мало ли что привидится ночью, будут шелестеть высокие травы, давая эффект негативного изображения, падать и катиться по пригорку яблоки, образовывая запруду в ручье. Как всегда, визуальный ряд у Нури Биге Джейлана потрясающе красив.

Действие фильма закончится уже утром, в его беспощадном свете – труп найдут, прояснится и таинственная история с еще одной давней смертью. Уже нет чудесных отсветов лампы, ночного костра, бликов пламени на стене, покрашенной белой краской. Есть рваная обивка офисной мебели и брызги крови на лице доктора, присутствующего при вскрытии. Одно дело закрыто, второе надежно похоронено в памяти, а что там на самом деле... Как сказал один из героев фильма, «Надо быть астрологом, а не прокурором, чтобы понимать мотивы... везде улетучивается смысл».

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 февраля 2012 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.